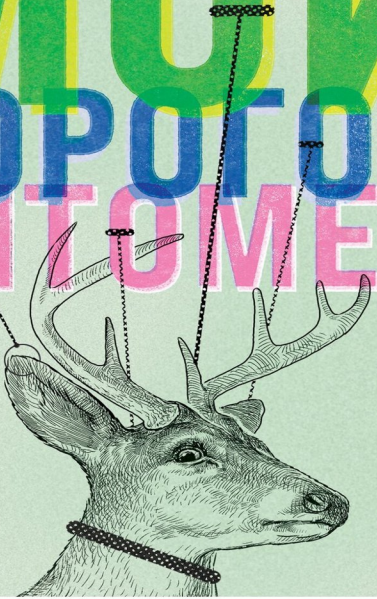
INSPIRIA

МАРИКЕ ЛУКАС РЕЙНЕВЕЛД

МОЙ ДОРОГОЙ ПИТОМЕЦ



18+

INSPIRIA

Мой дорогой питомец

Марике Лукас Рейневелд

Аннотация
Марике Лукас Рейневелд. Мой дорогой питомец
Лето 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Аннотация

«Мой дорогой питомец» – так начинается монолог обвиняемого перед судом, но обращается он к своей возлюбленной. Ему 49, ей 14.

Эта история рассказана ветеринаром, «растлителем малолетних», одержимым дочкой фермера. У нее пшенично-белые волосы и черное как смоль воображение. Отношения между ними похожи на отношения хищника и его жертвы, на любовь без любви. Она для него – милый зверек, он – единственный человек, который ее понимает.

Это темный, бурлящий поток мыслей, с главами без единого разрыва строки и извилистыми предложениями. Двусмысленность – одна из сильных сторон этого романа. Конечно, как и в случае с «Лолитой» Набокова, здесь мы имеем дело с очень ненадежным рассказчиком.

Марике Лукас Рейневелд
Мой дорогой питомец

Это вымышленная история. Все имена, персонажи, места и события – плод фантазии писателя или фикция. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, событиями или обстоятельствами является совершенно случайным.

Для тебя
Познай же меня,
Узнай, кто есть я, и познай меня.

Псалом 139 (в переложении Антона Кортевега)

Marieke Lucas Rijneveld
MIJN LIEVE GUNSTELING

Mijn lieve gunsteling © 2020 by Marieke Lucas Rijneveld
Originally published by Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
© Новикова К., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023



Лето 2005

1

Дорогой питомец, моя дорогая питомица, скажу тебе это сразу: в тот строптивый горячий сезон мне надо было вырезать тебя, как вырезают абсцесс из кориума копытным ножом, я должен был освободить место в межкопытцевой щели между когтями, чтобы в ней не задерживались навоз и грязь, и не могла пристать никакая зараза, а может, мне следовало просто почистить и отшлифовать тебя на станке, отмыть тебя дочиста и высушить тебя насухо со шкуркой. Как я мог забыть предупреждение, которое слышал во время обучения ветеринарному делу на занятиях по обрезке копыт и заболеваниях кориума, о ламините, о болезни Мортелларо, также называемой «вонючей ногой», о том, что нам продолжали до тошноты повторять — нужно быть осторожными: «Не резать по живому, никогда не вредить живому», — говорили нам снова и снова. Дорогая питомица, скажу тебе это сразу: мне нужно было вырезать тебя еще тогда в разгар того дерзкого и жаркого сезона, как вырезают коровам копытным ножом нарыв в межкопытных щелях, чтобы навоз и грязь не попадали туда и чтобы никто

больше не смог тебя заразить. А может быть, мне нужно было тебя просто почистить, отшлифовать, отмыть и хорошенько высушить. Боже мой, как же я мог забыть все те предупреждения, которые нам бесконечно повторяли на занятиях в ветеринарной школе, на уроках, когда нам рассказывали об обрезке копыт, болезнях копытной роговицы, строптивости животных, болезни Мортелларо, которую еще называют «копытной гнилью». Раз за разом нам продолжали повторять — всегда будьте осторожны, чтобы не задеть при обрезке живую ткань. Никогда нельзя приносить вред живому.

Но моя слабость, моя порочность! В то строптивое лето ты лежала, как теленок в тазовом предлежании, в яслях моих болезненных вожделений, я был соучастником безумия, я не знал, как можно не хотеть тебя, тебя, мою небесную избранницу, и чем чаще я сидел на корточках среди дымящихся тел голландских коров и ощущал твое неотразимое присутствие совсем рядом в только что скошенной траве, что росла вперемешку с вечнозеленым иберисом, где ты часами тренировалась играть песню The Cranberries, полусогнутая над грифом своей белоснежной гитары под сенью груши, тем неистовее я надеялся

на смещение сычуга или удаление межпальцевой фибромы, чтобы остаться с тобой подольше и послушать, как ты начинаешь песню заново, если ошибаешься аккордом или берешь высокую ноту своим жемчужно-ангельским голосом, а затем замолкаешь — тогда я замирал и представлял, как ты сдуваешь прядь волос с розовощекого лица, а прядь снова и снова падает вниз, и ах, ты так красиво ее сдувала, как ребенок сдувает пух с одуванчика, ты пела о танках, бомбах, пушках, о войне, но чем бы я ни занимался, я думал о тебе, да, я думал о тебе, когда надевал прозрачную оранжевую перчатку длиной до плеча, смазанную ветеринарным лубрикантом VetGel, и проникал во влагалище мясомолочной коровы, или когда моя рука обхватывала ноги скользкой от околоплодной оболочки телочки или теленка и осторожно тянула их в ритме схваток, а другая рука успокаивающе потирала липкий бок коровы-матери, когда я тихо с ней говорил и иногда даже шептал ей какие-то строчки из Беккета, которые я не собираюсь здесь повторять: кроме тебя и голландских коров они никого не трогали — и каждый раз я жаждал, чтобы ты бродила неподалеку, когда я надевал свой зеленый ветеринарный халат, застегивал

пуговицы и шел работать, а потом надеялся, что ты мне улыбнешься, как всегда мило улыбалась жилистым работникам на ферме, которые во время обеденного перерыва прятались за стеной из бутербродов на кухонном столе, бутербродов с толстым слоем масла и копченой колбасой; но они не осмеливались за тобой приударить, ты была из тех животных, с которыми их не учили обращаться, у тебя не было четырех желудков, а был всего один, ненасытный, и я знал тебя с детства, я знал тебя как облупленную, хотя ты была слишком маленькой, чтобы тебя желать, и в то же время слишком живой и нетерпеливой для опеки и покровительства, и по твоему поведению я понимал, что ты хотела избавиться от родительской власти, от фермы, на которой выросла и которая носила имя Де Хюлст — она была названа в честь В. Х. ван де Хюлста[1], единственного писателя, которого знал и прочитал от корки до корки твой па: в хорошие дни он читал тебе вслух, и потом тебе снилось, что ты стала сахарной булочкой, что все были от тебя в восторге и хотели откусить кусочек, и что тебе приходилось защищать свое сладкое тело от ко-

[1] Примечания: 1

Виллем Хэррит ван де Хюлст — нидерландский детский писатель, автор учебников и детской Библии.

роля, сладкоежек и муравьев; и, возможно, мне стоило отнестись к этому сну серьезно, думаю я теперь, когда пишу эти строки, хотя никогда не имел намерения это писать, — обычно я обращал внимание на твое поведение, а не на сны: на то, как ты отделяла себя не только от фермы, но и от близлежащих коровников, на крышах которых лежал асбест — твой отец отказался убирать его, потому что только Богу, а не куску старого гофрированного железа, старым гофрированным пластинам, дано право решать, заболеешь ты раком или нет, и от Него ты тоже хотела освободиться, хотела убежать от Бога, и в то же время боялась Его гнева, Его Страшного Суда, и иногда ты шептала в постели строки из сто восемнадцатого псалма: *«Душа моя истаивает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. О, освободи меня от моей страшной боли».* Но больше всего ты хотела освободиться от своего отца, человека мягкого, но одновременно очень строгого, полного причуд и капризов, от которого ты хотела отделиться, а он по-прежнему хотел заботиться о тебе, как ты заботилась о Хулигане, вашем упрямом быке: ты одна могла погладить его после того, как он поел или покрыл корову — иногда вы одалживали его другим фермерам и за каждое спаривание

получали деньги, которые складывали в банку из-под варенья, что стояла над камином на кухне, и на эти деньги вы ездили в отпуск; да, Хулиган оплачивал ваши каникулы в Зеландии, и там, когда ваш отец давал вам что угодно, от намазки для бутерброда до книжек про Дональда Дака, он сопровождал это словами: «Благодарите Хулигана». Я слышал, как в твоем голосе прорываются угрюмые и сварливые, недовольные и упрямые нотки, когда отец хотел застегнуть на тебе комбинезон — не ради того, чтобы уберечь тебя от хрусткого свежего утреннего тумана, а просто чтобы на мгновение прикоснуться к тебе, его ребенку, который все больше выскальзывал из его грубых рук, испещренных морщинами и мозолями; и тогда я смотрел на свои ладони, большие и достаточно сильные, чтобы крепко вцепиться в твои: я и раньше брал руки детей в свои, но все было иначе — это они хватались за меня, а теперь я хотел держать тебя, сплетая свои пальцы с твоими; у тебя на среднем пальце было маленькое пластиковое кольцо с божьей коровкой, ты получила его от ортодонта, когда услышала, что тебе нужна наружная брекет-система, и была потрясена этой ужасной новостью — тогда тебе позволили выбрать себе подарок в

шкатулке с утешительными призами-сюрпризами, и ты остановила свой выбор на этом кольце, которое было тебе чуть-чуть велико; я бы часами выводил большим пальцем круги на твоей ладошке, словно жвачное животное, страдающее спинномозговой болезнью, которое ходит по кругу. И во время полдника я лишь вполуха слушал рассказы твоего па, похожего одновременно на молодого Мика Джаггера и Рутгера Хауэра, пока он с энтузиазмом рассказывал о своем скоте, о засухе на полях и на берегу реки, о том, что урожай будет скудным, если зонтичные цветы окажутся слишком вялыми, чтобы собрать их в букет для вазы на столе, а я изредка кивал: на ферме никогда не было ни одной вазы для цветов, и те, кто не держал дома букеты, имели склонность предаваться безутешным мыслям об урожае, даже если год был хороший и плодородный, но я снова кивал, когда он говорил, что коровы любят однообразный рацион, что они такие же рабы привычки, как и он сам, и что иногда он давал им послушать классическую музыку, Шопена или Вивальди, и тогда молоко вечером было жирнее; и в нужное время я растягивал лицо в улыбке, но на самом деле я хотел узнать все о тебе, хотел обсуждать тебя, как мы обсуждали

коров, их течку и строптивый нрав, и я наблюдал за лужайкой, где вы с братом прыгали на батуте, соревнуясь, кто первым сможет допрыгнуть до неба, кто первым сможет пощекотать Христа, — ты хотела защекотать Его до смерти, и потом рассказывала, что в прошлом у древних римлян людей пытали щекоткой: их связывали и заставляли коз долго-долго лизать им пятки; но пока ты прыгала на батуте, все выше и выше, и твои светлые волосы, похожие на пшеничные колоски, танцевали и блестели у нежного лица, я заметил, как быстро тебе надоела эта игра и ты стала смотреть вдаль, поверх поблескивающих кочанов салата в огороде и пучков лука-порея, ты жаждала жизни, которая ожидала тебя там за этой Деревней, ты хотела уехать подальше отсюда, как многие девочки и мальчики твоего возраста хотели уйти с домашнего фронта; некоторые стали солдатами и пошли в армию, чтобы потом снова вернуться домой с ностальгией по камуфляжному цвету этой Деревни, но ты-то была уверена, что никогда не будешь страдать от подобной меланхолии, все, чем ты владела, было внутри твоей головы, и я тогда еще не мог знать, что тебе не хватало ощущения дома, хотя ты и любила ферму Де Хюлст до последней стружки

дощечки, и одна только мысль, что ты ее покинешь, что уедешь прочь по дамбе Приккебэйнсе, объезжая места с выпавшей брусчаткой, что бросишь папу, одна эта мысль заставила тебя со вздохом отвернуться и снова включиться в игру на батуте; да, тебе плохо давались прощания, *so bad*, как ты говорила потом, и я заметил это довольно быстро: субботним утром ты, насупившись, стояла и мешкала, когда молодых бычков забирали на бойню, ты все обнимала их, и чесала им за ушком, и шептала им неразборчивые слова, и как раз тогда я понял, что эта потеря останется с тобой, и я захотел забрать ее у тебя с помощью противовоспалительных лекарств или, еще лучше, восполнить, несмотря на то, что мы еще ни разу не сказали друг другу ни слова, хотя все эти годы ты смотрела, как я частенько заходил, чтобы осеменить или обследовать корову, и приносила мне ведро с теплой водой и блюдце с куском зеленого мыла, чтобы я мог вымыть руки, испачканные кровью и дерьмом, и протягивала мне старое клетчатое кухонное полотенце, но ни слова не срывалось с твоих прекрасно очерченных губ, которые мне так хотелось потрогать, как

я щупал животных, болевших блютангом[2]; но у тебя не было блютанга, ты была совершенно здорова и очень обаятельна, и я уже знал, что стану твоим первым мужчиной — ты смотрела на меня так, словно хотела, чтобы тебя полюбили, полюбили как четырнадцатилетнюю взрослую женщину; все четырнадцатилетние хотят, чтобы их видели взрослее, чем они есть, но ты не только хотела этого, ты и вела себя так, и все же в этих изящных и почти идеальных движениях я все еще видел скрытую детскость, ее-то я и любил в тебе больше всего, так сильно, что иногда у меня внезапно начинала кружиться голова, как будто я слишком много времени провел в испарениях пенициллина; эта детскость была наиболее заметна, когда ты порхала по двору и разговаривала сама с собой, когда в солнечные дни ты по-девчачьи взвизгивала, если твой па брызгал на вас с братом из дождевого шланга, или когда ты, хихикая, гуляла с подружками, твои загорелые ноги болтались в огромных рыбацких сапогах, и вы воображали, что весь мир лежит перед вами, как лопнувшие груши под деревом лежат перед осами, что лакомятся сочной мякотью; вы были

[2] Примечания: 2
Катаральная лихорадка скота, «синий язык».

осами, сильными и несокрушимыми, но еще я видел, как ты борешься с сумеречной зоной между девушкой и женщиной, борешься, чтобы не стать той, кто никогда не засияет на переднем плане, борешься с потерей, которая как вуаль висела на твоих хрупких плечах, и я наблюдал, как ты в одиночестве бродишь по берегу реки среди высокой травы и рапса позади фермы, когда там уже не было бычков, а телячьи загоны стояли тихие и пустые, а потом, надев дождевик, ты отмывала их миллиметр за миллиметром водой из шланга под высоким напором, словно думала таким образом стереть из головы само существование бычков; и еще я правда знал, что там, на берегу, ты плачешь, я просто знал это, хотя по-настоящему я стал следить за тобой только в начале летних каникул, когда тебе, если быть точным, было четырнадцать лет, два месяца и семнадцать дней, и ты лежала на спине в сене с книгой Роальда Даля «Данни, чемпион мира» над головой, а я долго и тщательно ополаскивал вилы под краном сбоку от коровника; я знал, что на какое-то время ты почувствовала себя в безопасности, представляла себя в мире, где тебя понимали, где ты хотела бы остаться навсегда, я слышал, что иногда ты смеялась и лежала там

так долго, что сено примялось, и отпечаток твоего тела оставался на нем еще долго после того, как ты ушла, и я положил руку на высушенные травинки, которые все еще хранили остаточный свет; я действительно хотел, чтобы ты всегда себя так чувствовала, правда хотел, но все изменилось тогда, когда ты, если быть точным, седьмого июля, заговорила со мной — в тот день я впервые стал оставлять карандашные отметки в ящичке электрического счетчика, чтобы следить, сколько ночей остается до приезда на вашу ферму для еженедельного осмотра коров, и в тот самый летний день, когда ветер дул преимущественно с юго-востока, а я беззаботно подпевал песне, звучавшей по радио в доильном зале; я обычно не подпеваю, но в тот день меня охватила какая-то легкость и ясность, и так удачно складывалось, что мне удалось остаться у вас подольше: было много хромых коров, коров с опоясывающим лишаем или с дефицитом кальция, и я даже не заметил, как ты вошла, но вдруг услышал, как ни с того ни с сего ты сказала, что эта песня не из твоих любимых, и ты прислонилась к охлаждающему резервуару для молока и добавила, что твои любимые песни редко крутят по радио, их приходится искать в магазине компакт-дисков

и пластинок в городе на другом берегу озера, на другом берегу Вудеплас, но ты сказала, что песня все равно красивая, потому что она драматичная; в клипе певица с размазанной тушью пела ее в черном такси марки Остин на станции метро «Уорик-Авеню», и ты знала, что она не чувствовала того, о чем пелось в песне, что ее слезы были фальшивыми, потому что тогда у нее перехватывало бы голос, но ты извлекала из этой песни то, что позволяло тебе чувствовать себя менее одинокой, хотя ты еще ни разу не ездила в такси, и, слегка покраснев, ты продолжила делать вид, что играешь и поешь для целого зала, и в первом ряду сидят самые важные люди, которых ты знала, им бы понравилось, они бы были в настоящем восторге, а ты бы воспользовалась каплями для слез, чтобы получить тот же эффект, что в клипе: ты не умела плакать по команде, у тебя получалось заплакать, только если ты думала о мертвых, но ты не могла петь и думать о мертвых, нет, это было невозможно, у тебя получалось думать о мертвых, только когда ты ехала на велосипеде, ты загоняла себя в могилу, а из глаз у тебя текли слезы; потом ты небрежно отвернулась, как будто все это вовсе ничего не значило, то, что ты со мной говорила, как будто заставляла меня

усомниться, действительно ли ты что-то произнесла, и мне это не приснилось, и провела рукой по резервуару для молока, как будто это была коровья спина, а я хотел сказать что-то в ответ, хотел набраться смелости и сказать хоть что-то в тот день, но я молчал, как та певица по радио, и улыбался тебе в спину, и слышал только, как ведущий прогноза погоды Хэррит Хиймстра сказал, что лето будет стихийным и неуправляемым, особенно на севере страны, и слово «неуправляемый» позже приобретет особое значение: я буду задаваться вопросом, не случился ли перелом в моей жизни именно в тот горячий сезон, не там ли, среди ведер с молоком и желтоватой каймой молозива, родилось мое безумное вожделение и тяга к тебе, или они были со мной и раньше, и надлом крылся где-то в моих юношеских воспоминаниях, которые мне, в конце концов, потом придется по принуждению присяжных униженно перелистывать и пересказывать в суде — в любом случае, дома, даже не переодевшись, я кинулся искать в интернете текст той песни, что играла на радио, и с жадностью вчитался в строчки Warwick Avenue[3], вставил текст в файл

---

[3] Примечания: 3
Песня певицы Даффи 2008 г.

Word и подчеркнул некоторые строки, если думал, что они соответствуют чувству, которое я к тебе испытал, а затем я стал слушать музыку, на которой вырос, и подчеркивал уже там, в песнях Патти Смит, «Роллинг Стоунз», Фрэнка Заппы, Лу Рида, да, особенно Лу Рида, после того как прочел, что его песня Walk on the Wild Side какое-то время подвергалась бойкоту — позже нечто похожее произойдет и с нами; я не мог слушать песни, не думая о тебе, о том, как ты будешь их анализировать, качаясь на цыпочках взад-вперед, и месяц спустя, когда я зашел осмотреть телку с уплотнением в вымени, указывающим на мастит, и снова увидел, как ты лежишь в сене с книгой, на этот раз с первой частью из серии про Гарри Поттера, «Философский камень» — в восьмом классе ты перепечатала ее буква за буквой в Windows 95 после того, как взяла книгу из библиотеки и поняла, что она слишком хороша, чтобы возвращать ее обратно, но не хотела платить огромный штраф; и я отдал тебе тексты песен в траурном конверте: у меня дома не было никаких других — эти конверты кремового цвета предназначались для людей, которым предстояло лишиться любимого животного, которого я усыплял, обычно я клал в них стихотворение Эмили Дикинсон «Радость в

смерти», и я ничего тебе не сказал о подчеркнутых предложениях, я это сделаю позже, подумал я про себя, когда буду сидеть в первом ряду, сияющий и гордый, хлопать в ладоши, свистеть и даже кричать что-нибудь из Беккета, сложив ладони рупором: *«When you're in the shit up to your neck, there's nothing left to do but sing*[4]». И я буду думать: *«Вот она, моя пламенная беглянка, моя великолепная зверюшка».*

[4] Примечания: 4

Когда ты в дерьме по шею, тебе ничего не остается, кроме как петь (*англ.*).

2

Курт Кобейн был мертв. Уже одиннадцать лет, но ты узнала об этом всего час назад, впервые услышав Smells Like Teen Spirit, и снова и снова проигрывая эту песню в плеере, твердо заявила, что музыкант умер не от передозировки наркотиков или пули, но от передозировки успехом, который заставляет человека думать, что он умеет летать, пока не обнаруживает, что у него вообще нет крыльев, а затем внезапно падает, как герои мультфильмов вроде «Безумных мелодий Луни Тьюнз»: как только они понимают, что висят в воздухе, они падают вниз. И ты продолжила, что если когда-нибудь станешь знаменитой, действительно знаменитой, то всегда будешь помнить, откуда пришла: не забудешь запахи силоса, аммиака, коровьего дерьма, и своих подруг не забудешь, правда-правда; но ты уже тогда знала, что потеряешь что-то важное, что успех по-настоящему изменит тебя, что-то в тебе укрепит или, возможно, усугубит: бесконечную пустоту, которая уже жила в тебе, хотя я упустил из виду ее симптомы, — а ведь я точно знал, когда животное заболевало или когда вырабатывало

слишком много гормонов стресса; я не замечал этого, потому что хотел верить в твою стойкость, ведь в конечном итоге тебе она понадобится, я отвел глаза, как четыре года назад во время эпидемии ящура я сказал одному фермеру, что у его коров просто грипп и что он пройдет, черт побери, я просто не хотел, чтобы все стадо уничтожили, потому что раньше уже видел, как еще живые коровы, овцы и свиньи заходили в труповозки и бились ногами в их стенки, и на той же неделе я пошел к тому фермеру: у него в стаде началась вспышка плеврита, и когда в полдень я вошел к нему в дом, чтобы достать из саквояжа бутерброды с арахисовым маслом, хотя знал, что вряд ли справлюсь с ними, и, ничего не подозревая, зашел в холл, я увидел его висящим на балюстраде наверху лестницы: сперва увидел подошвы его сапог с налипшим дерьмом и соломой, затем комбинезон, а потом мне явилось все безжизненное целое, и я прищурился, чтобы оградить себя от этого зрелища, надеясь, что все еще смогу его спасти, что смогу перемотать время назад к тому моменту, когда я въехал во двор на своем черном микроавтобусе Fiat, когда я мог бы поговорить с ним, как королева Беатрикс говорила со своим народом, и как невероятно

часто она использовала слово «мы», и это бы сработало, и казалось, что это работало с тобой, но в то время я не знал, каково это — потерять самое прекрасное, что у тебя есть, не знал, что иногда слова не могут выразить потерю; и все же я хотел попытаться вытащить его из петли, по крайней мере, я мог бы прижать его к своей груди, как я делал с телятами, у которых молоко попадало в рубец, с больными телятами: смотрел им в глаза и наблюдал, как обстоят дела с рубцом, — да, я бы держал его, как больного теленка и, может быть, прошептал ему что-нибудь на ухо, что-нибудь из Леонарда Коэна, думаю, ты бы оценила: *First of all nothing will happen and a little later nothing will happen again*[5]. Это я сейчас так думаю, но тогда я знал, что тот фермер, вероятно, не понял бы или не захотел понять эту строчку, потому что, когда человек сидит слишком глубоко в своей собственной навозной яме, он чует лишь вонь и застревает в грязи; о нет, я бы ничего ему не сказал, я бы просто обнимал его до тех пор, пока беспамятство не вытекло бы из него, как кровь из коровы, и мы сидели бы вместе на краю кузова моего фургона, как я часто делал, когда обсуждал

[5] Примечания: 5

Сперва ничего не произойдет, а чуть позже ничего не произойдет опять (*англ.*).

с клиентами мои заключения: я закурил бы сигарету и дал бы ему затянуться, и его шелушащиеся губы коснулись бы моих пальцев, и я почувствовал бы, с какой силой он затягивается — сигарета стала бы слегка тоньше, а затем снова раздулась, как будто он хотел наполнить легкие надеждой, чем-то отличным от мертвого запаха забоя, — и, может быть, я закрыл бы дверь кузова и сидел бы с ним в темноте, чтобы до нас не доносились звуки, звуки животных, падающих на решетчатый пол, и мы сидели бы там, куда я намного позже положу матрас из пены с эффектом памяти и холодной пены, когда я буду иссушен и одержим тобой, моя дорогая питомица, и мы бы ждали в кузове, пока не услышали бы, как фургоны с грейферами[6] выезжают со двора, и стало бы так тихо, что мы оба задались бы вопросом, действительно ли это произошло, и не вообразили ли мы весь этот ужас, как порой после просмотра фильма о войне мне приходила мысль, что я сам оказался в бою, и на каждом углу был солдат, который мог меня застрелить, и я слышал *пиф-паф* в голове; но фермер по-прежнему висел на лестнице, и хуже всего было то, что в конце концов отвязали его от

[6] Примечания: 6
Устройства для поднятия и перемещения коровьих туш.

балюстрады люди из той же службы перевозки трупов — теми же самыми руками, которыми они забрали жизни животных, они касались этого фермера, и я ничего не мог с этим поделать, я ошеломленно стоял в холле с помятыми бутербродами в руке — и я не знаю как, но стоя там, я съел все три бутерброда вместе с корочками, которые я доедал очень редко и обычно оставлял в жестяном боксе для бутербродов, у него на крышке была поблекшая наклейка с изображением двух спаривающихся свиней и подписью Makin' Bacon, приходя домой, корочки я выбрасывал: это был детский протест, от которого я не мог избавиться — и я наблюдал, как фермера накрывают черным сельскохозяйственным пластиком, которым обычно для сохранности укрывают кукурузный силос, а на уровне его рук кладут два мешка с песком, чтобы пластик не снесло от ветра, дующего сквозь открытые двери в сад, как будто они хотели убедиться, что он мертв и не вышло так, как бывает с некоторыми животными, которые попадали в труповозку еще живыми; и после того дня я больше не мог смотреть на арахисовое масло, не видя перед собой темно-синего лица фермера, его выпученных глаз; с тобой я тоже отводил глаза, хотя в тот раз

я просто хотел спастись, я хотел остаться в сетях твоего колдовского очарования и в то же время испытывал отвращение, но ах, слабость моей плоти, огонь моих чресл, как мог я потушить его, не потушив самого себя? Я позволял тебе бесконечно рассуждать о том, что ты воспринимала ту песню Кобейна как крик отчаяния, что ты читала его прощальное письмо в интернете, и что он был слишком красив и слишком ярок для того, кто больше не хотел жить, что он вычеркнул предложения и забыл, что можно так же вычеркнуть жажду смерти, что Teen Spirit был брендом дезодорантов в Соединенных Штатах и что того, кто в отчаянии, часто не заботит то, как он или она пахнет, и как все это умещается в одной фразе: *I'm worse at what I do best*[7]. В этот момент ты вздрогнула, хотя я не знал: это из-за текста песни, из-за внезапного исчезновения недавно открытого музыканта из твоей юной жизни или из-за сумерек, что поднимались над коровниками и медленно окутывали нас, словно группа могильщиков из этой Деревни, которые в свободное время тоже гуляли в черном — они не могли отвлечься от смерти, потому что смерть никогда не покидала

[7] Примечания: 7
Я хуже в том, что у меня получается лучше всего (*англ.*).

их, я иногда звал могильщиков, когда кто-то хотел закопать любимое животное под яблоней вместо того, чтобы сбросить его на дорогу, и его подобрал Rendac[8] — они копали так глубоко, что оказывались по щиколотку в грунтовых водах, а я на краю ямы вздрагивал, да, я дрожал и не мог не думать о своем собственном существовании, о смертности, что я как раз достиг библейского возраста семидежды семи лет, и я знал, что число сорок девять означало полноту, освобождение, что ученикам нужно было ждать сорок девять дней, прежде чем Дух Божий не сойдет на них, но это также было зловещее число, как говорится в сорок девятом псалме: *«Это судьба тех, кто верит только в себя, и тех, кто их слова повторяет. Люди подобны овцам: могила загоном им будет, смерть будет их пастухом».* Но я не хотел верить в себя, я хотел верить только в тебя, моя небесная избранница, и я не знал, через какую пустыню я в конце концов пройду, но с тобой я был таким живым, с тобой я существовал, и мое существование не было отвратительно, и я мог внезапно улыбнуться на краю вырытой могильной ямы, глядя вниз на лысеющие ма-

[8] Примечания: 8
Служба вывоза биологического мусора и падали.

кушки могильщиков, потому что каким же я был молодым и полным жизни, как яблоня, которая цветет каждый год даже после того, как под ней похоронена смерть; из-за тебя я ветвился, я рос! И ты сказала, что тебе нравится имя Курт, что оно звучит как иностранное блюдо, которое ты поедала бы маленькими кусочками, чтобы подольше им наслаждаться, что ты хотела бы когда-нибудь иметь парня по имени Курт; и потом ты внезапно погрустнела, как будто что-то поняла, что-то более глубокое, чем осознание, что парней по имени Курт очень мало, но потом ты взяла себя в руки, прислонилась к двери коровника и принялась рассказывать, что все чаще сталкиваешься с тем, что открываешь для себя музыканта, а он, оказывается, уже умер: Джонс, Хендрикс, Джоплин, Моррисон, Пфафф, Джонсон, Харви. И может быть, они так хорошо и непревзойденно звучат в твоей голове, потому что они мертвы, как если бы они видели приближение смерти и вложили последние силы, последний вздох в свои песни, а мертвых никто не может превзойти; и ты знала, о чем говоришь, мы оба знали, но не выразили это словами, так же как не говорили про сумерки этой ночи, которые больше не окружали нас, но проникали внутрь и заставляли тебя говорить все

медленнее и медленнее: о Клубе двадцати семи, о музыкантах, которые умерли в двадцать семь лет и очень тебя интересовали: ты читала, что Джонс утонул в бассейне в Хартфилде, Хендрикс захлебнулся в собственной рвоте, напившись снотворного и вина, Моррисон умер от остановки сердца, Джоплин и Пфафф — от передозировки героина, Джонсон — выпив отравленного виски в Гринвуде, а самой страшной стала смерть Харви, который получил удар током во время выступления со Stone the Crows, когда он коснулся незаземленного микрофона, и так было со всеми этими музыкантами: они были так далеки от всего земного. Они погрузились в свою жажду славы, жажду признания, и ты сказала, что признание — это колыбельная для ребенка, без этой мелодии ребенок будет вечно блуждать в поисках подбадривающего, одобрительного взгляда, и я видел, что сумерки поселились и в твоих глазах, видел, как ты время от времени оглядываешься на ферму, на освещенный дом, тебе нужно было идти, сказала ты, потому что темно и у тебя домашняя работа, и ты пожала плечами и сказала *ну пока,* а я не мог вымолвить, что ради тебя я готов назваться Куртом, пожалуйста, зови меня Курт.

3

«Курт, — сказала ты однажды днем, который был теплым, как внутренности полорогого животного. — Я должна тебе кое-что рассказать, я была там в тот сентябрьский день в Нью-Йорке». Сначала я не понял, действительно ли ты назвала меня Куртом или я это вообразил, но предположим, что ты действительно обращалась ко мне, прямо и серьезно; я стоял рядом с загонами для телят и сжал разрезанный мешок молочного порошка так крепко, что из него вылетело облачко, и я удивленно осознал, что ни в одном романтическом фильме в горячий сезон страсти не было снега, потому что зритель почувствовал бы, что его подло надули, и потребовал бы у видеопроката деньги назад; зритель хотел видеть реалистично цветущую любовь, хотел представить, что она может случиться и с ним, а я уже тогда знал, что мы необыкновенные, уникальные, хотя и считал, что слово «уникальный» уродливое, как откормленный на убой бык, и я тогда не понимал, что точно так же занимался откормом, рядом с тобой я каждую минуту наращивал свою массу, я превратил свою безрассудную страсть в мясного

теленка, что становился все более и более голодным, почти разъяренным, и в то же время меня смущало, что ты назвала меня Куртом, я имею в виду: насколько же ярко я тогда царил в твоей голове, и не стану ли я в конечном итоге песней, которая больше не выйдет из твоей головы, и ты будешь все время ставить меня на повтор в тщетной надежде, что обнаружишь что-то новое, от чего я засверкаю и не потеряю блеска, или ты думала, что сможешь найти что-то, что успокоит тебя и проведет через это сумасшедшее лето? Может быть, я был для тебя подчеркнутой фразой, которую ты не заметила в текстах, что я тебе дал, или, по крайней мере, не поняла смысла, и, может быть, я сам тоже остался незамеченным, но у меня не было времени долго раздумывать над этим, потому что ты назвала меня Куртом, и это прозвучало стесненно, а я стоял сапогами в снегу из молочного порошка, а головой под палящим солнцем, между блаженством и жгучим разочарованием, и ты сказала, что была там, ты прилетела туда после того, как первый самолет врезался в Башни-близнецы, что ты по-настоящему умела летать, не в воображении, а из-за ошибки Бога или, может быть, это была твоя секретная способность, и ты спросила, что я ду-

маю о том, что ты каждый вечер стояла на краю кровати, тренируясь перед следующим полетом, что ты станешь первым летающим человеком и однажды взлетишь вот так во второй раз, теперь — с башни для хранения силоса, полетишь над полями, над сахарной свеклой и пшеницей, над чистой водой Маалстрома; однако, сказала ты, я должен иметь в виду, что ты не вернешься, невероятно, ты улетишь навсегда, а иначе это просто фокус, а фокусы быстро забываются, а может, ты и впрямь станешь перелетной птицей и будешь возвращаться только летом, тебя будут считать с земли во время сбора урожая, тогда все будут рады тебя видеть; да, тебе это нравилось: жители этой Деревни будут показывать тебе вслед, когда ты взлетишь, и заявят, что знают тебя — но они не знали, что все это время тебе удавалось прятать от них свои крылья, они шептали, что в тебе всегда было что-то особенное, но не крылья, нет, они не смотрели тебе за спину, — и они будут наблюдать, как ты пронесешься над реформатской церковью, облетишь начальную школу, а потом направишься через плотину на юг, и все под тобой станет маленьким, маленьким, как картошинка, сказала ты, а еще лучше: как горошинка. Так что я об этом думаю? Ты выделила эти слова, я

это понял по тому, как твой язычок жадно скользнул по губам, чтобы слова прозвучали сочно, и ты рассказала, что прилетела в Нью-Йорк в тот трагичный сентябрьский день и услышала внизу крики людей, сирены, и во время твоего полета офисные бумаги, выпавшие из башни, становились голубями мира; правда-правда, говорила ты, они становились голубями мира, и ты видела, что какие-то люди выпрыгивали из окон, слышала глухие хлопки их падающих тел, как будто они были мешками с молочным порошком, а затем появился другой самолет и врезался во второе здание Башен-близнецов, и ты иногда сомневалась, самолет ли это был, или в здание влетела ты сама, сначала головой, потом фюзеляжем, а затем остальными частями тела, ногами, и ты думала, что это все твоя вина, и я видел слезы, стоявшие в твоих глазах, и я подумал, что тебе тогда было всего десять, но я позволил тебе рассказать, что ты часто фантазировала, как какой-то самолет разбился на ферме Де Хюлст, и ты могла слышать, как рушатся стены, звенят стекла, и могла видеть своего папу, да, видеть, как твой отец лежит под правым крылом, а они в это время целились в тебя, говорила ты, и, возможно, ты бы сдалась, сказала бы решительно: *это была я в тот день,*

я была самолетом, я подожгла Нью-Йорк, я заставила мир плакать, а теперь я хочу утешить мир, выдав виновного. Прозвучало искренне, и это убедило меня, что ты по-настоящему верила в свою историю, и при этом удивительно легко переключилась на великолепие своих крыльев, какими удивительно красивыми и мощными они были с водоотталкивающими перьями; ты стояла в дверях коровника, и твои руки двигались так чудовищно грациозно, с каждым движением я видел, как перекатываются мышцы под твоей кожей, и мне хотелось кричать, что тебе нельзя летать, слышишь меня: никогда. Но вместо этого я яростно размешал ведро теплой воды с молочным порошком, пока не исчезли все комочки, и сказал, что прежде чем учиться летать, ты должна научиться приземляться, и сразу понял, что это был неправильный ответ, слишком поучительный, фу! Я разочаровал тебя, ты надеялась на что-то другое, может, что я буду в восторге от твоего плана побега, что я изгоню сентябрьскую катастрофу из твоей головы, и мне захотелось ударить себя по голове стальным венчиком, потому что твои крылья вяло упали вдоль тела, и я почти мог почуять запах пустоты, который проник в твою грудь, словно третий

самолет, так же, как мог почуять издалека запах теленка с поносом, заразившегося каким-то вирусом; я был твоим вирусом, но тогда ты не могла этого знать, и я так хотел бы обнять твое нуждающееся в объятиях нимфеточное тело, потому что единственное, чего ты хотела — чтобы тебя увидели, чтобы ты стала той, на кого указывают вслед, но не как на тебя указывали в школе, что тебе не нужно подниматься так высоко, чтобы на тебя посмотрели, что есть тот, кто хочет, чтобы ты осталась здесь; пожалуйста, останься здесь, потому что поля без тебя покроются трещинами, потому что Маалстроум без тебя наполнится сине-зелеными водорослями или иссохнет и, кроме того, многие перелетные птицы не выдерживают сурового путешествия на юг, они падают вниз, словно манна небесная, но я не должен был этого говорить, я должен был согласиться с ходом твоих мыслей и с твоим ужасным признанием, я должен был представить тебя высоко на верху башни для силоса, о небеса, как же я содрогался от этой мысли! И я все продолжал мешать, хотя молоко уже давно было готово, а потом сказал, черт возьми, я сказал: *«Я помогу тебе взлететь»*. Я встал, как будто это был фильм, затем замер с венчиком в руке, молоко с него капало на камни,

и мне так хотелось размешать все комочки внутри твоей головы, но ты опять широко замахала руками, и по твоей тени казалось, что у тебя действительно были крылья, и вот ты вдруг начала с хихиканьем бегать по двору и закричала: *«Я ворона, я ворона, я цапля, я птица, которой ты больше всего боишься»*. Потом ты рухнула в траву и лежала в ней как мертвая, глядя в голубое небо, и ты сказала: *«Со мной что-то не так, что-то в корне не так»*. А через несколько секунд вскочила вновь, и я увидел, что птица исчезла из твоей души, что ты, склонив голову, вошла в коровник, где взяла скребок для навоза и принялась зигзагами выгребать дерьмо из щелей решетчатого пола, и я не сводил с тебя глаз, пока кормил телят, и что же еще мне было делать, кроме как заманить тебя к себе; я бы спас тебя, дорогая беглянка, я бы спас тебя без условий, и, должно быть, как раз с этого момента начались мои кошмары, в которых ты поднимаешься высоко на силосную башню, а под ней стоят могильщики, они смотрят на тебя, сложив руки козырьком над глазами, говорят, что пока не решишься на прыжок, никогда не узнаешь наверняка, и каждый раз, когда ты собиралась взлететь, я просыпался в поту и хотел позвонить тебе, чтобы успокоиться, но

твой номер я получил намного позже, ты велела мне не звонить тебе, ты ненавидела телефонные звонки, ненавидела рингтоны, особенно песенку *Шнаппи, маленького Крокодила*, которая стояла на звонке почти у всех твоих одноклассников; кроме того, момент, когда вешали трубку, был для тебя самым трудным: как будто, когда линия прерывалась, узы крови или дружбы и вправду были разорваны — ты не знала, как завершать разговор, ты говорила, что слышишь помехи: *«Алло, алло, я тебя плохо слышу»*. Да, тебе не нравилось звонить по телефону, твой номер появится у меня намного позже: я ел готовое блюдо из супермаркета из капусты, колбасы и подливки, а Камиллия и двое моих сыновей уехали на день в город, и я смотрел на цифры на экране телефона, пока не услышал твой чистый голос, я и правда оказался с тобой на связи, и лишь через несколько повторов я понял, что отвечала ты одними и теми же словами: *«Это голосовая почта птички. Бип*». И хотя я знал твой номер наизусть, я на всякий случай записал его под показаниями счетчика, и тем летом я все чаще и чаще заезжал к вам осмотреть телок, а затем в конце рабочего дня, когда туман от земли ложился на полях словно пена, угощался пивом, которое наливал мне

твой отец, а я вежливо улыбался на его шутки и хвастовство, слушал рассказы о разных фактах про климат, и он думал, что это из-за его компании я становился таким оживленным, но это происходило только благодаря тебе, моя дорогая питомица; я медленно пил твою маленькую, стесненную и темную жизнь, и в конце вечера ставил пустые пивные бутылки в сарай рядом с обувной скамеечкой, и после этих бесчисленных бутылок домашнего пива я чувствовал, как оно безумно вспенивается и закручивается во мне, но тогда уже точно знал: я любил тебя.

4

Может, в этом не было ничего странного, может, это было совершенно нормально, что в то чудовищно жаркое утро я зашел в магазин кроватей. Я купил самый дорогой матрас, который у них был, из пены с эффектом памяти и холодной пены, и две подушки, наполненные утиным пухом; я перетащил матрас в кузов своего фургона, положил поверх расстегнутый спальный мешок, который принес из дома и на котором была вышита буква «К» в честь Камиллии, и я убедился, что сторона с буквой находится ближе к двери, чтобы ты ее не заметила, а затем мне на мгновение подумалось, что женщина, которой я уже обладал, лежала у моих ног, а женщина, которую я желал, недостижимо парила в моей покрывшейся пóтом голове; я озирался, опасаясь, не видит ли кто-нибудь, как я строю любовное гнездышко почти так же усердно, как их строят птички-лысухи, а потом поехал к тебе с грудью, полной как радости, так и отвращения к тому, что везу в багажнике, и все это исчезло, как только я увидел тебя и осознал: то, что я делаю — правильно, мы с тобой неизбежны, мы как бридж в

песне, мы отличались от всего и всех вокруг. И я наблюдал, как ты игриво плюхнулась на матрас с книжкой «Джеймс и гигантский персик» Роальда Даля в руках и спросила, спал ли я на нем, и я немного пошутил, что да, я оборотень и ставлю машину на углу парковки чуть дальше по дороге, потому что хочу спать под луной, которая в ту неделю была похожа на нарыв в небе; и потом это уже не казалось шуткой — я все чаще ночевал в том углу, чтобы добираться до тебя как можно быстрее, и сиденье рядом со мной в конечном итоге покрылось пустыми пакетами из «Макдоналдса», засохшими контейнерами с майонезом для картофеля фри, бесчисленными упаковками из-под сэндвичей и банками колы с заправки, и, конечно же, помимо этого я работал и с другими фермерами и хозяйствами, но с ними я заканчивал быстро и возвращался в эту Деревню, к тебе, и, возможно, это было совершенно нормально, что ты валялась с книгой над головой и клала ноги мне на колени, на мои грязные рабочие штаны в коровнике, а я с трепетом касался всех твоих пальцев по очереди и нежно сжимал косточки, массировал их, как иногда массировал роговицу лошадиного копыта, и порой, когда становилось щекотно, ты осторожно дергала ногой, и тогда

мне приходилось сдерживаться, чтобы не вырвать книгу из твоих рук, зашвырнуть ее в траву, а затем грубо и страстно затащить тебя к себе на колени, прижать нос к твоим еще влажным после бассейна волосам и вдохнуть твой запах из-под запаха хлорки: я не мог определить, из чего он состоит, и мне точно пришло бы на ум что-нибудь разочаровывающее — ты пахла собой и как никто другой, вот так, и когда я впервые коснулся твоей кожи, мягкой как коровье вымя, ты позволила моим ладоням с любовью скользить по пальцам твоих ног и притворяться, что я исследую их костную структуру, чтобы понять, здоровое ли ты животное, и ты сказала мне, что смотрела «Чарли и шоколадную фабрику» Тима Бёртона не меньше десяти раз и всегда считала, что Вилли Вонка — неприятный персонаж и чудила, потому что он позволял надоедливым детям влипать в неприятности, он приманивал их богатством всех конфет на своей фабрике и не спасал их от той опасности, к которой приводила их жадность: ты сказала, что всем жадинам на самом деле чего-то не хватает; а еще ты всегда проматывала песни в фильме, потому что тебя от них тошнило, и ты долгое время думала, что тоже однажды найдешь золотой билет в плитке шоколада, и все

поймут, что тебе суждено уехать отсюда, но ты ничего не находила и вздыхала, что Роальда Даля похоронили с коробкой карандашей НВ, его любимым шоколадом Prestat, бильярдными киями и пилой, и что на кладбище Грейт-Миссендена к его могиле вели следы Большого Дружелюбного Великана, и что ты хочешь когда-нибудь туда съездить, лечь на холодный камень и прошептать, что он спас тебе жизнь, хотя ты так и не объяснила почему, и сказать, что обладаешь способностями Матильды и вежливостью Чарли, и что ты не могла спать по ночам, после того как посмотрела «Ведьм» в пятом классе, а учитель сказал, что смотреть этот фильм можно только детям со стойкой душой, а ты подняла руку и заявила, что твоя душа была какой угодно, но не стойкой, и ты слышала, что Роальд Даль был не согласен с концовкой фильма, что она отличается от книги: Люк в фильме превратился из мыши обратно в человека; и ты слышала, что Даль стоял у входа в некоторые кинотеатры с мегафоном и кричал: *«Don't go there, it's a mousetrap*[9]*»*. Ты бы хотела, чтобы он стоял у входа в твой класс, чтобы он сказал, что душа становится стойкой

[9] Примечания: 9
Не ходите туда, это мышеловка (*англ.*).

только тогда, когда несколько раз ее теряешь, и ты знала, что Роальд Даль однажды попал в авиакатастрофу, получил в ней перелом черепа и поэтому стал так здорово писать, и была уверена, что тоже испытала нечто подобное; хотя ты не разбивалась, когда впервые полетела, но тебе, должно быть, однажды что-то упало на голову, и поэтому теперь тебе в голову приходят такие мысли, и, возможно, это произошло потому, что ты пробила головой одну из Башен-близнецов, и тебе следует признаться на могиле писателя, что ты никогда не читала «Фантастического мистера Фокса», потому что не любила лисиц, которые откапывали мертвых кур-несушек, похороненных у реки; нет, говорила ты, у лис не было ни капли хороших манер, поэтому ты не хотела про них читать, и ты все болтала, а я все смотрел на тебя, моя маленькая добыча, на то, как матрас обнимает твое тело, и он был достаточно большим для нас обоих, но я не осмеливался лечь рядом с тобой, пока нет, а затем ты снова назвала меня по имени, пока мяла мои колени пальцами ног, как это делают котята, когда им хорошо, ты сказала: *«Курт, я не знаю, иногда мне кажется, что ничего никогда не вернется в норму»*. Ты вздохнула, а затем снова перевела взгляд на строчки книги,

и мне стало интересно, что именно так и не вернется в норму, но я не задавал никаких вопросов и ждал, пока ты продолжишь, и ты продолжила, заговорила о бассейне на краю этой Деревни, о парнях, которые прыгали с высокого трамплина, чтобы произвести впечатление на самих себя, на своих друзей и особенно на девочек, как однажды в шестом классе ты целовалась под водой, и не поняла, здорово это было или отвратительно, но потом выяснилось, что он поцеловал тебя только потому, что забыл деньги, а ты бы ему потом купила пакетик мармеладных лягушек «Харибо», поэтому ты называла его Лягушонком, и иногда ты думала о том поцелуе, который был на вкус как хлорка и немножко — как мальчик, и я спросил, о чем ты фантазировала, когда думала о Лягушонке, и я ласкал твои лодыжки и белую полоску от туфель там, куда не попадало солнце, и думал, что бледная ты намного красивее тебя загорелой, как если бы ты была из фарфора — такой я хотел тебя видеть, моя фарфоровая девочка, и я знал, что ты давно перестала читать свою книгу, я видел, как твои щеки порозовели, словно окрашенные краской для маркировки животных, которым я отмечал вакцинированных овец, и ты поперхнулась, а затем сказала,

что в твоих фантазиях птица убивала Лягушонка, проглатывала его за один присест, а затем вдруг ты в него превращалась, и ты ничего не могла с этим поделать, и ты сняла ноги с моих колен, перевернулась на живот и сказала: «*Больше всего я думаю о себе самой*». И я не знал, какое отношение это имеет к Лягушонку, я прикоснулся к чему-то, о чем ты не хотела говорить, и я не мог ничего поделать с этим, я сидел там, охваченный неловким возбуждением, и не знал, хочется ли мне приласкать тебя или же разорвать на части — может быть, я хотел и того, и другого, боже мой, да, я хотел и того и другого, и грязные штаны для работы в коровнике натянулись у меня на члене, и я хотел прикоснуться к подошвам твоих ног, все еще в морщинках после плавания, и я хотел выкинуть из твоей головы строчки книг Роальда Даля и наполнить ее моими словами, но ты внезапно показалась такой далекой, словно больше не была частью моего стада; и все-таки я остался чрезвычайно доволен тем, как у нас все шло, и особенно покупкой матраса, моя машина стала нашим дворцом любви, я повесил на стену плакаты, один — с «Нирваной», а второй — с королевой Беатрикс, она посещала Деревню в прошлом апреле, и тебе разрешили прикрепить бутоньерку

к груди принца Виллема-Александра, я наблюдал издалека, как ты нервно переминалась с ноги на ногу около церкви, боясь, что проткнешь ткань его костюма иглой и попадешь прямо в грудь, что ты убьешь принца Оранье-Нассау, и, не говоря ни слова, дрожащими руками ты прикрепила цветочную композицию, а затем написала об этом великолепную статью для школьной газеты, которую Камиллия проверила и дала почитать мне; было так трогательно, что ты набрала заголовок большими буквами с помощью WordArt, и я прочел первое предложение: *«I am almost numb with cold, but the thought that I will soon see Prince Willem-Alexander keeps me warm»*[10]. И тогда я не мог знать, что эта мысль не согрела бы тебя, что ты могла об этом думать и писать, но ты этого не чувствовала, ты хотела приласкать принца, и чтобы он приласкал тебя, но эта ласка не успокоила бы тебя, наоборот, заставила бы осознать все возможности потери, того горя, что ты в себе несла: как только ты бы полюбила кого-то, ты потеряла бы всю свою любовь, и это было бы непереносимо, и ты позволила бы ей завянуть как бутоньерке, или изо всех сил пыталась бы

[10] Примечания: 10

Я почти окоченела от холода, но мысль, что я скоро увижу принца Виллема-Александра, согревает меня (*англ.*).

остановить увядание, что было столь же бессмысленно; и на следующий день после того, как ты освятила матрас, я фантазировал, заложив руки под голову и свесив ноги в ботинках через край кузова, что королева обратилась ко мне с плаката и торжественно сказала, что мне можно вступить в Орден Верности и Заслуг за то, что я никогда не покину тебя, дорогая питомица, и что я получу Медаль Спасения за то, что спасу тебя; я бы показал тебе, каково это — по-настоящему летать: я думал об этом, глядя на польдеры, на зонтики цветов вдоль дороги, и на мгновение испытал такое же блаженство, как когда был моложе, возможно твоего возраста, когда думал, что смогу стать кем угодно, и теперь у меня вновь возникло это чувство, только я стал именно тем, кем не хотел, я намеревался склеить тебя, а не сломать — вот только я всегда был неуклюжим, и в голове потемнело, давно уже не было такой темноты, и я увидел, как с луны капает гной, как он стекает по дверям моего фургона; я вспомнил, как однажды разбил воскресный материнский сервиз с цветочным орнаментом, и он разлетелся на осколки по твердому каменному полу кухни, и мне пришлось спать в сарае среди моих грехов и пышущих теплом шумных свиных туш, и той

ночью я узнал, что милые розовые хрюшки не могут смотреть вверх, в небо, их шеи недостаточно гибкие для этого, и я был уверен, что Бога не может быть, нет, Бога не существует, и на следующее утро я сказал это матери, когда она позвала меня из сарая завтракать, и я увидел, как от моих слов ее вилка глубоко воткнулась в блинчик на ее тарелке; блинчики, которые она всегда пекла после того, как не знала, чем исправить свое злодейство, это были примирительные блины, и на вкус они всегда отличались от обычных блинов: тяжелее ложились на желудок, тесто было слишком сильно взбито, молока в нем не хватало, но я вывалил ей свои мысли о Боге, и тогда мне пришлось подняться по винтовой лестнице в ее спальню, что была напротив моей, где она сняла кухонный фартук и длинную благочестивую юбку, медленно, как будто надеясь, что передумает, но она не передумала и, расставив ноги, села на край кровати, приказала мне встать перед ней на четвереньки, по-собачьи, и я залаял, чтобы доставить ей удовольствие, чтобы рассмешить ее, я сказал *гав-гав*, но она не улыбалась, на ней были эти дурацкие высокие черные носки, и я все еще ощущал сахарную пудру на языке и губах, а затем она сказала хриплым голосом, который я

слышал впервые: *«Тебе нельзя останавливаться, пока Бог снова не окажется в тебе»*.

5

Дорогая моя небесная избранница, я не мог не думать об этом проклятом Лягушонке. Мысленно я клал его на свой складной операционный стол, чтобы расчленить и увидеть в нем то, что видела ты, но каждый раз, когда я пытался воткнуть скальпель ему в живот, он подпрыгивал и с кваканьем ускользал прочь, и мне надо честно признаться тебе — из-за него я становился таким ревнивым и воинственным, и ох, я знаю, как это было глупо с моей стороны, но в какой-то момент я начал преследовать тебя, когда ты ехала на велосипеде по Киндербалладевех к бассейну с купальником, полотенцем и пакетиком чипсов со вкусом паприки под ремешками багажника; чипсы крошились, пока ты доезжала до места, и ты думала, что их стало больше, и я, незаметно последовав за тобой, считая, что ты там будешь целоваться с Лягушонком — адом был не поцелуй, но знание, что во время этого обмена слюной для меня не останется места, что твоя голова будет занята кем-то другим: я хотел полностью владеть тобой, ты должна быть моей, только моей. Иногда я дремал на парковке у бассейна,

измученный этими утомительными днями, этой охотой, и меня будил Лягушонок, который сидел на приборной панели и квакал, что я никогда не овладею тобой, и чем больше я считал, что ты моя, тем меньше правды в этом было, и порой, когда я резко просыпался, тебя и вправду уже не было, я больше не видел твой красный «Хазелле», припаркованный среди других велосипедов; однако обычно я ехал за тобой на безопасном расстоянии и видел, как ты наклоняешься к рулю против ветра, словно в слаломе объезжаешь белые полосы на тротуаре, а затем, когда мы одновременно приезжали на ферму, ты с улыбкой смотрела на меня и говорила *«вот совпадение»*, а я отвечал: *«настоящее совпадение»* — и исследовал твое личико по направлению ко рту, чтобы увидеть, не стали ли твои губы краснее, пухлее, не летят ли из них бабочки, и не мог спросить тебя, виделись ли вы с Лягушонком, потому что после того как ты заканчивала кое-какие дела в коровнике для па, сразу шла в свою комнатку, а потом я услышал, как из твоего окна звучат The Cranberries, и задрожал, хотя на улице стояла жара, задрожал от фразы *«We must be mistaken»*[11].

---

[11] Примечания: 11

Мы, должно быть, ошибаемся (*англ.*) — строчка из песни «Zombie».

Нет, подумал я, мы не ошибаемся, и я не знал, ты пела потому, что нашла любовь, или потому, что хотела найти; я размышлял об этом, когда шел среди голландских коров по пашне и пытался прислушиваться к твоему па, который жаловался на засилье кротовых нор, на ловушки, которые мы должны были поставить, и на мгновение я понадеялся, что сам попаду в такую ловушку, что все закончится, я окажусь в кротовой ловушке и скажу твоему отцу, что я ослеп, ослеп от тебя, но постепенно снова стал видеть свет, а потом эти мысли исчезли так же быстро, как и пришли, потому что на пашню вышла ты, ты впервые надела это белое платье с рукавами-фонариками, и я заметался, моя небесная избранница, я заметался между восхищением, обожанием и ревностью, и я видел, что тебе не по себе, ты не была уверена, что в платьице ты — все еще ты, но я видел тебя сквозь просвечивающую ткань, об этом я не беспокоился, я беспокоился о другом, зачем и для кого ты это сделала: для меня или для Лягушонка? И ты почти застенчиво сказала, что ужин готов, что картошка немного пережарилась, но мясо в порядке, и спросила, присоединюсь ли я, твой брат поест у своего друга, и этого было более чем достаточно, ты коротко глянула на

своего па, он одобрительно кивнул, и я готов был возликовать, но я кивнул, просто кивнул, а затем быстро отвернулся от тебя, и только потом понял, насколько это было грубо, насколько надменно, и прежде чем мы сели есть, ты сняла платье и переоделась в бесформенную рубашку и пару расклешенных джинсов: со спины было непонятно, мальчик ты или девочка, и я подумал, что ты и сама этого толком не знаешь — что ты имела в виду, когда сказала, что стала Лягушонком? Это не имело значения, я бы научил тебя, чем мальчик отличается от девочки, как я помогал однокурсникам изучать анатомию крупного рогатого скота — я показывал бы указкой и называл бы все части тела, а ты бы лежала голая на матрасе, да, ты бы лежала голая, а я показывал бы на все, от твоей локтевой кости до копчика; и я встряхнул головой над тарелкой дымящегося картофеля, шницеля и стручковой фасоли, чтобы ты не сидела раздетой прямо передо мной, и я улыбнулся тебе и затем небрежно спросил, как будто не ожидая стоящего внимания ответа, но все же с достаточным интересом в голосе, потому что я знал, насколько ты чувствительна к подобному, к искреннему интересу, я спросил, хорошо ли ты искупалась, и ты радостно кивнула, ты

рассказала, как здорово быть невесомой, плавать под водой, как ты оказалась быстрее всех своих друзей — ты лучше всех выносила руки над поверхностью воды, когда плыла брассом — именно так выходит быстрее всего, — и ты снова сказала, что невесомой быть приятно, и только потом я узна́ю, какое это важное слово — «невесомая»: когда ты похудела так сильно, что не за что стало держаться; и я тебя слушал, но перед глазами стояла картина, как твои губы снова и снова прижимаются к губам Лягушонка, воображал, как твой маленький язычок переплетается с его языком, я жестоко давил картофель вилкой и видел, что ты что-то скрываешь, потому что иногда ты украдкой поглядывала на своего отца, который, не поднимая глаз, запихивал в себя еду, как будто мы в любую минуту могли забрать его тарелку: казалось, он не следил за нашим разговором, все, что было слышно — это звук ложки, постукивающей по его зубам с каждой порцией яблочного соуса, а в перерывах между этими постукиваниями ты рассказывала о новой песне Бонни Тайлер, которую ты для себя открыла, с альбома *Faster Than the Speed of Night*, она называлась Total Eclipse of the Heart, и, очарованная, ты сказала, что не можешь перестать ее слушать, что ты задаешься

вопросом, каково это — когда сердце скрыто в тени, и тебе кажется, что это очень красиво и верно, да, верно, что любовь скрывается лишь во тьме и что иногда и у тебя возникает мысль, что ты распадаешься на части; а затем ты вдруг вскочила на стул, подождала, пока я направлю на тебя все внимание и отложу вилку, и ты стояла на стуле, на своей первой сцене, и чувствовала себя прекрасно, чувствовала себя непобедимой, чувствовала себя избранной, и ты запела, чисто и искристо: *And I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you only hold me tight we'll be holding on forever*[12]. Тогда я узнал наверняка, что ты влюблена, и не мог понять, надо ли мне сходить с ума от радости или же устроить тебе допрос с пристрастием и выслушать о твоих приключениях в бассейне, но тут ты снова села и положила в рот кусок шницеля, ты на мгновение покраснела, что заставило меня снова задуматься, из-за меня это (скажи «да», пожалуйста, скажи «да») или из-за Лягушонка, и я не смог удержаться от ревности, не смог не рассказать, сколько лягушачьих трупов мне попалось по дороге сюда: из-за жары некоторые из них налипли на шины,

[12] Примечания: 12

И ты мне нужен сегодня вечером, и ты нужен мне больше, чем когда-либо, и если ты обнимешь меня крепче, мы будем вместе вечно (*англ.*).

и мне пришлось соскребать их пластиковым бейджиком с именем, прикрепленным к нагрудному карману ветеринарного халата, и я увидел, как с твоих щек сходит румянец, и когда твои глаза стали пустыми, и ты принялась накалывать фасоль на вилку, я остановился и закончил: *«Не все лягушки могут прыгать одинаково высоко»*. Ты больше не смотрела на меня, даже после того как задала свой вопрос, и я не мог понять, что у тебя на уме, но ты задала его — это уже после того, как я тебя расстроил, ты спросила: *«Курт, ты не хочешь посмотреть мою комнату, мое птичье гнездо?»* И я взглянул на твоего отца, который принялся за ванильный крем и был настолько погружен в себя, что ничего не заметил, или, может быть, он думал, что это нормально — и мы встали, осторожно отодвинули стулья и поднялись наверх, в твою комнату, и я немного неловко присел на край твоего стола рядом с открытой тетрадкой по математике, но мое сердце пропустило удар от охватившего меня восхитительного детского восторга: синие как океан обои на стенах, ряд плюшевых игрушек на кровати, словно ночная стража, на стене плакаты из журнала «Все хиты», из экземпляра, выпущенного в год твоего рождения, который ты получила от потерянного, с

Мадонной, Джулией Робертс, Джоном Стамосом и группой De Kreuners, еще там было стихотворение Фрэнка Эйрхарта, его последняя строчка гласила: «*Нет в море горечи*», — несколько фотографий, прислоненных к корешкам книг в шкафу, и твоя коллекция компакт-дисков «Берт и Эрни», и ни на одном фото ты не была той, кем на самом деле являлась, ты везде позировала, как делают четырнадцатилетние девушки, которые соблазняют, но не знают, что такое соблазн, их глаза говорят, что они хотят тебя, но еще лучше будет, если ты дашь им побольше карманных денег, они желают, чтобы им поклонялись, но предпочитают, чтобы кто-то защищал их от мира, они хотят шикарной жизни и в то же время воображают себя невидимками — и я видел все это в тебе, но ты зашла дальше, чем твои подруги, которые стояли рядом с тобой словно манекены, ты была другой, ты так глубоко размышляла обо всем, что через некоторое время даже я больше не мог за тобой угнаться, ты была под водой, и мне было трудно добраться до тебя, ты была птицей, которая позже станет знаменитой, ты была моей добычей, и внезапно у меня закружилась голова, я пробормотал, что плохо себя чувствую, что мне нужно идти, что мне жаль, я повернулся и зако-

вылял вниз по лестнице, к припаркованной на гравийной дорожке машине, и с тошнотворным чувством помчался домой по набережной, как тогда, когда я возвращался от того фермера и думал, что если поеду быстрее, то скорее избавлюсь от картины его повешенного тела на сетчатке глаз, но точно так же, как я не смог избавиться от фермера, я не смог избавиться и от тебя, и, чтобы помучить себя еще больше, в кабинете я включил песню Бонни Тайлер, дорогие господа, я плакал, да, я рыдал из-за тех ужасных, чудовищных желаний, которые у меня к тебе возникали, из-за Лягушонка, что жил в твоей голове, хотя я и знал, что это продлится недолго, что я смогу с легкостью справиться с Лягушонком, я смогу расплющить его раньше, чем он успеет засунуть в тебя свой язык, и именно в ту ночь я впервые дал себе волю, моя дорогая питомица, я дал себе волю и яростно расстегнул штаны, и когда я грубо стирал со щек слезы, я понял, что потерян, моя плоть была так слаба! Я снова попытался вспомнить сильно накрашенные глаза Бонни Тайлер, ее хриплый голос, но все, что я видел, это ты, стоящая на пашне в своем белом платье, и я думал о нас, вместе, на матрасе, а потом, совсем недолго, о королеве, которая обращалась ко мне, говорила

о моей спасательной операции и прикалывала наградную ленточку, а потом — снова о тебе, о тебе, о тебе!

6

Билеты в кино горели в моем кармане, как золотые билеты Вилли Вонки. Я уже мог представить твое счастливое лицо при мысли о том, чтобы сбежать с полей, хотя билеты были не на фильм Бёртона, а на кое-что получше, на «Оно» Стивена Кинга с Тимом Карри, фильм, ставший классикой еще до твоего рождения, он был снят в 1990 году, и его теперь показывали в кинотеатре в соседней деревне, которая была наиболее известна своим замком и писателем-юристом, который сбежал в книжном сундуке — я не видел в этом ничего романтичного, пока ты не рассказала, что он сделал это, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной, и как опасно и захватывающе стать еще одной стопкой книг, и какую клаустрофобию может породить тоска по другому человеку, хоть в сундуке и были дырки для воздуха, конечно, *но все-таки*, сказала ты, он поступил так здорово, зная, что мог доехать мертвым, или, что еще хуже, его могли обнаружить, а в те дни наказания были суровыми, и лучше умереть от разбитого сердца, чем быть пойманным и обезглавленным на эшафоте. И ты рассказала, что в Средние века

отрубленную голову иногда посылали правительнице в знак повиновения, и ты не можешь не думать, что это до сих пор так, что сразу несколько музеев утверждали, что у них хранится тот самый сундук, в котором сбежал юрист, что в 1958 году его именем был назван самолет, и по пути в Нью-Йорк он упал в Атлантический океан, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж, и я знал, что ты можешь это представить, что твое воображение безгранично и что ты можешь себя этим напугать, и я увидел перед собой фото: ты сидишь на краю вала у замка во время праздника у Элии, где ты нарядилась рыцарем, а все твои подруги — желанными юными дамами; ты была рыцарем, и я впервые увидел тебя такой, прекрасным молодым юношей, и билеты все сильнее жгли мой карман, когда в тот день я говорил твоему отцу, что Камиллия не сможет пойти в кино, и не захочешь ли пойти ты, по крайней мере, можно ли тебе, и я сказал твоему отцу, что это поможет тебе развеяться, я говорил ему это, пока мы сидели на краю кузова моего фургона, смотрели на поля и пришли к согласию, что коровы в этом году чувствуют себя хорошо, да, отлично, даже номер сто восемьдесят медленно оправляется от хромоты, и да, телята

чувствуют себя прекрасно, мало болеют; и я предложил ему «Лаки Страйк», чтобы еще больше его успокоить, и потом, выдохнув дым, он сказал, что тебе можно пойти, если ты вернешься домой до темноты, и я сохранял спокойствие, но внутри хотел кричать от радости — я сказал тебе об этом позже, когда ты налила мне кофе, отрезала кусок торта с розовой глазурью и сказала, что не слышала ни про «Оно», ни про Стивена Кинга, а я недоверчиво посмотрел на тебя: да кто в наше время не слышал про Стивена Кинга? Я попросил тебя обязательно прочитать какую-нибудь из его книг, но начать с серии ужасов — я знал, какой ты была хрупкой, и знал, что ты считала страшным даже детский фильм «Ведьмы», а значит, ты крепко прижмешься ко мне и не сможешь спать по ночам, и в первый раз позвонишь мне со словами: *«Птичка боится, птичка не может уснуть»*. И каждый раз, входя в свою комнату, ты будешь заглядывать под кровать, а затем в шкаф, и когда будешь принимать душ, то начнешь затыкать мочалкой слив, на всякий случай, но тогда, на поле, мне была по душе простая мысль, что мы окажемся вместе, что мы какое-то время проведем вдали от фермы, где за нами наблюдали сотни коровьих глаз, вдали от твоего отца,

который был то ревнивым, то равнодушным; а затем ты спросила, можно ли Лягушонку с нами, потому что он тоже пойдет, а вы просто друзья, сказала ты как можно более небрежно, но я услышал надежду в этой небрежности, и сказал *«конечно, можно»*, и сразу почувствовал кислый привкус во рту; я попытался прогнать его, несколько раз укусив розовый торт, который встал сухим комом у меня в горле, кашлянул и сказал, что мне нужно закончить кое-какие дела, ушел от тебя, прислонился головой к прохладному резервуару в доильном зале и сжал кулаки от разочарования, от неудачи, но я восхитительно быстро оправился, когда в голову пришла мысль сесть между тобой и Лягушонком, так что я забрал тебя после ужина: ты ждала на улице в своем белом платье, словно ангел, низвергнутый с небес, такая красивая, что мне пришлось сдерживаться, чтобы не посигналить; мне вдруг расхотелось смотреть фильм и захотелось просто полежать с тобой на матрасе, разделить с тобой наушники твоего плеера, попросить, чтобы ты объяснила мне, почему ты ощущаешь такую близость с людьми, умершими или родившимися 20 апреля, такими как Стив Марриотт и Гитлер, и чтобы ты включила All Or Nothing и сказала, что когда ты

родилась, Стив Марриот умер, потому что его дом в Эссексе загорелся, вероятно, от зажженной сигареты; ты думала, что лучшая фраза в этой песне — *«For me, for me, for me we're not children*[13]». И, вероятно, поэтому ты пришла в мир мертвенно-тихой, как влажный теленок с околоплодной пленкой на голове, потому что где-то в другом месте кто-то умер, и ты иногда разговаривала с Гитлером и мысленно приглашала его на чай, чтобы отпраздновать свой день рождения, а потом ты приглашала еще и Фрейда, чтобы было повеселее, и хотел бы я знать, как, черт возьми, ты опять к нему вернулась; ты расспрашивала Гитлера, какую музыку он любит, от какой музыки ему хочется танцевать — сперва бы ты не задавала сложных вопросов, они начались бы позже, за соком, который вы пили после второго кофе, как это делали на деревенских праздниках в честь дня рождения, только тогда ты спросила бы о его злодеяниях, ты бы спросила: *«Адольф, ты ненавидел евреев или скорее самого себя?»* И ты попросила бы Фрейда назвать разницу между Гитлером и тобой: что делало его плохим и что делало тебя хорошей, и возможно ли, что ты

[13] Примечания: 13
Для меня, для меня, для меня мы не дети (*англ.*).

когда-нибудь станешь кем-то вроде Гитлера, — и тогда Фрейд по-отечески успокоил бы тебя, и ты была бы рада, что он тоже приглашен на твой день рождения; а потом ты переключилась на День поминовения и сказала, что неизменно хранила молчание все две минуты, где бы ты ни находилась — ты боялась, что, если не сделаешь этого, снова разразится война: ты сказала, что думала о жертвах, но и о Гитлере тоже, потому что даже в самом темном человеке когда-то был солнечный свет; и ты снова вернулась к Стиву Мариотту, к тому, что у него была собака по кличке Шеймус, немецкая овчарка, Pink Floyd написали о ней песню, фоном звучал непрерывный собачий вой и лай, и прослушивание песни заставляло тебя задуматься о том, как сильно Шеймус скучал по своему хозяину; а потом ты стала грустной, безутешной, и на самом деле тебе всегда было грустно в твой день рождения, потому что ты хотела стать взрослой, но одновременно не хотела становиться старше, и ты будешь неизбежно снова и снова терять какую-то версию себя, и ты рассказала, что все наши клетки обновляются каждые семь лет, поэтому ты никогда никого не сможешь узнать по-настоящему, но я знал, когда ты села рядом со мной и пристегнула ремень без-

опасности, и мы были совсем как двое взрослых, собирающихся развлечься вечером, — я знал, что буду узнавать тебя все лучше и лучше, все уродливое и прекрасное в тебе, и иногда, когда я клал руку на рычаг переключения передач, я случайно дотрагивался до твоего колена, и только тогда я впервые заметил легкий изгиб под твоим платьем в области бюста: ты скоро превратишься в красивую женщину, я был уверен в этом, и мне нравилось видеть, как ты растешь, хотя я и надеялся, что это не случится слишком быстро, я все еще хотел видеть ребенка, того счастливого ребенка, которым ты была, который из-за своей игривости не видел, что возбуждает меня; и в кино я действительно сел между тобой и Лягушонком и постоянно нажимал кнопку под столиком: тебе понравилось, что можно было просто нажать на нее, и из темноты выходила женщина и шепотом спрашивала, чего бы нам хотелось, я все время заказывал тебе колу, и ты по своей наивности и бесхитростности не видела ничего плохого в том, что я обнимал тебя, когда ты содрогалась от страха и ужаса, что в конце концов я положил руку тебе на колено, как будто это был рычаг переключения передач, и стал переключаться на третью передачу; я двигал

руку все выше и выше по чуть-чуть, пока мое запястье не прижалось к твоим трусикам под платьем, и ты напряглась, но ничего не сделала, ты не встала, не закричала и не попросила помощи у Лягушонка, ты оставила мою руку там, и я решил, нет, я хотел, чтобы ты этого желала, и я воспринял это как «да», когда почувствовал, что ткань под моим запястьем стала влажной, и я знал, что в тот момент я вступил во мглу, что я провалился в галактическую туманность собственной похоти, но я ничего не мог с собой поделать, я обожал тебя, моя маленькая добыча, моя дорогая питомица, и я сказал себе, что тебя заморозил Танцующий клоун Пеннивайз, прибывший в городок Дэрри в штате Мэн, где он убил Джорджи, поэтому на обратном пути ты была такой тихой и сказала только, что тебе нравится, что монстра можно заставить исчезнуть, только если получится в него не верить, что монстры этого не выносят, и я боялся, что теперь стану клоуном, что если ты перестанешь верить в меня или в существование нашей любви, я тоже исчезну; и мы не говорили о моей руке между твоих ног, и чтобы тебя успокоить, я подтолкнул тебя в руки Лягушонка, сказав, что он симпатичный парень, а ты отсутствующим голосом сказала:

«да, да, конечно, симпатичный», — и когда ты выходила, я быстро схватил твою руку, липкую от попкорна, и был почти поражен тем, как сильно ты сжала мою, и я спросил, не хочешь ли ты мой номер телефона, чтобы звонить мне по любому поводу, и я написал его на обратной стороне флаера из McDonald's, под фотографией двойного Биг Тейсти, и в тот вечер ты впервые отправила мне сообщение с текстом: *«Под бледностью клоуна просто скрывается нуждающийся человек»*. Я ничего не отправил тебе в ответ, нет, я хотел, чтобы ты тосковала по мне и забыла о Лягушонке, этом симпатичном сопляке, который злословил в кинотеатре рядом со мной, дуясь на то, что ему нельзя сесть с тобой, и в конечном итоге был совершенно неинтересным и недостойным тебя, он бы сожрал тебя, как Хэппи-Мил — мимолетно и не смакуя, — и скоро бы наелся и устал от тебя, а со мной все будет не так. После фильма у дверей кинотеатра ты быстро его обняла, почти робко, как это делают подростки, и только я мог по-настоящему крепко обнять тебя, так крепко, что все твои заботы бы исчезли, но ты обняла его, а затем поскакала к машине под внезапным ливнем, и твое белое платье стало прозрачным сверху, и ты не заметила этого, моя возлюбленная, и ты

молчала, потому что слишком многое проносилось в твоей голове, и после твоего сообщения я несколько часов смотрел в потолок, а Камиллия лежала рядом со мной, она становилась все более чужой мне, и я не мог найти в ней тебя, потому что ты такая одна-единственная; и я не появлялся на ферме несколько дней, я заставил тебя думать, что больше никогда не приеду, и когда я снова тебя увидел, ты стала другой, как будто повыше, а Лягушонок после фильма решил пойти на свидание с твоей лучшей подругой Элией, и ты сказала, что смирилась с этим, потому что, процитировала ты из 13-го Послания к Коринфянам, любовь *«все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»*. Между тобой и Лягушонком все было не так, и я понял, что именно тогда ты действительно начала меня видеть: ты все чаще стала болтаться в коровнике, когда я лечил корову с инфекцией вымени, потом я увидел, как ты заходила с ведром воды и куском мыла и смотрела, затаив дыхание, как я позволял мылу скользить между моими сильными ладонями, и надеялся, что тебе очень хотелось стать этим куском мыла, хотя твое молчание было коротким, потому что вскоре ты опять заговорила о Стивене Кинге; ты уже взяла книгу из библиотеки и хотела отло-

жить ее, и в то же время не хотела выпускать ее из рук, в ней все было так ужасно, и ты сказала, что никогда не забудешь Оно, и тебе постоянно снились кошмары об этой книге, и ты пошла со мной, когда я относил вещи в машину, ты хотела что-то сказать, может быть, что-то приятное, но не осмеливалась, и я огляделся, чтобы убедиться, что нас никто не видит, затем взял тебя за руку и притянул к краю кузова, посадил к себе на колени, и ты позволила мне это, ты обняла меня и положила голову мне на плечо, и мне кажется, никто раньше не прижимался ко мне так сильно, ты будто хотела раствориться во мне; ты словно в бассейне уходила под воду с головой, такая закоченевшая, и я думал, что ты права, под всей этой бледностью скрыт нуждающийся человек. И я крепко обнимал тебя, Господи, как крепко я обнимал тебя.

7

Тем летом ночи были адские. Словно плохой пехотинец, я передвигался перебежками между тобой и фермером, часто просыпаясь в поту и лихорадочно ощупывая прикроватную тумбочку в поисках выключателя радиобудильника; его яркий свет прорезал черноту, как я срезал пригоревшую корочку с бутерброда, если он слишком долго жарился в тостере, думая, что так у меня не будет шансов заболеть раком, хотя ладно, думал я за завтраком все чаще, пусть я заболею раком, все лучше, чем ночная боль, сжимающая мое сердце, от которой я корчился под простыней, изо всех сил стараясь не разбудить Камиллию — она бы заволновалась и принялась вытирать мне лоб мокрой тряпкой, и тогда, из-за рака, сжигающего мой разум, я бы бешено заорал, чтобы она отцепилась от меня с этой тряпкой; я уже пропал, я безнадежно потерян, потому что хотел только тебя, и от этого был потерян еще больше, болезнь быстрее пробиралась в слабое тело, все это знали, и Боже, как я был слаб, как несчастен, когда лежал там и кусал свою наволочку; словно раненый пехотинец, пораженный шрапнелью,

я убежал в свою армию, чтобы там умереть, и я пытался представить, как ты меня обнимаешь, как успокаивающе шепчешь, что я всегда был твоим любимым зайчиком, твоим самым красивым победителем выставок, что ты носила меня, словно свой любимый диснеевский свитер; и я попытался вспомнить твой запах, но в носу по-прежнему стояла вонь от сгоревшего тоста, гнилостный запах кошмара, и иногда я тихонько выскальзывал из-под простыни и шлепал в ванную, закуривал сигарету на подоконнике, и дым вылетал через форточку с сеткой, чтобы Камилла не почувствовала запах, когда пойдет в ванную утром, ведь если бы я сказал ей, что больше не боюсь умереть, она бы ответила: *«Подумай о детях»*. Но я не мог рассказать ей, что в моих мыслях царит только один ребенок, на самом деле я вообще ничего не мог ей рассказать, мы были как два упрямых сквоттера, которые по воле случая ночевали в одном доме, она не смогла бы понять образы, которые приходили мне в голову: в них фермер свисал не с лестницы, а с башни для силоса, он был синим, как чертополох, и из его рта вырывался последний смертельный вздох, и когда я зажимал уши руками, этот звук эхом разносился в моей голове, а на заднем плане

я слышал рев коров, загнанных стрелками в угол и порой падавших лишь после нескольких выстрелов; я видел, как из-за силосной башни появляются краны, подцепившие за ноги туши полумертвых овец, я видел пасторов, которых я порой привлекал, если хозяин животного от горя не знал, куда податься, но я опоздал к тому фермеру, я на мгновение потерял его из виду, и если бы мой голод пришел раньше, если бы я раньше задался вопросом, где фермер, я мог бы натолкнуться на него в холле, мог бы взять его за руку, чтобы показать, что его ферма сейчас выглядит пустой, но однажды он услышит на ней мычание нового стада, лязг поилок, звук вращения щеток по спинам коров, гул молочной цистерны — конечно, он никогда не забудет то, что произошло, и в течение первых недель после появления новой жизни он будет видеть скелет смерти; возможно, он станет сомневаться в Боге, сомневаться во мне, но он будет становиться сильнее, и мало-помалу, утро за утром он будет входить в коровник с меньшей тяжестью в душе, будет смотреть на своих лимузинских и герефордских телок, и его глаза замерцают, обратится к ним снова, как пастор обращается к своей пастве в надежде, что они вернутся домой благочестивыми и успокоен-

ными; но воображать все это было бессмысленно, потому что фермера уже нет, и в моем кошмаре он свисал на веревке, словно его сперва тоже пристрелили, как корову, а потом какие-то фермеры в знак протеста повесили его на силосной башне, как в тот раз, когда кто-то привязал к ветке у подъездной дорожки к своей ферме мертвого поросенка, и с него капала трупная жидкость, а мне нельзя было больше переступать порог некоторых ферм — я был одновременно и целителем, и убийцей: большинство пасторов проповедовали, что люди должны преклонить колени, что эта катастрофа обрушилась на Нидерланды по воле Божьей, но, несмотря на это, многие крестьяне решили обороняться и бросали камни в меня, в других ветеринаров, в сотрудников трупоперевозки; они брали пример с Давида, который бросал камни в великана Голиафа, и я не мог их винить, сначала люди выбирали самооборону и только потом опускались на колени, и я подумал о преподобном Хорремане, который был единственным, кто проповедовал физическое насилие, потому что сам держал лошадей; он провозгласил в своей проповеди, что мы должны что-то сделать со страданиями животных, с этим вопиющим нарушением этики, он считал приказ

о забое первым признаком самоуничтожения, и в некоторых случаях он оказался прав, так и вышло с тем фермером, и я видел во сне, как он свисал с башни, а ты, ты стояла так ужасно высоко на ее краю, и я знал, что это безумие, все это время я знал, что твое желание летать — безумие, ты разобьешься о плитку во дворе, моя дорогая, ты просто разобьешься, и я слышал, как ты в шутку, но пугающе, вместо строчки *«поймай меня, если сможешь»* пела *«пусти меня, если сможешь, ты все равно не посмеешь меня удержать»*, и я хотел закричать, что никогда тебя не отпущу, в то же время я знал, что это будет ложь, а ты в своей ветровке стояла и ждала, что я тебя успокою, но я не смог, а затем ты демонстративно развела руки, в знак последней надежды и в то же время — последней угрозы, но с моих губ по-прежнему не сорвалось ни звука, хотя я знал, что смогу тебя успокоить, хоть и всего лишь на мгновение; нет, я хорошо знал свои реплики, я чертовски хорошо их знал, и это было бы так легко, и я добавил бы в них несколько строк трехсотого гимна из «Сборника церковных песен», потому что ты бы его узнала: *«Я не оставлю тебя, я останусь с тобой, пока не вострубят трубы, с высоты и со всех сторон окружат нас тысячи голосов, и*

будет сказано «аминь», и не останется ничего, кроме песни, Господь, спор улажен, я не оставлю тебя, пока не исполнится что начертано». И ты бы сбросила свои крылья и освободилась от желания летать, я бы стащил тебя краном с башни для силоса, но я ничего не сказал, я не мог ничего сказать, и когда я проснулся, то подумал о песне Леонарда Коэна Ain't No Cure For Love[14], и насколько это правда. И когда ты взлетела, я все еще надеялся, что ты победишь гравитацию, оспоришь закон Ньютона, но ты упадешь, хотя это было не единственное, что меня беспокоило: с тех пор в моих снах появилась публика, она сидела на шатких садовых креслах на гравии, смотрела и аплодировала во всех отвратительных местах, в тех местах, где большинство людей выдохнуло бы или закрыло глаза; эта публика была моей матерью, у нее всегда был дар реагировать, когда не нужно, и молчать — когда нужно, но в моем кошмаре она превзошла саму себя: она была главной причиной, по которой я не мог тебе солгать — она не раз повторяла, что если заметит, что я вру, то отрежет мне язык картофелечисткой, как она срезала с клубней ростки, и я воображал

---

[14] Примечания: 14
«Нет лекарства от любви» (*англ.*).

свой язык в корзине для очисток, воображал, как снова и снова пробую на вкус сахарную пудру, жир с блинов, и у меня ничего не выходит; я не мог лгать, потому что знал, что причиню тебе боль, и она будет сильнее, чем тебе нанесет падение с башни, поэтому я позволил тебе упасть, я позволил тебе рухнуть, а ты кричала, что ты самолет, что ты долетишь до Нью-Йорка, в Город, который никогда не спит, и процитировала еще одну строчку из альбома Live in New York Лори Андерсон, партнерши Лу Рида, она записала его примерно через десять дней после теракта 11 сентября, песня была в основном об атаке, и фермер внезапно открыл глаза и начал рыдать; на самом деле он рыдал из-за моей дорогой питомицы, из-за моего разбившегося небесного создания, которое лежало в осколках на земле.

8

Ты знала это наверняка: ты странная, но не настолько странная, чтобы не замечать этого за собой, потому что только настоящие сумасшедшие не замечают за собой странностей. Ты знала, что ты чудна́я и необычная, и в то же время у тебя были хорошие манеры, ты очень правильно говорила и продолжала обращаться ко мне на «вы», хотя я это ненавидел, это создавало между нами дистанцию, а я не хотел остаться в твоей жизни просто каким-то дядюшкой, прохожим, который слишком в ней задержался, я хотел слиться с тобой и не мог, пока ты продолжала говорить мне «вы», и ты правда пыталась это изменить, но мешала вежливость, но все же иногда ты вела себя с другими высокомерно — не потому, что была такой, а из самозащиты, и тогда я вспоминал слова Горация: *«Только Бог может превратить низшее в высшее; унизить гордых и осветить то, что скрывалось во тьме»*. Ты была одновременно и светлой, и темной, и взрослой, и маленькой, ты словно опытная актриса быстро адаптировалась к сценарию повседневной жизни, перемещалась среди жителей деревни и своих одноклассников,

и, даже не глядя на них, знала, как выставить себя в лучшем свете, показать то, чего от тебя ждали, поэтому ты говорила: *«Курт, часто дело не в том, кто ты есть, а в том, кем тебя хотят видеть»*. Итак, ты играла хорошую дочку, милую и веселую лучшую подругу, прелестную деревенскую девушку, мою небесную избранницу, талантливого музыканта, и у тебя хорошо получалось, должен тебе сказать, ты была превосходна, но я слишком часто замечал прозрачную бездну, что скрывалась за твоим актерствующим «я», бесконечную пустоту: она иногда овладевала тобой, когда ты сидела у меня на коленях на краю кузова, и тебе хотелось заползти внутрь меня, чтобы наполниться самой, и твой взгляд чаще бывал направлен вовне, и я замечал, что ты много говорила о песнях, книгах и фильмах, но мало о самой себе, о жизни с братом и папой, и двадцать третьего июля я решил показать тебе мой дом; Камиллия гостила у сестры в Испании, и дома были только дети, мой старший был на два года старше тебя, и я тогда не мог предвидеть, что между вами что-то вспыхнет, что я преподнесу тебе нового Лягушонка на серебряном блюдечке, что я буду ревновать к собственному сыну, когда он захочет в тот вечер отвезти тебя домой на

мопеде; нет, я заманил тебя словами, что у моего младшего день рождения, что у нас в холодильнике торт с толстым слоем сливочного крема, что он слишком велик для троих — я игриво развел руки, чтобы показать, какой он огромный, — и идея сбежать на некоторое время от коровьего запаха снова сделала тебя мягкой и счастливой, ты рассказала о своих праздничных тортах: они были самыми красивыми, особенно тот, что был на двенадцать лет, в форме головы Эрни: его глаза и волосы были из лакричной соломки, рот — из шоколадной пасты, а нос — из розового зефира; но после этого торта все изменилось, и ты не рассказала почему, но твои глаза снова стали такими грустными, что я еще крепче обнял тебя у себя на коленях, я хотел поцеловать тебя, ах, как я хотел почувствовать твои губы на своих, но наш первый поцелуй наступит позже, когда ты снова превратишься в актрису, которая будет послушна и не осмелится указать на ошибки в сценарии — одной из таких ошибок стану я и с радостью соглашусь на это, быть ошибкой; но тогда я пребывал в восторге от своего плана и принял тебя в своем доме на Мазенпад, где мои сыновья из кожи вон лезли перед тобой и показывали себя с самой лучшей стороны, а я

отчаянно пытался удерживать твое внимание на одном себе, но ты все ускользала поближе к моему старшему: я видел, как ты поглядываешь на него из-под ресниц, пока мы с парнями играли на полу, а тебе потребовалось некоторое время, чтобы к нам присоединиться; но в конце концов ты села на меня верхом и пощекотала за бок, а я все смотрел на тебя и впервые заметил, что твои глаза не просто синие: вокруг зрачка была зеленая кайма, словно терновый венец — я возился со всеми вами и на мгновение почувствовал себя развалиной, когда через полчаса, измученный и задыхающийся, улегся на пол; я почувствовал себя стариком и сказал, что пришло время для торта, но для торта было еще рано, пришло время для нас с тобой, за обеденным столом с выпечкой я внезапно почувствовал себя великаном среди вашего хихиканья и героических рассказов про школу, мне здесь было не место, и я не мог представить, что ты этого не замечала — может быть, ты хотела, чтобы я ушел как смущающий всех родитель, но потом ты нежно на меня посмотрела, и я вновь проголодался и воодушевленно укусил застывшую сливочную начинку, а затем с подозрением следил за каждым твоим взглядом на моего сына и воображал, как отвел бы тебя в свой

кабинет, отвел бы и небрежно сказал, что больше не люблю Камиллию, но ее любят дети, и поэтому мы остаемся вместе, и как бы между прочим я бы спросил, что ты думаешь о моем старшем и кого бы ты выбрала, если бы оказалась на необитаемом острове: меня или его, и ты бы ответила: *«Курт, мы уже на необитаемом острове, и мне не нужно выбирать, разница в том, что мы с тобой единственные, кто знает, что мы уже на необитаемом острове»*. И я бы посадил тебя на колени, усевшись в кресло за столом, и мы посмотрели бы мои старые детские фотографии на компьютере, и ты сказала бы, что я ничуть не изменился, ты бы назвала меня привлекательным, принцем, а я бы ощутил, как растет мое возбуждение, но ты бы его не заметила или не поняла, что это, и я полюбил бы тебя еще больше за это сладкое невежество — но мы не пошли в мой кабинет, мы вчетвером отправились смотреть фильм с названием, которое я забыл, и ты сидела рядом с моим старшим сыном на диване, и вместе вы были красивы, так строптиво красивы, и я смотрел, как вы хохочете: должно быть, фильм оказался смешным, хотя ты не любила смешные фильмы, потому что часто не понимала шутки, или боялась, что не поймешь, а еще ты чувствовала необходимость

смеяться вместе с окружающими, и я замечал, что ты смотрела на уголки рта моего старшего: если они поднимались, ты тоже поднимала свои; и в районе ужина я поехал вместе с тобой в Деревню купить картофель фри в торговом центре, и в фургоне я сказал тебе, что мне понравилось, как ты оседлала меня, пока мы возились на полу — и замер в ожидании твоей реакции, а ты покраснела, боже, ты покраснела, а затем исправилась, сказав, что ты сильнее всех, и я ответил: *«да, ты самая сильная»*, — а ты закатала правый рукав рубашки и показала, как напрягается бицепс, мы рассмеялись, и я знал, что ты не понимаешь, *насколько* мне было приятно, когда ты сидела на мне сверху, словно прославленная принцесса, но ты потом поймешь это сама, моя маленькая добыча; мы купили две особых колбаски, и еще два крокета, и еще пакет картошки фри с майонезом, и я припарковал Fiat в парке Тэйхенланд: вся машина пропахла картошкой, окна запотели, мы оставили половину еды мальчикам и тебе, казалось, было комфортно сидеть в жирном жарком воздухе вместе со мной, ты поставила босые ноги на приборную панель, а я вставил два картофельных ломтика себе в ноздри и шутливо замычал на тебя, как корова, и ты вскрикнула; и,

возможно, ты действительно была странной, но не такой чокнутой, как я: у меня хватило дерзости заманить в свои объятия ребенка снеками, а потом еще и деньгами на телефон — у тебя закончились карманные деньги, а так ты всегда могла связаться со мной; ты приняла их немного неуверенно, но при этом радостно, потому что деньги на телефоне в твоей подростковой жизни были всем, и я не знал, что позже тем вечером мой сын попросит твой номер, и я не мог отказать ему, чтобы избежать разоблачения, и поэтому половина денег на твоем телефоне будет тратиться на меня, а половина — на него, и, черт возьми, окажется, что моя собственная плоть и кровь станет моим соперником; и после картошки фри мы поехали обратно ко мне домой с оставшейся едой, где ты села за игры с моими сыновьями, а я оставил вас и исчез наверху: голова внезапно болезненно запульсировала — и яростно взялся за отчеты по животным и осмотрам, а через некоторое время услышал за спиной твои тихие шаги и увидел, как ты появилась на лестничной клетке; ты сказала мне, что игра была классная, *отпадная*, и что мой сын отвезет тебя домой на мопеде, если я не против; *«отлично»*, отчеканил я — я хотел, чтобы ты почувствовала мою обиду,

хотел, чтобы ты осознала, что снова поставила меня на второй план, а я ведь был единственным, кто мог тебя поймать, я всегда им был, и ты подыскивала слова, актриса пыталась следовать изменившемуся сценарию, ты старалась избежать отказа, а я подпер голову руками, упершись в стол, и сказал, на этот раз более мягким тоном, что все и правда в порядке, что мы встретимся на ферме, и ты немного постояла на месте, а потом исчезла с лестничного пролета, и я услышал, как завелся двигатель мопеда, не смог удержаться и выглянул в окно: я видел, как вы ехали по улице, как завернули за угол, ты крепко держалась за кожаную куртку моего сына — одна рука обнимала его за талию, а другая была вытянута словно крыло.

9

Когда за завтраком я начал свое сопротивление и принял решение сосредоточиться у вас на ферме лишь на телятах, на красивых, нежных животных, которые так отчаянно сосут руку, что когда ее отнимаешь, она вся покрыта слюной, я увидел из кухонного окна поблескивающие в рассветных сумерках кустарники и подумал о словах пастора Хорремана в прошлое воскресенье, что Господь лишь показал нам пример, а теперь мы должны сами создать наш собственный рай; и поедая яичницу с беконом, я подумал, что с этого момента я буду делать свою жизнь лучше. Я решил унести матрас на свалку вместе со всеми моими желаниями и болезненными вожделениями, и когда я был почти готов воплотить свое сопротивление в жизнь, то получил от тебя сообщение о том, что Фрейд утверждал, что пока добродетель на земле не приносит выгоды, этика будет проповедовать впустую, и на мгновение я испугался, что ты меня раскусила, что ты увидела чудовище, прячущееся за добродетелью: ты знала почти всех монстров из мифов, от Лох-несского чудовища до Джерсийского Дьявола, до Кракена

и Человека-мотылька; я боялся, что ты знала, что во время фильма моя рука забиралась все выше и выше между твоих ног не для того, чтобы защитить, а из-за грязного, наглого желания завладеть тобой, что ты поняла, что я превратил машину в любовное гнездышко из-за тебя, что плакаты «Нирваны» и королевы Беатрикс висели в ней лишь для того, чтобы усыпить твою бдительность, но еще я знал, что уже день или два у тебя в голове шли разговоры то с Фрейдом, то с Гитлером, и из-за этого ты могла внезапно начать нести чепуху, которую сама совершенно не понимала — ты разбирала все до мельчайших деталей, и иногда я заставал тебя на лужайке, лежащую на пляжном полотенце с рисунком из крабов, и ты разговаривала сама с собой, и тогда я знал, что вернулся Фрейд, мастер ранить души, и что ты говоришь с ним о Нью-Йорке, о себе, но поводов для беспокойства не было, пришло новое сообщение: *«Если я твоя Бонни, ты будешь моим Клайдом?»* Я с облегчением вздохнул и сразу понял, что ты посмотрела фильм с Фэй Данауэй и Уорреном Битти и была наполнена им до краев, что ты, как и я, стремилась к самой романтической любви и то, что в конечном итоге эту любовь в фильме насквозь прошили пули, восторгало

нас обоих еще сильнее, особенно тот последний взгляд, который он бросает на нее перед тем, как их изрешетят, когда он понимает, что это ловушка, что у человека на обочине дороги не ломалась машина; да, этот взгляд, сказала бы ты, за одну секунду в нем отразилось все, что они пережили, все, что они чувствуют друг к другу: они знают, что их приключение окончено, они это знают, и этот взгляд потом повторили в ремейке 1992 года, но только Данауэй и Битти могли смотреть друг на друга такими глазами, и ты знала, что этот взгляд редкость, такая же редкость, как любовь между Бонни и Клайдом, потому что не было другой пары, которая бы столько всего разрушила и при этом делала друг друга такими цельными; и они прослыли героями за то, что грабили только большие банки, отправляли в прессу фотографии и стихи, стихи, которые писала Бонни Паркер, и ты много раз перечитывала ее «Конец тропы», а затем слушала дождь из выстрелов в фильме, и за твоим вопросом, хочу ли я быть твоим Клайдом, стояли два широко улыбающихся смайлика — смайлики были важны, я это быстро понял, потому что, как только я отправлял эсэмэс без них, ты слала и слала мне сообщения, пока я не начинал их ставить: после этого ты успокаи-

валась, слова тебя не убеждали, ты должна была видеть изображение, получать подтверждение, и поэтому я часто писал: *«Can't wait to see you, my dear* ☺☺☺[15]», и тогда ты знала, что это правда; и я так разволновался, что с радостью расправился с беконом и яйцами и уже почти забыл о своем сопротивлении, — возможно, мысль о нем пришла мне в голову только чтобы была возможность думать, что выход в любом случае был, что я мог построить рай и без тебя, но ох, почему он казался таким бесплодным и бездушным, почему он внезапно стал темным, как во время сильного ливня, когда я подумал об этом, почему мне не хватало поблескивающих кустарников или излеченных животных, которые охотно позволяли себя потрогать и пускали меня к себе, почему мне было суждено обратить внимание на самое сложное существо на земле, почему, моя дорогая питомица, рай без тебя казался не раем, а убежищем, хотя я никогда столько не бегал, как с тобой; я бежал от того, кем оказался на самом деле, от Камиллии, которая внезапно заявила, после того как я надел ветеринарный халат, чтобы отправиться к тебе, и поцеловал

---

[15] Примечания: 15
Не могу дождаться встречи с тобой, милая моя (*англ.*).

ее в лоб — она подошла, чтобы по обыкновению проводить меня, и сказала, что она хотела бы знать, изменяю ли я ей, и какое-то время я стоял к ней спиной, медленно застегивал пуговицы пальто, затем полуобернулся и нахмурился, как делал, когда кто-то говорил что-то совершенно лишнее, и она добавила, что подумала об этом, потому что в последнее время я стал таким отсутствующим, потому что приходил домой все позже, и мы перестали заниматься любовью, потому что я купил новые трусы, а по ее мнению и по мнению журнала «Подружка», одним из признаков того, что муж изменяет жене, было то, что он сам покупал себе новое нижнее белье; и я прогнал ее сомнения, развеял их, как кучку пыли, притянул ее к себе, положил руки ей на ягодицы и немного нехотя сжал их, а затем сказал, что мне пора идти, что я бы хотел остаться с ней, но долг зовет, и, чувствуя, что мастерски с этим справился, я сел за руль, даже посвистывал под радио, раздумывая, откуда «Подружка» могла узнать, что мужчины покупают новое нижнее белье не просто так: я действительно приобрел пару боксеров и надевал их, только когда шел к тебе. Одновременно с этим я думал, что мне не стоит придавать большое значение попытке утреннего

сопротивления — во мне говорил страх быть пойманным, попасться во внезапно направленный на меня луч прожектора, что кто-то сверху скажет: *«Это он»*. Но мне снова полегчало, и я хотел увидеть тебя, я ехал среди лугов, вальяжно опираясь левой рукой на край открытого окна, и слушал Losing My Religion R.E.M., и подпевал на фразе *«Like a hurt lost and blinded fool, fool*[16]*»*, потому что она была так кстати, и эти слова звучали чудесно, когда я произносил их вслух, но по-настоящему я почувствовал себя *ослепленным дураком* только тогда, когда прибыл на ферму Де Хюлст и во дворе у тисовой изгороди увидел мопед моего сына — я попытался изобразить удивление и выдавить улыбку, когда увидел, что вы сидите на лужайке, обиженные слова горели на моих губах, и я хотел устроить сыну трепку и заставить его выкинуть из головы мою маленькую добычу, а затем прошипеть тебе: какого черта ты попросила меня стать твоим Клайдом, знаешь ли ты, что это значит, что объединяло этих двоих, кроме их преступных и смертоносных деяний, а? Их объединяла страсть, моя небесная избранница, их объединяла постель, они дели-

---

[16] Примечания: 16
Как раненый, потерянный и ослепленный дурак, дурак.

лись друг с другом телами, как пастырь делил хлеб за трапезой — их объединяло гораздо больше, чем просто общение; и разве ты не видела, как ты меня запутала — я почти не касался своей жены, потому что хотел любить только тебя, только тебя, а ты стояла рядом с моим сыном, и вы ложились на сено, и не мой язык, а его проникал в твой рот, и я слышал, как вы смеялись, когда я слишком грубо осеменял корову в хлеву, и я боялся, что вы отправитесь в твою комнату, в гнездышко детской страсти, которую я воображал, когда думал о тебе: ты лежала на кровати голая, в окружении мягких игрушек — но я мог простить тебе это, я должен был простить тебе это, я был твоим Клайдом, я был твоим Куртом, но это оказалось чертовски тяжело, и на мгновение я почувствовал ту же тошноту, которую испытал, когда оказался в твоей комнате, и в этот раз мне стало так худо, что пришлось опереться о край стойла, опустить голову между колен, и меня стошнило прямо рядом с ботинками утренней яичницей и беконом, моим сопротивлением, оно закапало свозь ячейки решетчатого пола, потом пришла вторая волна рвоты, а затем мой желудок почувствовал себя пустым, и тошнота исчезла; я встал, немного пошатываясь, и увещевательно

заговорил сам с собой, что не стану вам мешать, но покажу тебе, что тебе со мной будет лучше, я подошел к твоему папе как ни в чем не бывало, и мы вставили бирки в уши телят, и я усмирял ужас в их больших черных глазах, стараясь не слушать хихиканье с сеновала, но все-таки лучше было слышать ваш смех, потому что если было тихо, я знал, что вы целуетесь: тишина поцелуя — самый красивый звук, когда ты тот человек, которого целуют, но сейчас он был просто ужасен; и я решил зайти на сеновал, шел и скреб ботинками по плитке, чтобы вы услышали мое приближение, я не хотел наблюдать переплетение ваших тел, поэтому покашлял перед тем как войти, и все же увидел, как вы вскочили, поправили одежду и невинно посмотрели на меня, и я спросил, не хочешь ли ты поехать со мной в Тэйхенланд, вроде там сейчас много выдр, и, может быть, мы сможем поплавать; ты переводила взгляд с сына на меня и сомневалась, но все же сказала, что это было бы отлично, и я увидел зависть в его глазах, но мне было все равно, позже я скажу ему, что не хочу, чтобы вы спешили, что ты непростая девушка, у тебя иногда было сумасшедшее настроение, да, сумасшедшее настроение, и я не хочу останавливать его, но он должен знать,

кого выбирает, *«даже если первая влюбленность закончится, тебе придется как следует над ней поработать, парень»*, — скажу я и многозначительно посмотрю на него, указывая на девушек старше тебя — Боже, какой я хитрец, я укажу ему на более развитых девиц и подмигну, и мы оба поймем, о чем идет речь, и я скажу, что ты еще ребенок, но он и сам это знает, и, может быть, добавлю, что ты *проблемная,* и мне показалось, что это хорошее слово, *проблемная*, но опять же, он должен решить сам, а я посею в нем росток неуверенности, дам ему ложную надежду: что бы он ни выбрал, я буду за него, и позже в Тэйхенланде, я задал вопрос, который так давно хотел тебе задать — мы затерялись в глубине густой ивовой рощи, а о выдрах, о выдрах совсем забыли, разве что по дороге я рассказал тебе кое-что про вскрытие — как можно узнать возраст животного из семейства куньих, и я видел по твоему лицу, что ты в ужасе и в то же время страстно хочешь услышать больше: я объяснил, что нужно надавить на основание пениса мертвого самца выдры, он выдвинется из меха, большой и твердый, а потом отрезать его, и чем старше выдра, тем длиннее и толще будет косточка пениса — ты скорчила рожицу и спросила, что потом делают

со всеми этими мертвыми органами, складывают ли их в банки с формалином, и ты посмеялась над этой мыслью, но позже в своей очаровательной кроватке ты лихорадочно думала о выдрах, о члене, торчащем из меха, о словах *большой и твердый*, о том, что вместо Лягушонка ты могла бы стать выдрой, но каждый раз, когда я об этом спрашивал, ты краснела и отворачивалась, и я задумался, не проглотила ли птица и моего сына тоже, не могла ли ты превратиться и в него, но я знал, что тогда потеряю тебя, я совершенно не хотел знать, можешь ли ты превратиться в мою собственную плоть и кровь; я захватил немного еды: персики, бананы и клубнику со взбитыми сливками — последнее было таким клише, что я даже посмеялся над собой; мы прошлись по запретным тропинкам сквозь подмаренник и лютики и нашли место, которое было вне поля зрения прохожих, я разложил расстегнутый спальный мешок на траве, ты растянулась на нем и сказала, что крылья в последнее время побаливают, и я подумал, что это оттого, что ты растешь, я помогаю тебе расти, и может быть, ты не захочешь уезжать, если я останусь с тобой; и я накормил тебя клубникой со взбитыми сливками, шутливо мазнул сливками по твоему

загорелому носу и сказал, что не только Бонни и Клайда объединяло нечто особенное — Курта Кобейна и Кортни Лав оно тоже объединяло: это занятие было совершенно нормальным, если люди нравились друг другу; а затем я задал тот самый вопрос: нравлюсь ли я тебе, — и ты кивнула, и я встал рядом с тобой на колени, я знал, что под слоем взбитых сливок все еще прятался поцелуй моего сына, но не хотел сейчас об этом думать и сказал тебе: люди, которые друг другу нравятся, целуются, и нам сейчас пора этим заняться — как будто объявляя, что пришло время выпить кофе или пива. И я видел, как ты это обдумываешь, я видел, что птица беспокоится, и сказал: *«Перестань волноваться, у тех, кто целуется, не остается места для волнений»* — а затем я склонился над тобой и прижался губами к твоим, почувствовал сопротивление, подобное тому, которое ощущал, когда засовывал ветеринарный пистолет в рот овце, чтобы вакцинировать ее от личинок: я проталкивал ствол своего пистолета между твоими зубами и щекой, но ты была беззащитна, моя небесная избранница, ты была так беззащитна — я скользнул языком между твоих губ и вкусил сладость твоих внутренностей, я провел руками по твоим крыльям, и мы вместе

приподнялись, а затем я опустился на тебя всем весом, ты не могла пошевелиться, и я был уверен, что ты не хочешь шевелиться; иногда ты сходила с ума от своих раздумий, от всех мыслей в голове, и между поцелуями мы немного играли, чтобы ты чувствовала: то, что мы делаем, — правильно, тебе нравилось играть, а я ощущал, как от этой шуточной схватки горит все тело, ты была огнем моих чресл, и я позволил тебе рассказывать про школу, про Жюль, про Элию и про то, как вы все больше отдалялись друг от друга теперь, когда больше не учились в одной школе; раньше вас разделял только проход между партами, а теперь — несколько улиц, эти улицы всегда были между вами, но теперь они превратились в карту, что помялась у тебя во внутреннем кармане, из-за этого все улицы стали извилистыми, длиннее и при этом у́же; ты надкусила персик, и я увидел, как сок стекает по твоему подбородку с уголков рта, и снова прижался к твоим липким губам, и я сказал, что нельзя быть ближе, чем мы сейчас, и ты ошеломительно красиво улыбнулась, и я хотел остаться с тобой навсегда, но тут собрались облака, и загрохотал гром, загрохотал, потому что мы лежали здесь вместе, и я шептал что-то из Беккета, и ты спела тихо, отчетливо и высоко:

«*Beckett is a little bit cracked*[17]». Я рассмеялся и поставил тебя на ноги, и мы побежали со спальным мешком над головами сквозь ивовую рощу, вспышки света и потоки дождя к «Фиату», и там я накормил тебя перезрелым бананом, а ты съела его с моей руки, дорогая моя питомица, ты ела у меня с руки!

[17] Примечания: 17
Беккет немного треснутый (*англ.*).

10

Я так много думал о нашем поцелуе, что в какой-то момент он утратил сияние новизны, и я принялся жадно искать следующего. Но когда на лужайке я постучал сапогом по твоей ноге, потому что это было единственное прикосновение, которое не возбудило бы подозрений у твоего папы, ты подняла глаза, вяло улыбнулась и по-прежнему вела себя отстраненно, придав поцелую горькое послевкусие, как бы отчаянно я ни думал о сладости у тебя внутри, и я видел, что ты нарочно обнималась с моим сыном, когда вы проходили мимо сарая, где я занимался с телятами; ты смеялась громче, чем необходимо, над его глупыми шутками, и вы исчезали в гнездышке детской страсти над гостиной, хотя я знал, что вы не решались зайти дальше прикосновений губами; вы терлись друг об друга, как яловые коровы, — когда я, затаив дыхание, стоял под окном твоей мансарды, я слышал, как скрипит рама кровати, больше ничего, но этого было достаточно, чтобы заставить меня ревновать — я взмок от зависти! И у вас появились отвратительные дешевые цепочки с сердечком, которое нужно сломать

напополам после покупки, и вы оба носили по половинке, на которой были инициалы другого; вы были в том возрасте, когда хочется показать всему миру, что вы вместе, но ты не понимала, что нам с тобой это не нужно, не нужно таскать на шее буквы, чтобы чувствовать, что мы принадлежим друг другу — мы были одним целым, мы уже носили друг друга, и иногда я замечал, как ты следишь за мной, но когда я оглядывался, ты отводила взгляд, и мне нельзя было подойти ближе и прикоснуться к тебе; но тут у себя в загоне умер бычок Боуи, и внезапно вся твоя отстраненная и гордая манера поведения исчезла, ты упала на колени перед безжизненным телом и так громко заплакала, что спугнула ласточек, ты дрожала всем телом, а мой сын стоял рядом, немного потрясенный и подавленный, словно чучело, которое неподвижно торчит над землей, и я понял, что теперь мне придется рискнуть, поэтому я сел рядом с тобой и положил руку тебе на спину, нащупал позвоночник под рубашкой и гладил тебя, пока ты не успокоилась; мой сын пробормотал что-то о встрече с другом и трусливо рванул прочь на мопеде, а ты прислонилась ко мне и прошептала: *«Птица до смерти боится смерти»*. Мы оба знали, почему ты так ее боялась,

но не говорили об этом, об этом не нужно было говорить, и я был пастырем из сорок девятого псалма, пастырем мертвых, потому что я уже в третий раз явился с вестью о смерти, а твой папа, копавшийся в огороде, понятия не имел, что я затащил тебя к себе на колени рядом с загоном для телят, укачивал тебя и успокаивал словами, что у Боуи была хорошая короткая жизнь, что ты ухаживала за ним так хорошо, как только могла, но он с самого начала страдал от задержки роста; и я пытался облегчить твою боль, хотя предпочел бы стать скрипучей рамой твоей кровати, но мы еще не дошли до того момента, когда могли бы утешить друг друга, пронзая горе телами и изгоняя его, растворяясь друг в друге, чтобы я мог бы стать твоей душевной болью, а ты — моей, но мы могли унять ее поцелуями, и я поцеловал твои волосы, от которых пахло силосом и лосьоном моего старшего, и спросил, как твои крылья, и ты ответила, что вчера впервые летала по комнате: взлет прошел хорошо, полет тоже, хотя для приземления по-прежнему требовались тренировки; но ты не была уверена, что сможешь рассказать своему отцу, что собираешься уехать отсюда навсегда, ты гладила мертвую голову Боуи и поведала о том дне, когда забили всех коров:

после того как уехали труповозки, ты находила на решетчатом полу коровника оторванные коровьи хвосты, а твой папа постоянно молчал, пока не появилось новое стадо, и ты не могла вспомнить, когда в последний раз вы по-настоящему разговаривали, он стал жестким и твердым, как камень-лизунец, что лежал на пастбище, чтобы восполнять содержание натрия у коров, и я быстро моргнул, чтобы не видеть перед собой синее лицо мертвого фермера, но ты уже переключилась на другую тему, сказав, что вы с Элией официально больше не подруги: она сильно изменилась и растеряла свою фантазию, потому что слишком много целовалась взасос с Лягушонком; ее ужимки сводили тебя с ума, и ты рассказала о том времени, когда вы были в третьем классе и пытались вызвать мертвого кота Элии, указывали на стену и говорили друг другу: вот он! Вы ничего не видели, но упорно хотели верить, что действительно воскресили этого кота, и так обидно, когда теряешь свою фантазию — раньше ты могла увидеть все, что хотела: теперь ты иногда видишь, как промелькнет тень этого кота, а потом она превращается в Башни-близнецы, и ты видишь приближающийся самолет, и, возможно, это потому, что каждую ночь перед сном ты смот-

рела фильмы про 11 сентября, а затем, окоченев, лежала под одеялом, чувствуя, как врезаешься в здание, ощущая удар по конечностям, как жар опаляет всю твою храбрость, и ты сказала, что затем ты начинала молиться Богу, хотя и знала, что твоя просьба была так же невозможна, как вызвать дух мертвого кота, но ты делала это из чувства долга, ради безопасности; и ты сказала, что иногда человек предстает в хорошем свете, когда свет этот исходит от горящего здания, а утром ты просыпалась чистой и чувствовала себя нетронутой, но это чувство исчезало, как только начинало смеркаться: сумерки существовали для того, чтобы заставить людей колебаться, чтобы объединить их с тьмой внутри; и ты положила голову мне на колени, а я погладил твою ушную раковину пальцем и сказал, что вывезу Боуи на тачке на дорогу, и ты кивнула: мы накрыли его тело брезентом, и через час в летнем мареве над тачкой закружили первые мухи — ты махала руками, чтобы прогнать их, когда твой папа вышел из сада с вилами в руке и сказал, что ему позвонила Камиллия, и что я должен вернуться домой, что-то со счетчиком, рассеянно пробормотал он, и небо в моих глазах потемнело, она, наверное, сказала, что какое-то время я не буду заезжать

на ферму, а твой отец пожал плечами — я стоял с пересохшим горлом, зная, что она увидела номер на шкафчике, что она его набрала, а потом услышала автоответчик птицы, вообразила что угодно, но не правду, ты услышала этот разговор издалека и немного ошеломленно стояла рядом, пока я собирал вещи, я говорил тебе, что возможно, мы очень долго не увидимся, как виделись раньше — но конечно, мы будем сталкиваться, если ты зайдешь к моему сыну: я внезапно захотел, чтобы ты осталась с ним, потому что понял, что это единственный способ сохранить тебя в моей жизни, и ты сказала грустно и театрально: *«Everyone I know goes away in the end*[18]*»*. И я чертовски хорошо знал, что это из песни Джонни Кэша, но мне больше не хотелось подчеркнутых фраз, не сейчас, и все же я постоянно включал эту песню, пока не встретился с тобой снова, так, как мы встречались раньше, и я тогда не мог знать, что это случится раньше, чем мы предполагали, теперь мы будем встречаться не только на ферме, но и под виадуком у въезда в Деревню, и в моем ветеринарном кабинете; я притянул тебя к себе, и ты сказала, что никогда меня не забудешь, даже

[18] Примечания: 18
Все, кого я знаю, в конце концов уходят (*англ.*).

если станешь знаменитой, а я сказал, что ты уже знаменита, что в моих мыслях ты невероятно сияла, и что слава не в количестве поклонников, а в тех из них, кто не отречется от тебя: неважно, сколько дерьмовых песен ты напишешь, они продолжат следовать за тобой, важно лишь то, что ты делаешь — ты сможешь прославиться, только гордясь тем, что создала, успех может прийти, только когда его не ждешь, и ты кивала, да, но я знал, что тебе было необходимо, чтобы тебя видели глаза других людей, ты уже так долго смотрела на себя лишь собственными: четырнадцать лет — это вечность в жизни ребенка. И я хотел поцеловать тебя больше всего на свете, но знал, что мне нельзя сейчас все разрушить, к чему-то принуждать, и ты огляделась, а потом покраснев спросила, можно ли будет как-нибудь посмотреть, пожалуйста-пожалуйста, как препарируют выдру, тебе просто любопытно и вообще, и я кивнул и сказал, что дам тебе знать, когда займусь этим; и я пожелал тебе удачи с моим сыном, он хороший парень, добавил я с надеждой, и ты вдруг ощутила разочарование, сама не зная почему, не считая того, что этот разговор был похож на прощание, а прощания как омрачали твою жизнь, так и служили питательной средой для твоего

стремления к славе, поэтому я положил большой палец тебе под подбородок, слегка приподнял его, чтобы ты посмотрела мне в глаза, и сказал, что в море нет горечи, ты грустно улыбнулась, твои глаза превратились в стеклянные камушки, и ты ответила: *«В море нет горечи, потому что никто его не ранит»*. И я не знал, что еще сказать, было невыносимо причинять тебе боль — тебе казалось, что в тот день ты оставила на улице двух мертвецов: бедного Боуи и меня, — ты сгорбившись отвернулась, как того требовал у тебя сценарий прощания, а я наблюдал за тобой, пока ты не скрылась за ивами, пока я не услышал перебор гитары, несущийся над полями из открытого окна, и я не мог разобрать, что это, музыка просто звучала грустно, чертовски грустно, и по дороге домой я чувствовал, как дрожит земля, у зданий на улицах вдруг появились глаза и рты, козырьки крыш стали бровями, и они сердито смотрели на меня всю дорогу до дома, а там Камиллия сидела на скамейке и яростно чистила апельсин, брызжа соком на рубашку, и выкладывала ломтики на стол — я увидел, как вокруг них плодовые мушки собираются в рой, мы были окружены этими любителями смерти, и все, о чем я мог думать, это то, насколько живым ты меня делала, и я

объяснил Камиллии, что номер, написанный на счетчике, ничего не значит; я выдавливал из груди слова и не упомянул об электричестве, что текло сквозь меня, я только сказал, что ты птица в печали, и добавил: *«Некоторым людям так идет одиночество, что мы забываем, что под ним они чувствуют себя уродливыми и невидимыми, и они каждое утро проводят по одежде валиком от пыли, чтобы не казаться такими серыми»*. И я рассказал, что помог тебе засиять, потому что знал, что Камиллия пробовала делать то же самое со своими учениками, чтобы они засияли на своем собственном полотне, и эти слова ее успокоили, и мы поговорили о сыне и о тебе, о том, какие вы красивые и как хорошо смотритесь вместе, и с притворным беспокойством я сказал, что приглядываю, чтобы юные любовнички не зашли слишком далеко; и я клал дольки апельсина в рот Камиллии так же, как я кормил тебя, однако в этот раз я быстрее убирал пальцы, чтобы не прикасаться к ее губам; я еще раз повторил, что ты так одинока, и она внезапно решила, что мы должны пригласить тебя сюда, что она приготовит свое фирменное блюдо, домашние тальятелле с лимоном, шалфеем, поджаренными грецкими орехами, пармезаном, петрушкой и ка-

пелькой сливок — я знал, что она любит раненых птиц, поэтому описывал тебя как больное животное: сломанные крылья, нарушение равновесия, уменьшение тяги к полету.

11

Нет необходимости делиться описаниями моих кошмаров, но я делаю это, потому что приходится, во всяком случае, перед присяжными, которые смогут понять, как я измучен, ну, господа присяжные, мучительнее кошмаров вы не услышите! В основном поэтому я и делюсь ими: не ради оправдания своего поведения или не ради того, чтобы показать, как сильно я иногда сожалею о том, чему поспособствовал, не для того, чтобы ты пожалела меня, о нет, я бы предпочел, чтобы ты меня ненавидела, испытывала глубокое отвращение, когда думала обо мне, но все же я должен рассказать о своих кошмарах, чтобы лучше понять себя самого, потому что у меня никогда не было ни шанса, ни времени, ни пространства, как бы это ни называли, чтобы понять самого себя, увидеть, где возник этот надлом, который произошел еще до нашего первого поцелуя, до того строптивого горячего сезона и даже до того, как я встретил тебя — я снова проснулся ночью испуганный, липкий от потного страха и вместо того, чтобы выйти на улицу выкурить сигарету, я лежал неподвижно и вскоре впал в забытье, в

котором я внезапно увидел, что ты стоишь рядом с моей кроватью, на тебе зелено-синий жилет твоего брата, ты часто его носила и вешала на стул в своей комнате перед тем, как идти спать, а потом щелкала выключателем лампы на прикроватной тумбочке, чтобы взглянуть на него еще разок, и с нетерпением ждала, когда можно надеть его в школу, и все восхищались жилетом, как если бы ты была новым учеником, с которым все хотели поиграть, и во сне тебе было не четырнадцать, а около трех лет, и ты спрашивала: *«Он мертв, он действительно мертв?»* Я увидел себя с тачкой, которую мы использовали для Боуи, я шел по направлению к Ватердрахерсвэх, чтобы подобрать тело мальчика, оно лежало переломанное под фонарным столбом, и я слышал, как ты спросила, мертв ли он, действительно ли он мертв, и я прижал пальцы к губам, покачал головой и прошептал, что он спит, что он крепко спит, и ты спросила: *«Сколько он будет спать? Я хочу с ним поиграть»*. И я не мог сказать, что его сон продлится столько, сколько будет длиться твоя жизнь, нет, я сказал, что никогда нельзя знать наверняка, когда человек проснется, и в любом случае вопрос состоит в том, когда именно мы бодрствуем, а когда — спим, но ты меня не

поняла и покатила тачку, и я разозлился на тебя, я так разозлился, что увидел, как ты съежилась в своем красивом жилете и потащилась за мной по Афондлаан до Приккебэйнседейк, а я всю дорогу смотрел на молодое, красивое мальчишеское лицо перед собой — он был одет в полосатый свитер, светлые волосы накрепко уложены гелем и разделены посередине, словно ленточный плуг проделал в них посевную траншею, только вот в ней больше ничего не зацветет, и вдруг позади меня уже оказалась не ты, а моя мать, она снова была в кухонном фартуке и стучала по дну баночки сахарной пудры Van Gilse, из-за чего вся дорога стала белой, и мы медленно шли по заснеженной земле, и даже похолодало, стало подмораживать, а я шел с этим телом в тачке и понятия не имел, как сообщить подобную новость, и моя мать просто шла за мной с банкой сахарной пудры и кричала, что нам еще нужно разобраться с нашими ссорами: я с детства знал, что разобраться должна она сама — и она назвала меня убийцей, куда бы я ни пошел, я приношу весть о смерти, и я почувствовал, как по щекам текут слезы, они потекли по моим щекам, и я почувствовал соль, и когда я захотел повернуться к ней лицом, чтобы смело возразить, вместо

нее внезапно вновь появилась ты, в красных сапожках ты топала по сахарной пудре, ты сияла и кричала, что идет снег, идет снег! И я хотел поднять тебя и прижать к себе, потому что знал, что после новости о смерти тебя больше нельзя будет обнять, пока я не вернусь через много лет, и ты не уткнешься мне в шею, а ты все бегала и топала по снегу, а я кричал, чтобы ты держалась поближе, но ты побежала к мужчине вдалеке, которого я сначала не мог узнать, пока он не подошел ближе, и я увидел его синее лицо и понял, что это мертвый фермер, и ты взяла его за руку и, наклонившись над краем тачки, указала на тело мальчика и сказала фермеру, что он спит, что мы должны говорить тихо, и фермер кивнул, кивнул и пристально посмотрел на меня: мы оба знали, что означает этот сон, и снежный пейзаж исчез, и внезапно я увидел тебя, лежащую на одеяле для пикника, безжизненную, и я спросил, что ты наделала, что я наделал, но ты лежала на одеяле, и я не понимал: я ли тебя укусил, я ли впился зубами в твою плоть, потому что слишком сильно тебя желал, потому что мой голод стал так силен, что у меня болели челюсти — и я резко проснулся после того, как остановил тачку перед фермой и, заикаясь, принес весть о смерти, и Деревня

содрогнулась от ужаса, все содрогнулось, даже ивы на берегу склонили головы, и как только ты вновь появилась, я снова проснулся, и на этот раз я выскользнул из постели, почти в прыжке, как будто кошмар мог снова захватить меня в любой момент и затащить в ту адскую ночь, и теперь я спустился не в ванную, а в гараж, где провел рукой по бамперу фургона, положил голову на холодный черный металл и прошептал: *«Он мертв, он действительно мертв»*.

12

Я медленно заползал под твою кожу, как печеночная двуустка заползает под кожу коровы, и сравнения лучше не существовало: я был паразитом. И с этой отвратительной мыслью я оставил на твоем автоответчике униженное сообщение после того, как ты снова не взяла трубку — после звукового сигнала я сказал, что у меня для тебя есть красивая выдра, отличное животное, и не зайдешь ли ты в четыре часа ко мне в кабинет на улице Де Эувихе Солдатенвех в Деревне, и, как ни странно, я сразу почувствовал себя намного лучше, да, даже счастливым, как будто я был и паразитом, и службой по борьбе с вредителями; и я надел свои любимые темно-синие джинсы и рубашку без рукавов, так чтобы было видно мышцы на предплечьях, я был доволен своим телом в своем возрасте, оно было правильных пропорций, поэтому я регулярно смотрел на себя в зеркало, чтобы увидеть то, что видела ты, но я знал, что картинка у тебя в голове постоянно размывается, ты не можешь удержать в мыслях ни образ другого человека, ни образ самой себя — ты часто смотрелась в зеркало и всегда колебалась

между двумя крайностями: между красоткой и уродиной; и из-за этих колебаний ты все время мешкала — как начать день, если, например, у тебя плохая прическа, если твоя одежда слишком плотно или слишком свободно сидит на теле, и ты иногда говорила зеркалу: *«Похоже, сегодня мы друг другу не подходим»*. А потом мрачно спускалась вниз, где твой отец каждое утро готовил тебе бутерброд с шоколадной пастой, как он делал это в течение многих лет — ты их больше не любила, но съедала бутерброд, чтобы не расстраивать его, чтобы не нарушать его распорядок: дважды в день он спрашивал, весело ли тебе, *«очень весело»*, отвечала ты, и он одобрительно кивал, но веселье на ферме уже много лет выдавалось как голодный паек, и после бутерброда с шоколадной пастой ты последний раз смотрелась в зеркало перед тем как сесть на велосипед, чтобы отправиться в школу, и ты хотела быть красивой, гламурной и желанной, ты хотела быть похожей на популярных девушек из твоего класса, и тебе не помогали мои слова, что ты намного красивее их, что ты самое прекрасное создание, которое я когда-либо встречал, и в моих словах не было ни капли лжи; но ты каждое утро смотрели на свою грудь и с надеждой, и со страхом, что она выросла

— не потому, что ты этого хотела, а потому, что у других девушек уже была грудь, и она придала бы тебе престиж, заставила бы мальчиков оглядываться на тебя, хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем станет заметно что-то достойное упоминания, и ты попросишь Камиллию пойти с тобой купить твой первый кружевной лифчик, который ты будешь набивать бумажными полотенцами; но, к счастью, это еще будет не скоро, потому что мне нравился плоский пейзаж — о нем я и думал, когда смотрел в зеркало, прикладывая бритву к щекам и нанося после этого лосьон сына от Armani, потому что тебе нравился этот аромат, аромат свежего бергамота, жасмина, ладанника и зеленого мандарина, а когда спустя всего час ты прикатила на велосипеде к моему кабинету, я с ума сходил от беспокойства, представлял всевозможные сценарии бедствий, включая полет с силосной башни, или что ты узнала, что в действительности я был не более чем паразитом, и я чувствовал, что края рубашки в подмышках намокли, это ведь и правда было странно, потому что ты никогда не опаздывала, ты всегда приходила слишком рано, тебе нравилось ждать, бесконечно ждать — тогда то, что ты собиралась делать, дольше не заканчивалось, и

ты могла с нетерпением этого ждать, но сейчас ты опаздывала, и когда наконец прикатила, то беспечно сказала, что у тебя была очередная беседа с Гитлером, что он внезапно оказался в кресле твоего папы, в том, бордовом, в гостиной, где папа всегда слушал «Времена года» Вивальди, мелодия была одновременно грохочущей и нежной, и иногда ты думала, что этим летом на страну обрушилась волна тепла, потому что твой па слушал на повторе «Лето»: примерно через три минуты скрипки сходили с ума, как будто их одолела жара, — и ты сказала, что Гитлер говорил разумные вещи, хотя *разумный*, возможно, неподходящее слово для этого конченого демагога, но тем не менее тебе пришлось надолго призадуматься, но в тот момент я не хотел знать, что он тебе сказал, и не хотел видеть, что тебе становится хуже, что ты сходишь с ума, нет, я отвернулся и протянул тебе две пластиковые перчатки, которые ты нерешительно взяла, сказав: *«Курт, а выдра не будет нам мстить, если мы заберем ее член?»* И я ответил, что она мертва, что она не сможет мстить, и сразу понял, что для тебя это не имеет значения, ты путала живых и мертвых, как твой папа до сих пор путался и принимал тебя за потерянного сына — ты хотела, чтобы

выдра отомстила, тогда смерть не будет концом; и мы подошли к операционному столу, где самец животного лежал на спине: это был гигантский внушительный зверь, я получил его от одного коллеги, который часто исследовал куньих со своими студентами, и ты смотрела на его живот, где мех был гораздо более светлым, чем на остальном теле, на его мощные лапы с перепонками между пятью пальцами, наклонилась над ним и прошептала: *«Спасибо заранее, дорогая выдра, мы позаботимся о твоем члене»*. Я взял скальпель и сказал, что сперва покажу, что делать, а затем ты сможешь вырезать член, и я видел, как ты сглотнула, когда я нажал на пах, и из меха выдвинулся пенис, я видел, как ты сглотнула, язычок пробежался по губам, и потом я узнал, что ты всегда так делала, когда считала что-то волнующим или возбуждающим, и я чувствовал, что это тебя разгорячило, но ты сама не знала, что именно означал этот жар внутри, и я спросил, не хочешь ли ты прикоснуться к нему, и ты кивнула и жадно потянулись пальцами к розовому члену, чтобы сперва нежно коснуться, а затем схватить его, как ребенок хватает конфету, и я видел, как ты задрожала, ты так чудесно задрожала, моя дорогая питомица, а затем я провел скальпелем

вдоль пениса и надрезал мех, чтобы показать, как это делается, и предоставил тебе сделать все остальное, и я не знал, как дышать, мы оба не знали, как дышать, и моя ошибка заключалась в том, что я не видел между нами разницы: твоя похоть стала моей, но не наоборот — я встал позади тебя и взял твою ладонь в свою руку, и вместе мы вырезали пенис, моя твердая плоть прижималась к твоим ягодицам, к ткани твоих льняных брючек, и когда ты вырезала член, который был длиной с трубочку с заварным кремом, и держала его в руке, как трофей, я рассказал, что этот самец выдры был молодым, что если бы он повзрослел, кость пениса стала бы вдвое длиннее и вдвое толще, и ты снова задрожала и спросила, можно ли забрать его домой, *пожалуйста, пожалуйста,* сказала ты, и на мгновение этот вопрос застал меня врасплох, но я притворился, что это не странно, и не спросил, что ты собиралась с ним делать, я завернул его в кусок пищевой фольги и протянул тебе, затем убрал мертвую выдру и продезинфицировал стол, а когда я снял перчатки и выбросил их, и снова повернулся к тебе, ты вдруг оказалась на операционном столе, лежала, вытянув руки по бокам, и сказала: *«Курт, расчлени меня»*. Это сон, подумал я про себя,

должно быть, этот плод фантазии моего больного мозга, и я почувствовал запах своего пота сквозь жасмин и бергамот, но это происходило на самом деле, ты лежала на столе, и я не знал, что мне делать, что ты имела в виду под расчленением, а ты закрыла глаза, ты лежала безжизненно, и поэтому я нежно поцеловал твою голую голень, ты хихикнула и сказала: *«Нет, ты должен расчленить меня»*. Только тогда я понял, что это игра и что мне нужно было играть в нее так, чтобы ты не сочла это чем-то неправильным, ты все еще была полна невинности, и я подыграл, схватил чистый скальпель и скользнул его концом по твоим голым ногам, по животу, и ты сказала сонным голосом, что ты выдра, ты стала выдрой, и я провел металлом по твоим набухающим грудкам, увидел, как они застыли под рубашкой, как заячьи сосочки, скользнул между твоих ног, слегка прижался к льняной ткани и увидел, как твои щеки меняют цвет, увидел, как они чудесно горят, твой язык снова скользнул по губам, и я не знал, правда ли твоя грудь стала подниматься и опускаться быстрее, или я только вообразил это; я все еще шевелил скальпелем у тебя между ног, но ты сказала: *«Нет-нет, ты должен провести на мне вскрытие»*. Я хотел снова поцеловать твою

ногу, но тут ты открыла глаза, грубо вырвала нож из моих рук и воткнула его в плоть своего бедра, провела линию снизу вверх — тут же потекла кровь, и в твоих глазах появилось выражение, которого я раньше не видел, и я хотел закричать, что ты, черт возьми, делаешь, но я замер и уставился на тебя, и ты сказала, что именно это ты имела в виду: ты хотела, чтобы тебя вскрыли, рассекли, так же как мы рассекли выдру, у тебя внутри было что-то скрытое, то, что должно было выйти наружу, но у тебя не хватало времени, чтобы добраться до этого, оно лежало слишком глубоко, и было слишком много крови, а через час тебе с Жюль надо было идти плавать, и ты не хотела, чтобы бассейн превратился в Красное море, и только тогда я снова зашевелился, осторожно забрал скальпель из твоих рук и спросил, не сошла ли ты с ума, зачем ты себя поранила, моя небесная избранница, зачем ты это сделала? И ты сказала, что после боли приходило просветление, и прошептала, что после моей истории про вскрытие ты стала превращаться не только в Лягушонка, но и в самца выдры, и я остановил кровь салфеткой, плотно зажал рану, продезинфицировал ее йодом и наклеил на нее пластырь, хотя позже выяснилось, что ее следовало зашить

— наше первое прикосновение сразу же оставило шрам; но я почувствовал, что ты стала легче и счастливее, чем когда ты пришла, и потом ты говорила, что твое настроение часто весило столько же, сколько самый тяжелый танк Гитлера, «Тигр II», и что тогда ты впервые почувствовала облегчение, ты открыла что-то новое, и похоть, и боль, и просветление, и это крутилось в моей голове, и я едва ли не плакал, умоляя, чтобы ты больше никогда этого не делала, что я хочу сохранить тебя в целости, хотя это было пустое обещание, потому что я разбивал тебя на куски изнутри, я сидел внутри тебя, как печеночная двуустка, а ты перебросила ноги через край стола и сказала: *«Иногда я чувствую себя такой счастливой, что хочется умереть, потому что я знаю, что это временно, что мне придется проститься с этим в любой момент»*. И я положил ладони тебе на колени, но не знал, что сказать, моя дорогая, я мог только держать твои колени, как если бы они были головами двух телят, и я поцеловал тебя в губы, и на этот раз ты мне позволила, мне не пришлось проталкивать язык внутрь, нет, ты открыла рот, и я увидел, что у тебя на верхней челюсти нет резца, и я знал, что по ночам ты спала с внешней брекет-системой, которую снимала,

как только добиралась до школьного двора: зубы пытались расти прямо, но ты этого не допускала, потому что ты уже все равно была слишком исковеркана для этого мира; и ты прижалась своим маленьким язычком к моему, но я был не с тобой, не совсем, передо мной была картина, как ты надрезаешь собственную плоть, я увидел кровь и зажмурился — только потом я понял, что должен был остановиться там, но я осторожно раздвинул твои ноги и слегка пододвинул тебя вперед на операционном столе, чтобы ты оказалась напротив моего члена, и я осторожно, с остановками, задвигался, чтобы посмотреть, как ты будешь реагировать, ускорился и шептал между поцелуями, что я люблю тебя, что никогда не любил никого так, как тебя, и ты ничего не ответила, и в какой-то момент я увидел кровь, которая сочилась через пластырь, ты побледнела, и я почувствовал, что ты обмякла, что мне приходилось прижимать тебя все крепче и крепче, твоя голова болталась все сильнее и сильнее, но я так грубо двигал чреслами, что не заметил или не хотел замечать, что ты уже долго не шептала ничего про выдру, и только под конец, во время апофеоза, я подумал, что ты умерла, умерла, и я возбужденно прошептал: *«О боже, я тебя расчле-*

ню, я расчленю тебя, как ты хочешь. Я сделаю тебе полное вскрытие».

13

Кость пениса иссохнет и сгниет под рамой твоей кровати. В конечном итоге она станет не чем иным, как очередным запекшимся сувениром среди всех других сувениров, которые ты там тайно прятала, включая предметы, которые ты украла, когда училась в начальной школе, среди них: цепочка Элии с серебряным медальоном, внутри которого было личико куклы Барби — тебе удалось стащить ее в шесть лет, что примечательно, на дне рождения Элии, когда все гости в саду ели торт, она так красиво сияла, что ты не смогла пройти мимо; а еще книжка учительницы, которую она читала на каждой перемене — ты рассказывала, как она смачивала кончики пальцев, чтобы перелистывать страницы, и тогда ты тоже захотела стать страницей, чтобы она могла перелистнуть тебя и стать первым человеком на земле, который тебя прочтет, будет читать снова и снова, потому что твой текст и сюжет все время менялись, но, когда засовывала книгу в рюкзак, ты не осознавала этого, как и красоту ее голоса; а еще под решеткой было: немного торфа и угля со школьной экскурсии в

музей под открытым небом Археон, пустая пачка жевательной резинки, к которой прикоснулся тот, кто тебе нравился, чек на пополнение баланса на телефоне, оплаченный с моей карточки, пурпурный аметист из коллекции твоего брата, который был опечален потерей, но не настолько опечален, чтобы ты призналась и вернула камень, кожаный футляр для ножей из сарая соседа Храувердама, коробка с мехом твоего мертвого кролика, черепашка-ниндзя, обнаруженная в кармане чьего-то пиджака, твои дневники, которые ты вела только тогда, когда боялась потерять дни, и всегда начинала записи с оправдания, что очень давно не писала: *«Извини, дорогой дневник, произошло слишком много всего, чтобы это записывать, поэтому мне лучше ни о чем из этого тут не упоминать, ведь некоторые события не становятся реальностью, пока не превращаются в чернила, некоторые события невозможно вынести, от них помнутся твои страницы»*. А позже ты где-то напишешь, как рассказали мне в суде, что носишь свой настоящий дневник в голове и только там ты можешь писать аккуратно и разборчиво, хотя я знал, что однажды мое имя, *Курт*, получит свою порцию завитушек — ты наклеивала на страницы стикеры и только под ними

осмеливалась раскрывать свои секреты; а еще у тебя под кроватью были нарисованные тобой портреты твоих бабушек, которые обе умерли от рака до того, как тебе исполнилось одиннадцать лет, твои школьные оценки со всеми поощрениями, в которые ты тогда еще верила — под кроватью становилось все больше и больше вещей, особенно после того, как ты посмотрела «Оно» и после того, как твой брат однажды залез под кровать и в шутку передразнил кошку, а ты все слышала мяуканье, когда он уже давно вылез из-под нее — тогда ты подумала, что чем больше под кроватью накопится вещей, тем труднее будет спрятаться клоуну или твоему брату, а теперь кость пениса оказалась среди них, и иногда ты будешь разворачивать фольгу под ночником и вздрагивать при виде члена, который будет уже не розовым, а белым и начинает разлагаться, и ты будешь сладострастно скользить языком по губам и превращаться то в Лягушонка, то в самца выдры, а потом мирно заснешь над всем этим украденным и подобранным хламом; ты была воришкой, моя любовь, но мне было все равно, хотя я знал, какое это было клише: мое сердце оказалось в твоей коллекции, тебе это хорошо удавалось — красть у людей сердца, ты всегда

делала это так аккуратно, что они не сразу это понимали, а потом было уже слишком поздно, ты уже залезла в кого-то, и я беспокоился не столько о твоем воровстве, сколько о том, насколько хорошо ты могла о нем врать, и все, что ты не могла получить или что не было твоим, становилось более притягательным, и я иногда задавался вопросом, насколько притягателен был в твоих глазах я, и не хотела ли ты меня только потому, что ты мной не обладала, я уже принадлежал кому-то другому, и ты врала обо всем подряд, а я все чаще и чаще ловил тебя на том, что ты фантазировала о шикарной жизни и иногда сама не понимала, что реально, а что — нет, и в тот день ты рассказала всем, что застряла в колючей проволоке, и описывала в излишне кровавых подробностях, как это произошло, поэтому все быстро отставали, и никто, казалось, особо не задавал вопросов, откуда у тебя такая рана на бедре, и тебя пришлось зашивать, а рана в моем сердце все еще кровоточила, и только ты могла залечить ее, и я не совсем понимал, что именно из последних моментов на операционном столе ты осознала, что из моих слов и движений моих огненных чресл, но никто из нас не заговорил об этом, когда мы увиделись в сумерках: я пришел

за сыном, ты ходила с ним в поход с палатками вдоль реки, в этом году мы не поплыли на лодке во Фрисландию, а ты не поехала в Зеландию, но вы все-таки хотели немного отдохнуть, и поэтому у вас возникла идея с кемпингом, и скоро среди высохших коровьих лепешек и маргариток вырос купол палатки, и твоему папе казалось, что вам по восемь лет, и вы решили устроить ночевку, но Камиллия соображала в этих делах получше его, поэтому купила презервативы, *на всякий-разный случай*, сказала она и добавила, что в наши дни дети начинают спать друг с другом все раньше и раньше, а я стоял рядом, борясь с отвращением и тошнотой, когда она протянула старшему пачку Durex с запахом фруктов: я старался думать о пикнике, когда ты безбоязненно ела банан из моей руки, а потом Камиллия прошептала ему какую-то ненужную информацию, и я знал, что вы с Жюль однажды покупали презерватив из торгового автомата рядом с видеомагазином, вы застенчиво бросили один евро, а затем убежали прочь, чтобы спустя несколько минут вернуться и как можно хладнокровнее вытащить презерватив из щели, а потом в комнате Жюль вы натянули его на морковку, на крепкий корнеплод, но наизнанку: ваши ладони испачкались

в смазке, и вам пришлось их мыть в ванной, хихикая и кривляясь, и потом ты заявляла, что еще много часов чувствовала фабричный запах на своих руках, и из-за него ты думала о тех, кто стоял на сборочной линии фабрики и упаковывал презервативы, и ты задавалась вопросом, о чем мечтали эти люди, представляли ли они своего любимого человека или думали о супе из сельдерея, который сделают вечером, или, может быть, это были люди, которые никогда не целовались, не говоря уже о том, что их никто не хотел, и как больно им было весь день упаковывать в пачки чужую страсть или вожделение, и что ты могла бы работать на фабрике, потому что такая работа никогда бы не казалась тебе монотонной, потому что даже там ты бы цвела и мечтала о прекрасной жизни, и вы с Жюль воткнули морковку с надетым презервативом в плюшевую игрушку: вы надрезали ее снизу и вытащили наполнитель, и в ту ночь ты плакала над поруганным плюшевым мишкой, потому что Фрейд сказал, что вожделение сильнее разума; дело было не в распоротой мягкой игрушке, а в том, что вы с ней сделали — вы водили морковкой вверх-вниз, читая секс-книжку матери Жюль, которую вы нашли на чердаке, о том, как именно это делается,

и морковь входила и выходила, пока веселье не закончилось, затем вы сели на диван с миской чипсов и банкой лимонада Shandy и обсудили то, что действительно имело значение: поп-звезд, музыку, новые сладости, парней, растущие части тела девушек-подростков. А морковку с презервативом, которая принадлежала к роду Pennisetum, вы закопали на заднем дворе среди кустов сирени и перистощетинника, и эта игра слов показалась вам весьма уместной, и вы позабыли о том, что так пленяло вас раньше, когда вы лихорадочно разрезали и протыкали морковкой плюшевого мишку, и я хотел выбить пачку презервативов из руки сына и запретить ему использовать гадкую резинку с тобой, с моей маленькой добычей, и поэтому я поговорил с тобой об этом, когда мы вместе устанавливали зеленый купол армейской палатки на берегу, а мой старший мочился на дерево чуть подальше, стянув боксеры и штаны до щиколоток, как он делал в детстве, и его белые ягодицы ярко выделялись на фоне темно-синего неба — на мгновение мне вспомнилась моя любимая картина Пикассо, «Герника» 1937 года, с ее белоснежной быколошадью, с ее огромным отчаянием, болью и хаосом, и не смог отрицать того, что ты видела в моем сыне — он все еще был

таким свободным от зла, то мягким и нежным, то строптивым и жестким, а во мне этого не хватало, и я сказал, что вы еще молоды, так восхитительно молоды, что у вас еще будет столько времени заняться *этим*, что ты должна быть по-настоящему уверена в том, что хочешь этого, точно так же, как была уверена, что станешь знаменитой; и я не мог не воображать, как мой старший, вот с этими его бледными ягодицами, светящимися на фоне звездного неба, потычется в тебя пару раз, и ты подумаешь, что это все, и это может тебя разочаровать, потому что ничего не изменит, не изменит тебя, потому что не будет похоже на фильмы или книги, а скорее на то, как это происходит у коров; и я натянул веревки палатки и закрепил их за колышки в земле, и сказал тебе быть осторожной, чтобы не споткнуться о них, и ты лучезарно улыбнулась и ответила словами: *«Только тот, кто часто спотыкается, знает, что такое по-настоящему твердо стоять на ногах»*. И тут я мягко спросил, чего ты хочешь на самом деле, готова ли ты, чувствуешь ли ты такую любовь, что не можешь думать ни о чем другом, не хочешь этого ни с кем, кроме него, а ты пожала плечами и сказала, что читала «Моби Дика» Германа Мелвилла и что порой нужно

отправиться на охоту, чтобы узнать свои страхи, и я не понял, какое отношение это имеет к моим вопросам, а ты сказала, что молилась Богу, спрашивая, подходящий ли это будет момент, а Он промолчал, и молчаливый Бог хуже Бога рыкающего, и только Фрейд в бордовом кресле задумчиво наклонился к тебе и спросил, был ли мой сын тем китом, которого ты по-настоящему хотела впустить внутрь, а ты парировала, что в рыбацком промысле кит — это просто кит, и рыбак будет счастлив поймать любого, и из этого объяснения я понял, что ты опасалась, что если этого не произойдет сейчас, то этого не произойдет никогда, и что до тебя дошли слухи, что Элиа и Лягушонок уже занимались *этим*, и с тех пор у нее появилось еще больше поклонников и, по твоему мнению, еще больше выросла грудь, и ты хотела отличаться и в то же время быть такой же, как все остальные, — это был очередной уровень, который предстояло пройти, в ваших терминах: последняя база. Пока что вы двое все еще были на первой: только целовались и немного трогали друг друга; ну ладно, все же хорошо, что вы получили презервативы от Камиллии, а не пошли к автомату у видеомагазина и принялись сомневаться, не сэкономить ли эти деньги на

какой-нибудь хороший фильм, на фильм с Аль Пачино, или что вас могут заметить деревенские дураки или, что еще хуже, пастор, потому что после службы в реформатской церкви на дамбе он рассказал бы об этом твоему отцу и указал бы ему на твое аморальное поведение, и твой папа немедленно выгнал бы меня с моей скверной со своего двора, они же еще дети, сказал бы он, не зная, что каждую ночь его дочь с жадностью рассматривает кость пениса выдры; и ты выпрямилась и стала нажимать ножками в резиновых сапогах на колышки палатки, так что они еще глубже погрузились в землю, словно хотела убедиться, что палатку не унесет ветром, что твои желания закреплены штормовыми ремнями, чтобы они не болтались, словно колышки в темноте тента, внутри твоей головы, и вдруг ни с того ни с сего ты почти вызывающе спросила: *«А ты хочешь стать этим китом?»* Я стоял с веревками и молотком в руках, чувствовал, как вечерняя сырость заползает мне в грудь, слышал крик сына, который забрался высоко на дерево и кричал, что он король мира, — это он запомнил из «Титаника», он всегда перенимал все напускное, но не истинную глубину вещей; а ты была такой противоположностью ему, и я ни черта не

сказал, я не мог ничего вымолвить, потому что не знал, как ответить, и после выдры казалось, что всего слишком много, что оно слишком грязное, и я увидел, как ты вглядывалась в даль над участком соседа Храувердама, и услышал, что ты соврала, когда сказала с ложным подтекстом, что это замечательно — быть проглоченной китом, как Иона в Библии, и что ты надеешься, что он выплюнет тебя где-нибудь далеко, подальше от скучной деревни, и я все еще не знал, суждено ли моему сыну стать твоим китом, и ты продолжила, что в сумерках всегда хорошо выбирать море, как делал Измаил из «Моби Дика», что младшему матросу легко живется, но море можно выбрать только в том случае, если у тебя есть корабль, а пока что это просто бултыхание, сказала ты с убежденностью в голосе, как будто знала, что делала и куда хотела отправиться, и ты спросила, закончил ли я свой допрос, и использовала местоимение «*вы*» и обращение «господин *Курт*», а я неуклюже стоял с веревками и этим дурацким молотком в руках и услышал шаги сына за спиной, поэтому не смог сказать тебе, что ты мне нужна, что я хотел стать твоим китом, что я должен умолять тебя стать твоим китом, что я хотел проглотить тебя и не отпускать, и, может быть,

ты хотела, чтобы я что-то сказал о вчерашнем дне, но между нами выросло такое большое расстояние, которое нужно было пересечь, так много коровьих лепешек и маргариток, а я был просто мужчиной с молотком, я построил вам любовное гнездышко, хотя сам хотел стать тем, кто будет в нем поклоняться тебе, и мой старший похлопал меня по плечу, чтобы показать, что сейчас мне пора свалить на хрен, и я поднял руку и пошел прочь, оглянулся на вас, сидящих в траве, — вы пытались включить плитку твоего отца, чтобы приготовить омлет, а я поспешил домой, чтобы открыть «Моби Дика», и пришлось признать, что он мне не пошел, за исключением нескольких маленьких жемчужин, но нет, не этот язык, не эта медлительность, но я продолжал читать, хотя бы ради того, чтобы не видеть перед собой тебя, лежащую на надувном матрасе в палатке; и я переворачивал страницы так грубо, что некоторые из них рвались, и я обнаружил, что это отчасти похоже на то, что я чувствовал, и теперь, когда наш младший тоже ночевал в гостях, и весь дом был в нашем распоряжении, и, казалось, был освещен вашей страстью, Камиллия хотела заняться со мной любовью, но у нее ничего не вышло, даже когда я пытался думать о тебе на оде-

яле для пикника, о тебе на операционном столе и о том, как я стоял позади тебя, когда ты резала выдру, как крепко ты держалась за ее пенис и как ты была красива и мила, когда безвольно обмякла в моих руках, но потом я снова увидел кровь на твоей ноге, увидел моего старшего с белыми ягодицами, лежащего на тебе, и это не сработало, и я сказал Камиллии, что дело не в ней, что я немного устал от толпы пациентов на приеме и в поле, от инфекций вымени и анаплазмозов, без особой необходимости добавил я, и так далее, и в ту ночь я несколько часов просидел в ванной, прижимаясь губами к крошечным дырочкам в сетке форточки — тогда я не мог знать, что завтра заберу угрюмого сына с неиспользованными резинками в переднем кармане рюкзака, ах, моя пламенная беглянка, что ты со мной делала!

14

В сорок седьмой день рождения Кейт Буш ты была в критическом состоянии. Ты нашла песню, которая была вдохновлена «Грозовым перевалом» Эмили Бронте, книгой, которую мне удалось с трудом перетерпеть, поскольку главный герой на пятой странице использовал кочергу, чтобы отбиться от овчарок, которых Бронте называла четвероногими дьяволами, стадом одержимых бесами свиней, отрывок, который, как позже утверждалось, был взят из Библии, от Луки; ты думала, что песня была очень красивой, и я внезапно вспомнил, что Кейт Буш в прямом эфире по телевидению открыла Замок с привидениями в парке развлечений Эфтелинг в 1978 году, где на фальшивом надгробии было ее имя, и я подумал, что однажды отвезу тебя туда, и ты думала, что песня была особенно красивой, когда она пела в пятый раз: *«Heathcliff, it's me, I'm Cathy, I've come home, I'm so cold, let me in through your window*[19]». Потому что это звучало так отчаянно, так расстро-

[19] Примечания: 19

Хитклифф, это я, я Кэти, я пришла домой, мне так холодно, впусти меня в свое окно (*англ.*).

енно, и ты не могла представить, чтобы кто-то так сильно хотел вернуться домой, чтобы кто-то мог так тосковать по любимому человеку, так отчаянно, что замерзал бы без него, тебе стала нравиться эта песня после того, как еще в начальной школе Жюль включила ее, и все мальчики, затаив дыхание, смотрели, как она порхала по классу, раскинув руки; они аплодировали, пока не стало неловко, и ты сказала, что лучшие аплодисменты, которые можно получить, — это те, после которых становится так неловко и неприятно, что наступает мертвая тишина, и вот когда люди замирают в замешательстве, нужно начинать следующую песню, и если бы ты была знаменита, тебе бы тоже все аплодировали, а порой ты аплодировала себе сама, когда слушала песню на плеере и притворялась, что поешь и играешь, а потом энергично танцуешь по комнате: ты танцевала, только когда никто не видел, на тебя смотрели лишь миллионы глаз воображаемой аудитории в твоей голове; и дома я послушал песню Wuthering Heights, подчеркнул некоторые строчки в тексте и понял, что ты в нем видела, хотя мне больше нравилась The Man with the Child in His Eyes, как будто она была спета специально для меня; и около часа дня я приехал на ферму, чтобы

проверить телят на обезвоживание, поскольку жара продолжалась — поля постоянно поливали, на всех лугах стояли ванны с водой для животных, — и застал твоего папу, сидящего в шезлонге на лужайке в тени, в грязном комбинезоне, который он, кажется, носил уже несколько недель подряд, и чистил ложкой киви над травой; я сел рядом с ним и смотрел, как ложка погружается в мякоть, а сок стекает по его большим ладоням, затем я посмотрел на дрожащую бельевую веревку, на которой среди исподнего твоего папы и брата висели твои трусики, и я слегка улыбнулся бантикам на них, таким детским, таким милым, за этими бантиками лежала долина, о которой я думал все чаще и чаще, и вдруг твой отец заговорил о тебе, как говорил о коровах: *«Не знаю, что это, может быть, вирус Шмалленберга, сибирская язва или анаплазмоз»*. Я спросил, какая у тебя температура, тошнит ли тебя, есть ли понос, и он покачал головой, пожал плечами, вот и всё, поэтому, когда он пошел в коровник, чтобы вычистить стойла и насыпать опилок, я проскользнул в дом, поднялся по лестнице в гнездышко детской страсти, тихонько приоткрыл дверь и увидел, что ты лежишь, свернувшись калачиком, под одеялом; я сказал, что это я, Курт,

и присоединился к тебе, сев на край кровати, положил руку тебе на лоб и почувствовал, какой он ужасно горячий, и ты тихо сказала, что он такой оттого, что Башни-близнецы сгорали в огне и пламени снова и снова, и рассказала, как 11 сентября ты пролетела над Нижним Манхэттеном и врезалась в здание, как увидела, что натворила, и твои крылья были в серых обломках, ты спрятала их под одеяло с принтом Улицы Сезам, сказала, что крики и вой, которые ты слышала, были ужасными, что ты постоянно видела перед собой то изображение, Падающего человека из газеты The New York Times, похожего на миниатюрного пластикового солдатика, который спрыгнул прямо с Башен-близнецов, а фотограф объяснял, что нужно смотреть на нее не ради того, чтобы понять, кто этот человек, а скорее, кто смотрит на это фото, что он чувствует, и ты смотрела на Падающего человека так много раз, что сама стала тем, кто падает вниз, и ты сказала, что видела, как обе башни рухнули, словно пудинги из манки, а затем ты улетела обратно, смыла пыль и кровь с крыльев дома в душе и увидела, как слив стал красным, в нем застряли обломки самолета, а потом ты в пижаме спустилась вниз и увидела, как твой отец сидит перед телевизором,

обхватив голову руками, и говорит: *«Мы умрем, мы все умрем»*. И ты стояла в гостиной, дрожа от холода, слышала боль в голосе диктора, и тебе хотелось закричать, что это твоя вина, точно так же, как когда тебе было три года и на Ватердрахерсвэх произошла авария — грохот потери все еще звучал в твоей голове, отдавался в нервных волокнах, и ты увидела, что люди могут падать, как Башни-близнецы, а затем снова вставать, что твой папа и покинувшая с тех пор навечно были окружены строительными лесами, ты хотела сказать, что в тот день утратила намного больше, чем потерянного брата, и я все это знал, я знал это, но я не говорил, и я видел, как твои щеки стали мокрыми, ты сказала: *«Курт, я помощница смерти»*. Ты горячо и яростно продолжила, что ты преступница, что у вас с Гитлером был не только общий день рождения, но и общие деяния, и теперь ты называешь свою комнату Орлиным гнездом, и на мгновение твои глаза загорелись, как будто ты переживала какой-то всплеск, и ты прошептала, что если бы ты снова смогла летать, у тебя все получилось бы, правда, и я сказал: *«конечно, у тебя все получится»*, — и осторожно подвинул тебя к стене, чтобы я мог лечь рядом с тобой под пуховое одеяло, и ох как под ним было

жарко, капли пота стекали по моему лбу, но мне было все равно, мне было все равно, что твоя простыня промокнет: все, что имело значение, это то, что я лежу рядом с тобой, и я почувствовал, насколько ты ослаблена от обвинений самой себя, от своего преступления, я положил руку тебе на бедро и позволил ей скользнуть вниз; ты сказала, что хочешь пить, очень сильно хочешь пить, и я ответил, что принесу тебе попить, поэтому я снова встал, спустился вниз, где твой брат сидел за кухонным столом над миской с молоком с кукурузными хлопьями и спросил, как у тебя дела; он пристально посмотрел на меня, как будто искал что-то, чего в тот момент не мог понять, и я ответил: *«не очень хорошо»*, — а он постучал пальцем по лбу и, заглатывая хлопья ложка за ложкой, рассказал, что вечером ему пришлось забрать тебя с сеновала: ты стояла у окна погрузки, размахивая руками, и сказала, что тренируешься, тяжело в ученье — легко в бою, а затем он отвел тебя в постель и сидел, прислонившись спиной к двери твоей комнаты до самого утра; он не знал, сколько он так просидел в ту ночь, он протер глаза, затем сказал, что молился за тебя, потому что Бог мог исцелять безумцев, и процитировал из Матфея: *«И сыны царства будут изгнаны во тьму*

внешнюю; будет плач и скрежет зубовный». Напоследок он объявил, что твое царство не в порядке, что ты сошла с ума, и он снова постучал по лбу, а затем склонился над тарелкой, и я сказал ему, что он хороший брат, добрый брат, и он равнодушно кивнул; я поискал в своих инструментах бутылку для докармливания телят, которую на кухне наполнил до краев ледяной водой, наверху я просунул соску между твоими губами, и ты стала пить с большей жадностью, чем млекопитающее, и я прошептал, что у тебя получится все исправить с Нью-Йорком, потому что не было смысла тебе противоречить, прогонять эти заблуждения из твоей головы, говорить, что не ты напала на башни, что все нападавшие в той сентябрьской катастрофе были мертвы; я мог только успокоить тебя, поверив тебе, и мы снова были вместе, как на пикнике, хотя на этот раз мы не целовались, я только позволил своей руке скользнуть к краю твоих трусиков, когда лежал рядом с тобой в душном гнездышке детской страсти, и кожей ладони я почувствовал красный бантик, и в тот момент этого было достаточно, моя дорогая, достаточно было знать, насколько тонкой была ткань, насколько тонкой была граница между мной и тобой, что уже недолго осталось, прежде

чем я овладею тобой полностью, прежде чем я смогу подойти так близко, чтобы ты больше не думала о расстоянии, о возвращении домой, прежде чем я стану твоим открытым окном, и ты сможешь через меня сбежать; я хотел этого, и мы лежали рядом, и ты подумала о Лягушонке, о том что Лягушонок умеет пи́сать стоя, и тебе всегда казалось, что это замечательно, так классно, и что если ты снова им станешь, то сможешь потушить пожар Башен-близнецов своей струйкой, и я спросил, думаешь ли ты еще о чем-то, когда становишься Лягушонком, ты слегка покачала головой и сказала с закрытыми глазами: *«Нет, я просто хочу писать стоя»*. А потом ты сделала это — я почувствовал, как простыня, которая сначала была только немного липкой от нашего пота, теперь промокла насквозь, я почувствовал резкий запах мочи и ощутил, как она медленно пропитывает ткань моей рубашки и джинсов, и я сказал: *«Писай, моя дорогая, выпусти из себя все»*. И ты со вздохом дала себе волю, говоря, что это море ты выбрала сегодня, что ты никогда не станешь моряком, потому что у тебя слишком тяжелая голова, но ты все время скучала по кораблю, и ты устало пожелала спокойной ночи некоторым вещам в своей комнате, как,

по-видимому, делала каждую ночь перед тем, как провалиться в сон, позволить себе погрузиться в необузданный водоворот беспамятства: *«Пока, стол; пока, настольная лампа; пока, диван; пока, Орлиное Гнездо»*.

15

Было полтретьего, когда после очередного кошмара я тихонько выскользнул из постели, натянул кроссовки у входной двери и побежал, я побежал, дорогой суд! По освещенным и пустынным дорогам Деревни, через польдер мимо Юлиахук и Минненейд, я видел, как скачут прочь зайцы, слышал, как меня подбадривают сверчки и лягушки, я не мог устоять и пробежался по Приккебэйнседейк мимо фермы; ивы в темноте выглядели как могильщики, молча и благоговейно стоящие вокруг дома, как будто в любой момент ты могла сдаться лихорадке или самой себе, и я посмотрел на твое окно над крыльцом и подумал о том, что мне снилось: как ты говорила словами Фрейда, сон — это обычно исполнение подавляемого желания, и я бы сказал, что ты ошибалась, Фрейд ошибался — я подавлял свои желания, да, но то, что происходило ночью, не имело с моими желаниями ничего общего или, по крайней мере, мало общего; и я чувствовал асфальт под ногами, пытаясь не обращать внимания на уколы в боку, я наполнял легкие свежим ночным воздухом и становился все легче и свет-

лее, моя небесная избранница, хотя и не мог игнорировать образы, которые на меня наваливались и которые потом обсуждали магистраты в суде — после того, как нашей любви, нашему лету присвоили номер дела, номер двенадцать, ох, как эти господа могли так со мной поступить, двенадцать! В Библии столько было волов в Книге Чисел, столько библейских камней в Исходе, столько учеников Иисуса и легионов ангелов в Евангелии от Матфея, а мне, мне даже не позволено завладеть одним, но я не думал об этом, когда бежал мимо фермы и видел, как на горизонте маячит то, чего я так боялся: оно казалось менее страшным, пока я бежал, чем когда лежал под простынями или сидел у форточки рядом с унитазом, и мне пришла на ум картина Абильдгаарда «Ночной кошмар» 1800 года, которую я однажды видел в каком-то датском музее: она изображала двух обнаженных женщин, спящих на кровати с балдахином, на животе женщины на переднем плане, раскинувшейся и красиво накрытой тканью, словно сдавшейся перед тем, что сидело у нее на животе, перед кошмаром, нарисованным как черное, грузное существо с эльфийскими ушами, оно сидело и смотрело на зрителя желтыми светящимися глазами, отбра-

сывая на стену большую тень, а вверху слева, на фоне темного неба, была изображена луна в форме банана, и если хорошо изучить картину, то страшнее всего было не само чудовище, а его хвост, лежащий между грудями женщины, который многие знатоки толковали как эротический символ — я стоял перед картиной, дрожа, как баран без зимней шерсти, и заметил, что кошмары часто изображают на животе или на груди человека, там он их ощущает, когда в ужасе просыпается, хотя я знал, что потом они заползают в голову и заполняют собой все мысли; и пока я бежал, мне привиделось это волосатое существо, хотя обнаженная женщина внезапно перестала быть обнаженной женщиной, она превратилась в тебя, и это я сидел на твоем животе, на женском теле, которое было слишком взрослым для тебя и еще тебе не подходило, я был этим кошмаром, и это мой хвост лежал между твоими красивыми грудями — я не хотел видеть тебя такой, не хотел, чтобы ты когда-либо превращалась в женщину, я хотел удержать этого красивого ребенка, и я сосредоточился на своем сне, чтобы не видеть эту сладострастную, растущую плоть на твоей хорошенькой плоской груди, и я представил синее лицо мертвого фермера, свисающего с балюстра-

ды лестницы, ощутил во рту вкус арахисового масла, я пыхтел, топча черную траву, а затем увеличил темп, я задыхался, как загнанный конь, но образы, казалось, догоняли меня, и я видел свисающего с веревки фермера, а еще я видел себя, когда я был маленьким мальчиком, где-то лет шести, ростом не выше края черных чулок моей матери, и фермер исчез, уступив место моему отцу, сидящему за кухонным столом в чистом воскресном костюме — иногда я думал, что он был братом Бога, но мне об этом никто не рассказывал, иначе я бы болтал об этом направо и налево, потому что большинство отцов были трудягами — сборщиками тростника, которые по вечерам домой приходили измученные, жестом фокусника извлекали из-за спины сигары, сделанные из рогоза, потом под виадуком зажигали их и сидели в удобной позе, пока дым клубился к небу, и мой отец во сне сказал мне: *«Сейчас Пасха, спрятано девять или десять яиц. Ты можешь искать то, чего нет, или довольствоваться тем, что у тебя есть»*. Затем он исчез из комнаты, и мне хотелось крикнуть ему, чтобы он не уходил, чтобы он остался здесь, пожалуйста, но я не мог говорить, я не мог ничего сказать, и я увидел, как ищу яйца в доме, на заднем дворе среди керами-

ческих садовых гномов и медуницы, в сарае со свиньями, и вскоре я нашел девять из них, но не мог найти последнее, я не мог отречься от самого себя, поэтому ползал по полу кухни, смотрел под шкафчиками с посудой и слышал, как мать говорит: *«теплее», «еще теплее»*, — пока я не залез под стол и не увидел последнее яйцо между ее раздвинутых ног и пожалел, что не согласился на девять яиц, я был слишком жадным, и она сказала, что если я не вытащу последнее яйцо, то по моей вине Иисус умрет, Он не вернется на Пятидесятницу, и все узнают, что это из-за меня Он был пригвожден к кресту, и когда я вытащил яйцо из ее тела, краска с него стерлась, оно треснуло, и я клянусь, из него вылез цыпленок, милый пушистый цыпленочек; я посмотрел на него с улыбкой, погладил его пушистое оперение и по своему обыкновению с жадностью сказал, что буду любить его до скончания дней, и тут он внезапно посинел под моими пальцами, немного задрожал, а затем упал; он лежал мертвый между ног моей матери, и меня снова унесло прочь, и хотя я остался тем маленьким мальчиком, я снова увидел фермера с набухшими венами на руках, услышал мычание коров на заднем плане, выстрелы забойщиков, и вдруг наверху лестницы

оказалась ты, в том белом платье с рукавами-фонариками, которое надевала в кино, и ты указала на меня и засмеялась так, как я никогда раньше не видел; я опустил глаза на свое тело и внезапно увидел, что я голый, такой ужасно голый, и я хотел стыдливо прикрыть руками свой член, но не мог пошевелиться, а когда снова поднял глаза, ты опять указывала на меня пальцем, я опять услышал презрительный смех, и на этот раз это была не ты, а моя мать, и я услышал, как она говорит, что мне не стоит рассчитывать, что с таким телом я смогу когда-нибудь любить женщину, что я должен сперва уважить ее, и она сказала, как и в прошлый раз, что я не должен останавливаться, пока во мне не окажется Бог, а я хотел сказать, что Создатель никогда больше в меня не войдет, и позже, когда я вырасту, я заколочу от него свой дом вплоть до кошачьей дверцы, но я знал, что это ложь, что без Бога я был еще более беспомощен, что, когда Он живет в человеке, Он спасает его от пустоты, от сквоттеров; и я бежал по Афондлаан по направлению к Мазенпад, когда внезапно заметил за домами огромного цыпленка, он клевал траву громадным оранжевым клювом, я притормозил и приблизился к нему, он посмотрел на меня и сказал: *«Go home, Kurt,*

go home[20]». Я моргал, пока он не исчез, и магистраты в суде потом скажут, что этот цыпленок предлагал мне помощь, он был моим спасением, в нем скрывалось возрождение, но они могут поцеловать меня в задницу со своим возрождением, я был истерзан, я был измучен до крайности и снова увидел перед собой этого черного монстра, но на этот раз твое тело вновь стало таким, каким должно быть — потрясающим и приятным глазу, однако оно начало хрустеть все сильнее и сильнее, под моим весом твои ребра ломались одно за другим, и я прошептал туманной тьме, что мне жаль, что я на тебе только потому, что люблю тебя, что это не должно было стать твоим кошмаром, и я увидел, как ты кружишься на лугу, словно балерина, и ты спросила, не закружилась ли у меня голова, но от вращения других людей голова не кружится, в крайнем случае — просто немного укачивает, голова кружится, когда вращаешься ты сам, ты поймешь это позже; и творение Абильдгаарда исчезло, когда я полумертвый добрался до входной двери своего дома, рухнул на тротуар и только тогда понял, что в моих кроссовках кровь, я стянул их вместе с

[20] Примечания: 20
Иди домой, Курт, иди домой (*англ.*).

носками, которые выбросил, как куски говяжьей вырезки, в мусорное ведро — любители смерти взвились и полетели из него прочь, и я прошептал, чтобы они свалили, свалили, а чуть позже я разбудил Камиллию поцелуем в шею и сказал себе, что с завтрашнего дня я стану поступать лучше, правда-правда, и я возбужденно вонзился в нее, чтобы забыть кошмары, чтобы воплотить в ней тебя: двенадцать толчков.

16

Дорогая питомица, чем сильнее в твоей голове горели Башни-близнецы, тем ярче становилась моя любовь к тебе и тем слабее моя плоть, увы, такая слабая и мягкая, словно триста граммов тушеной говядины. Но, несмотря на ночные фантазии и напрасные планы, которые я строил, я хотел и мог все больше и больше овладевать тобой, как больным ребенком овладевает сон: ты вяло прислонилась ко мне, пока я сидел на твоей кровати среди игрушек спиной к стене и читал тебе «Милых мальчиков» Герарда Реве[21]; я был занят твоим полным разрушением, даже с помощью литературы я хотел заманить тебя в свои объятия, а тебя лихорадило, и я знал, что ты жаждешь только моего сына, который сейчас был в бассейне со своими друзьями и вчера зашел всего на полчаса с корзиной фруктов, которая стояла нетронутая на твоем прикроватном столике: в яблоках уже завелись любители смерти, они повсюду следовали за мной, и мой старший

[21] Примечания: 21

Нидерландский писатель XX века, один из первых открытых гомосексуалов.

рассказал мне дома, что вы говорили о школе, о The Sims, о запахе первого дождя после солнечных дней, о том, что этот запах называется петрикор, и ученые утверждали, что он нравится всем людям без исключения, потому что их далекие предки зависели от дождя, о том, кто в Деревне с кем целовался, и мой старший сказал, что иногда ты изрекала странные вещи, и ваш разговор все больше и больше иссякал; он сравнил его с куском сыра на столе, от которого отрезаешь по кусочку вплоть до того момента, когда в руках остается только корочка — вы добрались до этой корочки, и больше нечего было обсуждать, а Камиллия объяснила ему, что люди в отношениях часто доходят до корочки, но нужно видеть другого человека каждый раз новым, нетронутым куском сыра, приходится делать все возможное, чтобы заново открывать друг друга; и она улыбнулась мне, потому что в прошлую ночь почувствовала себя новым куском сыра, а я все чаще замечал, что сын не носит цепочку с половинкой сердца — она валялась на полке в ванной, и я втихомолку надел ее сегодня утром, почувствовал холодное серебро на своей коже, и только тогда понял, почему вы, любовнички, решили их носить — они давали надежду на то, что можно

унести частичку чужого сердца, стать частью другого человека, потому что вас было слишком много; и цепочка на мне отлично смотрелась, я сунул ее под рубашку, чтобы вы с Камиллией не заметили, и в твоей маленькой комнатке я рассказал тебе о глубокой и страстной любовной связи между Мышонком[22] и рассказчиком «Милых мальчиков», насколько она была реальна и искренна, даже несмотря на то, что у них была большая разница в возрасте, и ты заставила меня повторить некоторые отрывки, особенно тот, в котором Мышонок сидит на коленях у рассказчика и движется туда-сюда страстно и задумчиво, их я читал громче и разборчивее, чем все остальное, и ты спросила, почему рассказчик так любит Мышонка, а я ответил, что иногда можно полюбить того, кого не следует любить, по крайней мере, не так, однако любовь не знает границ, и иногда между двумя людьми может происходить что-то, чего не понимают другие, но важно, что ты сама это понимаешь, что твое сердце ведет себя словно корова, которой впервые разрешают выйти на луг в апреле, оно прыгает как сумасшедшее; и ты заметила, что они никогда не смогут быть вме-

[22] Примечания: 22
Прозвище одного из возлюбленных Г. Реве.

сте, рассказчик и Мышонок, что никто не может жить в мире, полном непонимания, а я грустно ответил, что это правда, и внезапно у меня пропало желание читать дальше, нет, я ненавидел рассказчика, который казался таким безупречным, я хотел швырнуть книгу через комнату, вырвать страницы и спустить их в унитаз, но ты так мило спросила, не хочу ли я еще почитать, и снова всем весом навалилась на меня, как будто я был последним обломком, на котором ты могла уплыть, и я хотел стать этим обломком, поэтому я продолжил читать, лишь изредка останавливаясь, чтобы выпить воды от пересохшего горла и посмотреть на твои стройные ножки, на то, как ты сидишь в одних трусиках и рубашке; и я вспоминал, как после того, как ты обмочила постель, я вымыл тебя, пока твой брат и папа раскидывали навоз по полям, запах навоза просачивался через окно, и я внимательно следил за звуками трактора, когда наполнял ванну, а затем высыпал в нее какие-то пурпурные масляные шарики для ванны, твердые и высохшие, я нашел их в шкафу под полотенцами, на которых было криво написано: «Ко дню матери». Я не стал задавать вопросов об этом, просто поднял тебя с кровати и посадил на край ванны, чтобы снять рубашку и трусики, и ты

мне это позволила, потому что слишком устала и была слишком больна, чтобы возражать; и ты заходила в воду, как цыпленок отправляется на разведку, я сделал из своих рук корытце, чтобы полить тебе голову теплой водой, я помыл тебе голову, помассировал плечи и спину, как меня когда-то научил один фермер массировать мясных коров — он думал, что благодаря массажу достигается оптимальная мраморность жира, — я нанес на мочалку гель для душа Ахе, потому что не увидел ничего с ароматом розы или лаванды, только Ахе, принадлежавший потерянному, вы все хотели пахнуть им, и начал тереть тебе живот, грудь, между ног, и больше всего я хотел избавиться от мочалки, но ты была такой хрупкой, любовь моя, такой хрупкой, цыпленочек вздрагивал, и я спел что-то из Simon & Garfunkel, и ты прошептала, что у меня хороший фальцет, очень чистый и вообще, а я ополоснул твои волосы, и ты рассказала, как однажды чуть не утонула, поэтому тебя всегда тянуло к воде и в то же время она тебя пугала: в шестом классе в бассейне ты хотела пронырнуть под прямоугольным плотом из пенопласта, но кто-то постоянно его двигал, чтобы ты не могла из-под него выбраться, и ты чувствовала, как в голове растет давление, как

медленно сжимается горло и как щеки почти лопаются, а глаза вылезают из орбит, и у тебя пронеслась мысль, что ты умрешь, умрешь, а в рюкзаке останется несъеденный пакетик конфет, и это показалось тебе ужаснее всего, и, конечно же, то, что твой отец снова кого-то потеряет, но ты почувствовала покой, как чувствовала покой, когда думала, что станешь знаменитой, даже более знаменитой, чем Кобейн, и ровно в тот момент, когда ты покинула земной шар, когда ты умерла, плот внезапно убрали, и ты всплыла, отфыркиваясь и ловя ртом воздух, и никогда так не наслаждалась конфетами, сказала ты, кислые пастилки были кислее, чем когда-либо, розовые зубы Дракулы — очень сладкими, мармеладки со вкусом колы даже немного пощипывали рот, и мне понравилось, как ты говорила о сладостях, ты казалась более живой, чем обычно, и ты сказала, что сразу же отправились плавать опять, но потребовалось время, прежде чем ты снова смогла нырять; и иногда ты погружалась с головой в ванну, пока не чувствовала что-то похожее на то ощущение в бассейне, но когда ты всплывала, той безумной радости не было, потому что ванная оставалась ванной с мозаично-зеленой плиткой, в ней не было такого яркого света, как в бассейне,

и ты вдруг попросила меня: *«Курт, подержи меня под водой»*. Ты сказала это тем же тоном, что и тогда, когда попросила тебя расчленить, и я не знал, как ты поступишь, если я этого не сделаю, поэтому я толкнул тебя назад, положил руку тебе на лоб и несколько секунд удерживал тебя под водой. Было ужасно видеть, как твое бледное лицо становится еще бледнее, но когда я отпустил тебя, ты прошептала: *«Подольше, как можно дольше»*. И я мог бы убить тебя там, любовь моя, это была бы крайняя мера, чтобы навсегда сделать тебя своей, и я удерживал тебя под водой, пока ты не начала извиваться, пока не вцепилась руками в края ванны, а затем, фыркая и задыхаясь, прижалась ко мне, и я снова посадил тебя на край ванны, я вытирал твое тело, кусочек за кусочком, и ты внезапно переключилась с блаженства на стыд, ты сгорбилась и прикрыла ладонями пах, и тогда я снова запел — это помогло, хотя ты была слишком больна, чтобы подпевать, я пел за нас обоих и, продолжая читать «Милых мальчиков», на странице девяносто второй я почувствовал то, что испытал, когда впервые прочитал эту книгу в старшей школе, то же возбуждение, особенно на предложении: *«Нет, я использую свой рог только и исключительно для пытки, потому что он*

принадлежит тебе, и потому что я принадлежу тебе[23]». О великолепие слова «рог», вставшего пениса рассказчика, с которым он жаждал мальчика-зверя, и я читал о нем в твоем гнездышке детской страсти, пока твой брат и отец все еще ездили по полям, а мы были окружены запахом геля для душа и навоза; я взял твою руку и положил ее на ширинку своих брюк, и сперва твоя рука оставалась немного тяжелой и вялой, но потом осторожно нащупала выпуклость, словно исследуя подарок, который я тебе принес, чтобы угадать, что внутри, и потом нежно прижала к щеке мягкую игрушку с сердцем в лапках, которая начинала петь ужасную I Will Always Love You Уитни Хьюстон, если нажать на одну из них — так же осторожно ты сжала мою промежность, мой рог, и буквы помутнели, так что я не мог больше читать, и ты сказала, что думала о выдре так много раз, что ее член побелел, а кость пениса начала вонять, и ты не осмеливалась больше доставать ее из пленки, ты положила член в шерстяной носок и спрятала под кровать, чтобы больше не прикасаться к нему — только потом он послужит уликой в суде, для этих чертовых

---

[23] Примечания: 23
Перевод О. Гришиной.

жалких магистратов, и ты внезапно убрала руку, краснея, как ребенок, которого разыграли, и сказала, что голодна, и можно ли тебе сухарики, да, сухарики, и я сидел там со всей своей похотью, и я хотел сердито отвернуться от тебя, но я увидел растерянность в твоем взгляде и убрал волосы с твоего лица, и я сказал, что все в порядке, что это займет время, хотя я не знал, клянусь Богом, что имел под этим в виду, ведь разве я уже давно не доказал, что безоговорочно хочу тебя, но ты смотрела на свои ногти, и мы молчали, пока я не сказал, что мне нужно поработать в коровнике, а потом мне пора домой, и мы сможем увидеться завтра рано утром, хорошо? И ты кивнула и одновременно покачала головой, ты прошептала, что не хочешь, чтобы я уходил, что если я сейчас уйду, ты навсегда покинешь это место, и я почувствовал тьму в твоих словах, ты повторила: *«Я уйду, слышишь, я сделаю это»*. И ты, немного пошатываясь, встала, подошла к шкафу и начала гневно и демонстративно вытаскивать рубашки, а потом запихивать их в спортивную сумку, громко говоря: *«Я ухожу отсюда навсегда*, я *больше никогда не вернусь, никогда больше»*. Ты не останавливалась, пока я не подошел к тебе сзади и не обнял твое горящее от жара нимфеточное

тело, и я знал, что ты должна это сделать, что угрозы ненадолго успокаивали тебя, что ты так отчаянно хотела хоть раз стать потерянной, но все же я не сказал то, что ты хотела услышать: что я не переживу, если ты уйдешь навсегда, что без тебя мир перестанет вращаться, как мячик для пинг-понга с вмятиной — нет, я ничего этого не сказал, моя маленькая беглянка, потому что этой вмятиной была как раз ты.

17

Рано утром мы выехали в райское место. И хотя в парке аттракционов Эфтелинг был только один ребенок, которого я желал, который заставлял мое безнадежное сердце подпрыгивать между ребрами, и хотя я не знал тогда, что этот день станет катастрофой, что мой старший расстанется с тобой на темном аттракционе «Побег в мечту» и уронит свою цепочку с гондолы, плывущей над Чудо-лесом, и твоя сломанная душа упадет вслед за ней к лесным духам, и, может быть, мы с Камиллией могли предвидеть это по тому, как мало он говорил о тебе дома, по тому, как тихо и сердито он сидел рядом с тобой по дороге в парк аттракционов, сцепив руки на груди, хотя в тот момент я был этому рад, потому что боялся мучительной поездки, что я буду нетерпеливо сжимать руль и упорно напоминать себе, что не нужно вглядываться в зеркало заднего вида на ваши слюнявые засосы, но мой сын едва слушал, как ты с энтузиазмом рассказывала, что где-то чита-

ла, сколькими монетками Осел Стрекье[24] какает ежегодно — около двухсот семнадцати тысяч, что Длинношей[25] вытягивает шею шестьдесят одну тысячу раз и что в парке было двенадцать Холле Болле Хэйсов[26] — потом я понял, что это был знак, двенадцать! И я делал отчаянные попытки все наладить, когда вы угрюмо вышли из «Побега в мечту», я тщетно пытался удержать вас вместе, вдруг испугавшись, что иначе ты исчезнешь из моей жизни, и я набивал вас сахарной ватой, пончиками, ломтиками жареного картофеля, словами о том, что порой приходится проявлять стойкость, даже когда это становится не очень приятно, и я сказал, простите мне это клише, что любовь — она как американские горки «Питон», что в ней бывают взлеты и падения, бывают моменты напряжения и уныния; но ничего не помогало, мой сын оставался непреклонным и резко сказал, что он просто больше не любит тебя, и ты стала безутешна, так безумно безутешна,

---

[24] Примечания: 24

Скульптура ослика в Саду Сказок в Эфтелинге, которая какает монетками.

[25] Примечания: 25

Символ парка.

[26] Примечания: 26

Прожорливый персонаж из стихотворения для детей.

и Камиллия долго тебя обнимала, а потом стала отчаянно смотреть на меня, а я пожал плечами, чтобы показать, что я тоже не знаю, что делать, хотя я попытался заманить тебя в Призрачный Замок, к поддельному надгробию Кейт Буш, но ты сказала, что это глупо, потому что зачем идти к фальшивому надгробию кого-то, кто еще не умер? А мой младший чуть позже заблевал всю Виллу Вольта[27], нет, это была роковая поездка, и все же я знал, что после этого дня буду дорожить тобой еще больше, теперь, когда тебе больше не нужно было делить свое сердце на двоих, и я знал, что ты была безутешна только отчасти из-за моего старшего, но больше из-за чувства потери, которое с каждым расставанием поднимало голову и приносило с собой отголосок той аварии, и тогда в твоей голове все рушилось, и эта боль была из такого раннего детства, что ты никак не могла сформулировать ее, потому что в то время алфавиту не было места в твоей голове, а я надеялся, что ты увидишь, что я все еще рядом, я все еще тут, любовь моя! И обратная дорога была почти невыносимой, вы с моим сыном смотрели в разные стороны из окон, моего младшего

[27] Примечания: 27

Аттракцион в Эфтелинге, внутри которого все перевернуто вверх тормашками.

стошнило пончиками в пакет с сувенирами, и я слышал, как ты тихонько всхлипываешь, и мне подумалось, что ты сейчас как певица Warwick Avenue с черными пятнами туши под глазами, и, может быть, ты тоже слушала эту песню в своей голове, и от нее слезы лились еще сильнее, или ты надеялась, что мой сын передумает, потому что читала в газете «Все хиты», что плач девушки смягчает мальчиков; и позже ты напишешь песню специально для него, чтобы вернуть его, сыграешь ее во время своего первого выступления в старой школе на Тестаментстраат, которая превратилась в концертный зал, с тех пор как перестала быть начальной школой, ты там выступила с группой Hide Exception, которую вы основали в восьмом классе вместе с Жюль, Элией и твоим братом, но как бы красиво ты ни пела и ни играла, мой старший был тверд в своем решении; и ты думала, что не сможешь жить без него, твои крылья были изранены еще сильнее, и в тот несчастный день я отвез Камиллию и детей домой, а потом тебя на ферму, перед этим сделав еще одну остановку на Де Роуферстейх за полем с тисовыми деревьями, где позже буду часто парковать свой Fiat, потому что поблизости не было ни души, а тисы скрывали любовный рай, и я пе-

реполз к тебе на заднее сиденье, чтобы взять твои липкие от сахарной ваты руки в свои, я позволил тебе плакать, уткнувшись головой в мою грудь, и сказал, что никогда не причиню тебе боль, что мой сын тупица, что ты заслуживаешь лучшего, и постепенно ты успокоилась: я увидел, что ты расслабилась и сказала, что после болезни ты снова стала птицей, иногда ты просыпалась и находила на простынях перья, красивые и белые, как у полярной совы, и ты сказала, что готова уехать, что это будет твое последнее лето здесь, в Деревне, что ты лишь размышляла о том, как рассказать об этом отцу и брату, хотя ты не думала, что твой брат будет особо спорить, потому что он хорошо разбирался в ласточках и никогда не удерживал их, если они собирались улетать на юг, но твой папа — другое дело, сказала ты, он рухнет на стул в сарае для инструментов, наклонит голову и начнет неудержимо рыдать, а ты положишь руку на его макушку и скажешь, что должна сделать это, что тебе нужно уехать, а он спросит, неужели ему нельзя хотя бы звонить тебе, разочек в день, и ты скажешь, что не любишь телефонные звонки, что тебе жаль, но ты не можешь звонить и летать одновременно, а он переживет еще одну потерю, и ты ненадолго ощутишь, каково это — быть как

потерянный, когда кто-то по тебе плачет; но это не остановило бы тебя, нет, ты бы попрощалась с ним и оставила его среди гвоздей, гаек и болтов, а он бы по-прежнему окликал тебя с надеждой, потому что с легкостью мог починить твой стол или книжный шкаф и думал, что, может быть, ему удастся починить и тебя, он просто не знал, что ты сломана так сильно, что все твои винтики заржавели, он не знал этого, и он бы спросил, как, черт возьми, можно летать, когда все в тебе гремит и болтается, а ты бы улыбнулась и ответила, что в тебе все время что-то тряслось, всегда дребезжало, но никто этого не слышал, потому что у тебя было пушистое оперение, и все звуки были приглушены; и на заднем сиденье я хотел ощипать твое тело от перьев, пока ты не окажешься голой, я бы изгнал из тебя птицу вместе со всеми ее фантазиями, которые ты так самозабвенно рассказывала, но ты уже отвлеклась на сегодняшнее горе и сказала, что когда цепочка с половинкой сердца упала к лесным духам, кажется, что-то в тебе тоже с грохотом покатилось вниз, и ты была не уверена, что оно не лежит теперь рядом со страшными троллями, что Фата-Моргана была твоим любимым развлечением с самого детства, и каждый раз в начале аттракциона тебя поражал

крокодил, который медленно плыл в туннель, он выглядел так реалистично, но ты не смогла увидеть этого крокодила в этот раз, потому что в тот момент ты стояла в очереди, что мы на самом деле всю жизнь проводили в разного рода очередях, и лишь в редкие моменты ты действительно в чем-то участвовала, чтобы потом быстро об этом забыть, и я укусил тебя за ухо, я укусил тебя в шею, и я сказал, что я опасный крокодил, аллигатор из реки Миссисипи, в Московском зоопарке жила одна такая особь, ему был семьдесят один год и его звали Сатурн, он родился в США в 1936 году и вскоре оказался в Берлинском зоопарке и пережил бомбардировки Второй мировой войны: ходили слухи, что он даже принадлежал Гитлеру, и я надеялся, что этот факт подбодрит тебя, я снова сказал, что я крокодил, что я сожру тебя, и я снова поцеловал тебя, я поцеловал тебя, а ты была грустная, такая ужасно грустная.

18

Ты сказала: *«Курт, по мнению Гитлера, я плохой, совершенно некомпетентный народный депутат, я мальчик на побегушках, ведóмый человек, курьер, который больше не держит штурвал»*. И я спросил тебя, кто же твой народ, и ты широко махнула рукой в воздухе, имея в виду всех в твоем маленьком мире: и Жюль, и Элию, хотя ты виделась с Элией только во время репетиций группы Hide Exception, и Лягушонка, и пастора, и церковного сторожа, и твою семью, и всех жителей Деревни и, конечно же, коров; и ты сказала, что для того чтобы стать великим, иногда приходится сделать другого человека маленьким, ты этого не хотела, но это часто происходило в твоей голове, ты фантазировала о том, что ты самая особенная и будет нехорошо, если ты превратишься в своего собственного мальчика на побегушках, потому что ты знала, насколько могущественной тебя делает то, что кто-то другой выполняет для тебя эту работу, и, по мнению Гитлера, не было особого смысла в сожалениях из-за собственных поступков — но ты все-таки делала то, что делала, и, следователь-

но, не стала бы хорошим народным депутатом, ты была слишком мягкой, и тебе иногда вспоминалось, что в начальной школе у тебя был свой собственный последователь, своего рода подданный, только без униформы фрица, его звали Клифф, он был на два класса младше тебя, и ты описывала его как маленького ангела, которого когда-то видела в католической церкви и так и не забыла: он висел над кафедрой голый, и ты могла легко рассмотреть его мраморный пенис, ты сказала, что его член был не таким, как у выдры, и ты спросила преподобного Хорремана, можно ли будет повесить таких ангелочков в церкви на дамбе, для красоты, быстро добавила ты, в ответ пастор сказал, что нагими мы можем представать только перед Господом, и ты не поняла, что он имел в виду, и поэтому иногда представляла, глядя в окна дома преподобного, как он раздевается перед Господом каждую ночь, а затем открывает окна и показывает свое обнаженное тело небу; но нет, ангелочка ты так и не забыла, и твой язычок пробежался по губам, и только тогда я понял, насколько ты одержима рогами мальчиков, и у меня не было времени поинтересоваться, как это произошло, потому что твой голос стал тише и мрачнее, как если бы во время своего

рассказа ты поняла, что означают твои слова, и ты зашептала, что впервые увидела Клиффа в рождественском мюзикле, где ты играла овцу, ты так этого ждала и в течение нескольких недель, сидя в туалете, тренировалась издавать блеянье овцы-текселя, но когда пришло время выступать, у Марии оказалась аллергия на шерсть, и тебе разрешили лишь постоять вдалеке в красивом, сшитом учительницами костюме, посмотреть на сцену рождения Иисуса и крикнуть *бе-е-е-е*, и именно тогда ты увидела Клиффа, который играл младенца Иисуса, внезапно засиявшего такой могущественной красотой, словно ангел в церкви; а после мюзикла ты на четвереньках, как настоящий баран, подошла к яслям и прошептала, хотя на самом деле не понимала, что это значит, что большинство пастырей сами хотят быть частью стада, а значит, могут существовать и овцы, которые хотят стать пастырями, стать вождями, и ты спросила, не хочет ли он поехать домой вместе с тобой, с детьми было так легко, подумал я, и он сказал, что идет домой пешком, но с радостью поедет на багажнике, если твои шины не слишком спущенные, а ты ответила, что твои шины накачаны, потому что каждое утро после аварии отец проверял твой велосипед: нажимал

пальцем на колеса, крутил педали, толкал седло и щелкал динамо-фонарем, и вращал колеса, чтобы загорелась лампочка, и только потом он махал тебе на прощание и шел в коровник — так было каждое утро, даже если ты торопилась, но в тот день ты не торопилась, потому что собиралась везти младенца Иисуса, ангела, домой, тебе придется сделать крюк, и это станет вашим обыкновением — ты будешь возить его домой и чувствовать блаженство от этого мрамора за спиной; все случилось 4 февраля 2000 года, ты помнила точно, потому что в тот день вышла компьютерная игра The Sims, игра, представленная в книге Тони Мотта «1001 видеоигра, в которую вы должны поиграть, прежде чем умрете», и еще в этот день тебе удалось заполучить самую редкую карту Покемонов, карту Сияющего Чаризарда, которая гласила: *«The flames it breathes are so hot that they can melt anything*[28]*».* В тот день ты потеряешь своего мальчика на побегушках, и это было ужасно, сказала ты, вся эта кровь, и ты на мгновение прервалась, а я напряженно ждал, чтобы узнать, что произойдет, и смотрел, как ты убираешь прядь волос за ухо, а затем позволя-

[28] Примечания: 28

Пламя, которым он дышит, настолько горячее, что может растопить что угодно (*англ.*).

ешь ей соскользнуть обратно, чтобы ты снова могла спрятаться за светлые локоны; ты глубоко вздохнула и продолжила: в безумном порыве ты сказала Жюль и Элии, что они смогут посмотреть шоу Иисуса, что это самое красивое зрелище, которую ты когда-либо видела, прекраснее всех игрушек, которые у тебя были, ничто не могло сравниться с ним, и поэтому вы с Клиффом после школы забрались в кусты за навесом для велосипедов, и там ты попросила младенца Иисуса снять штаны, что он, конечно, сделал, потому что был твоим мальчиком на побегушках, а мальчики на побегушках делают все, о чем их просят, и Жюль и Элиа захихикали, когда увидели его маленький писюн, но на этом и все: они нетерпеливо спросили, где же шоу, а ты, все еще пораженная, закричала, что это и было шоу, но они казались разочарованными, и тогда ты изобрела другой план, он только что пришел тебе в голову, как иногда приходили песни, но когда ты думала об этом теперь, тебе стало ясно, что он выявил всю тьму, что таилась у тебя внутри, в твоих генах Гитлера, потому что ты внезапно ощутила алчность, да, ты стала алчной, и, глядя на младенца Иисуса, ты могла думать только об одном: *я хочу этот маленький писюн, он мне больше подойдет*.

И тут все стало серьезно, прошептала ты, для этого нужно иметь смелость, это было так серьезно, что в тот февральский полдень ты расстегнула рюкзак и вытащила пенал, чтобы выудить из ручек и карандашей ножницы, ты передала их Клиффу, дрожавшему от холодного ветра, а затем приказала ему отрезать мальчишеский рог, ты уже представляла себя в ванной с каким-нибудь суперклеем, с помощью которого приклеишь его к себе, и пройдет совсем немного времени, прежде чем ты сможешь пописать стоя, весело думала ты в тот момент, и младенец Иисус не возражал, потому что он сделал бы для тебя все что угодно, и он просунул свой рог между металлических лезвий — хорошо, что ножницы были тупыми, потому что деревенский точильщик для ножей, приболев, сидел дома, и по назначению врача ему было запрещено прикасаться к острым предметам, хорошо, что вмешалась Жюль и остановила его: это было твое первое нападение, сказала ты, и в твоих воспоминаниях кусты стали кроваво-красными, малиново-красными, но с тех пор тебе не разрешили возить ангелочка, возить Клиффа домой, и ты больше не чувствовала его теплую голову на своей спине, когда ехала на велосипеде из школы против ветра через Деревню,

и учительницы беспокоились из-за тебя, но не настолько сильно, чтобы позвонить твоему отцу по этому поводу, потому что они знали, что после утраты потерянного у вас все пошло прахом, а ты этого не понимала, но с тех пор стала фантазировать, что у тебя есть писюн, и я спросил, что ты с ним делала, и ты посмотрела на меня немного раздраженно, как будто это было очевидно, и сказала, конечно же, писала, и я спросил, знаешь ли ты, что еще можно с ним делать, а ты заинтересовалась — что? — и тогда я сказал, что как-нибудь расскажу, или, может быть, покажу, и ты удовлетворенно кивнула, как будто я только что предложил тебе сходить в кондитерскую на Синдереллалаан, где ты иногда покупала соленую лакрицу в порошке — ты окунала в нее мокрый палец, а затем клала его в рот и повторяла до тех пор, пока порошок не начинал слипаться, а твой маленький язычок не становился коричневым, и мы сидели на деревянном заборе на лугу у канала, наблюдали за коровами, пока я ел свой обед и время от времени протягивал тебе свой бутерброд, который ты нетерпеливо кусала, тебе нравилось, когда тебя кормят, ты хлебная крыска, ты любила есть из моих рук, пить из моей бутылки, наполненной домашним бузинным

лимонадом Камиллии; и мы смотрели на льняные поля вдалеке, и я думал, что означало это твое откровение, действительно ли ты ощущала себя плохой, как Гитлер, и я видел, как ты иногда поглядываешь на светлое пятно в траве, туда, где несколько дней назад стояла палатка, где ты еще хотела, чтобы тебя проглотил кит, а я в ту ночь использовал вырванные страницы «Моби Дика» для кошачьего туалета, и я спросил, часто ли ты думаешь о моем сыне, хотя предпочел бы не знать ответа, а ты кивнула и спросила, сложилось ли бы все иначе, если бы у Гитлера была жена, стал бы он таким злым, если бы был влюблен, потому что с тех пор, как ты рассталась с моим старшим, ты злилась на всех, даже на сторожа, который занимался освещением задней части церкви — он словно погружал в темноту не церковь, а тебя, гасил свечи в твоей голове, а я сказал, что Гитлер не мог влюбиться, потому что он не любил себя, а ты посмотрела на меня с жалостью и сказала: *«Я тоже себя не люблю, но именно поэтому я люблю кого-то еще больше. Во мне так много любви и в то же время столько ненависти, что она выходит за пределы моего тела»*. И я не спросил, что именно ты так ненавидела, потому что тогда я думал, что для ненависти нужно тело

взрослого, что ты еще должна подрасти для нее, и я снова протянул тебе свой бутерброд, и повидло оказалось в уголках твоего рта, я положил руку на забор, прижался боком к твоей руке, и ты тут же убрала ее, и на мгновение я снова понадеялся, что у тебя поднимется температура, что я снова смогу лечь с тобой в постель, под одеяло с персонажами «Улицы Сезам»; и я оттолкнулся от забора и осмотрел коров, чтобы проверить, как они ходят, не хромают ли, не исхудали ли, но они отлично выглядели, и это меня радовало, я хотел вернуться к забору, но тебя уже не было, и я осмотрел луг и увидел, как ты лежишь, растянувшись там, где трава пожелтела, пятно было размером с двойной матрас в задней части моего «Фиата»; ты смотрела в небо, и я спросил, что ты делаешь, ты развела руки и театрально процитировала фразу из «Оно»: *«Они летают, — прорычал он, — они летают, Джорджи, и когда ты окажешься здесь, внизу, со мной, ты тоже полетишь».* Коровы кружили вокруг тебя, и я не был уверен, стоит ли мне лечь рядом; я посмотрел через плечо, но не увидел во дворе ни твоего отца, ни брата, они, вероятно, бланшировали собранные бобы и складывали их в пакеты для заморозки, чтобы по понедельникам вы могли есть фасоль, и ты

снова повторила: *«ты тоже полетишь»*. Я ничего иного не желал, кроме как летать с тобой, поэтому я лег рядом на примятую траву, и нас окружили коровы, они образовали вокруг нас стену, за которой нас больше не было видно, мы смотрели на небо цвета чертополоха, и я ответил цитатой, тоже из Стивена Кинга: *«Было проще быть храбрым, когда ты был кем-то другим»*, — и ты улыбнулась, ты подумала, что это чудесная игра слов, мы лежали близко друг к другу, и я чувствовал запах травы, коров и твой запах, и ты сказала мне, что когда тебе исполнилось четыре года, у тебя вдруг случился всплеск роста, и пришлось каждую неделю ездить в соседнюю деревню к какой-то даме, чтобы она делала с тобой упражнения, но уже тогда стало ясно, что ты тянешься прочь от солнца, а не по направлению к нему, и хотя внешне она все поправила, внутри тебя все оставалось шатким и искривленным, и иногда по рюкзаку с учебниками все еще можно было понять, что одно плечо у тебя было немного ниже другого; и ты продолжала: некоторые люди рождаются слепыми, а другие сразу же открывают глаза, потому что знают, что иначе слишком много упустят, но поскольку они знают об этом, они как раз все и упускают — иногда лучше быть

невежественным, тогда ты видишь гораздо больше; и ты спросила, каким я родился: слепым и невежественным, или с открытыми глазами, и я ответил тебе, что я пришел из темного материнского лона, чернильно-черного лона, и впервые я увидел, как ты съежилась от слов «материнское лоно», ты побледнела, и я спросил, в порядке ли ты, и ты сказала *«да-да»*, и снова переключилась на Гитлера, на то, как он сидел в кресле у окна чаще, чем Фрейд, и долго смотрел на тебя, положив левую ногу на правую, он был в черных сапогах со свастиками на голенище, на их подошвах всегда оставалась грязь, словно он брел сквозь лес внутри твоей головы, и ты хотела хорошо заботиться о своем народе, как президент Соединенных Штатов, как Джордж Буш, но более бережно, и ты спросила, знаю ли я, что Буш променял алкоголь на Библию и только изредка пил солодовое пиво, что нам, людям, часто приходится находиться под каким-то влиянием, чтобы вытерпеть эту жизнь — ты жила под влиянием сладкого, *The Sims* и птицы, и ты спросила, что влияет на меня, и я ответил именно так, я сказал: «*Я под твоим влиянием, моя дорогая питомица*». Я скосил глаза, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь: ты на мгновение коснулась своей ноздри, потому что

на нее приземлилась толстая навозная муха, а затем сказала, что «питомица» — красивое слово, да, отличное слово, и ты не ответила на мое признание, ты стала бы никчемным президентом, моя детка, но мне было наплевать; тебе, кажется, понравилось слово, которое я для тебя выбрал, и ты сделала глубокий вдох, чтобы что-то сказать, но я прижал ладонь к твоим губам, я попросил тебя перестать сыпать цитатами и начать говорить то, что ты действительно хочешь сказать, и твои глаза увлажнились, но слезы из них не потекли, ты сказала, что тебе часто бывает одиноко, несмотря на воображаемую публику в голове, что иногда ты чувствуешь себя как картофелина глубоко под землей, что ты росла только в темноте, что ты часто мечтала о свете, о прожекторах, но еще ты знала, что они тебя ослепят, что слава, которую ты найдешь, будет расти только в том случае, если ты закопаешься еще глубже, если задушишь саму себя, и я сквозь запах травы и коров почуял твой страх; в ту ночь ты впервые сыграла в концертном зале на Тестаментстраат, и ты была великолепна, ты была ослепительна, когда стояла там с губами, голубыми от «Блю Кюрасао», твоего первого коктейля, который я тайно заказал для тебя, Жюль и Элии и кото-

рый ты осторожно потягивала; мы с Камиллией стояли впереди и захлопали громче всех, когда вы вышли, пока не стало неловко, потому что я знал, что тебе это понравится больше всего, и вы сыграли Teenage Dirtbag группы Wheatus и My Generation The Who, затем последовала твоя собственная песня, и все участники группы вокруг тебя исчезли, ты стояла в центре внимания, как какое-то небесное создание, настолько свободная от всех своих странностей и страхов, и внезапно я болезненно осознал, что ты поешь эту песню не для меня, а для моего старшего сына, что я всего лишь рана, рана внутри тебя, и я проблеял Камиллии, что схожу выкурить сигарету, меня мутило, я протискивался сквозь толпу, промямлил слова приветствия твоему папе, который стоял сзади, разговаривал с другим фермером про погоду и почти не смотрел на тебя, и вывалился на улицу среди пьяных подростков, ощущая, что для них я всего лишь пожилой господин, который захотел снова почувствовать себя молодым и поэтому пришел на концерт, и их взгляды стали твоим взглядом, и у меня еще больше закружилась голова — от моих желаний, моих вожделений, от того, как сильно я хотел закричать там, у сцены, что это моя дорогая питомица, но ты искала глазами

своих одноклассников, моего сына, рабочих с фермы, которые внезапно стали проявлять к тебе интерес теперь, когда ты показала то, что носила в себе все это время, и все они увидели небесное создание с голубыми губами, но я-то знал, кто ты на самом деле, как близко ты все принимаешь к сердцу, какое море скрывалось за твоей хрупкой спиной, и я слышал, как толпа кричит *«бис»*, и вы знали, что так будет, и оставили лучшее напоследок, одну из твоих любимых песен, All the Small Things американской группы Blink-182 с ее прилипчивой мелодией, и я слышал, как ты поешь высоко и искристо: *«Say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me home, keep your head still, I'll be your thrill, the night will go on, my little windmill*[29]*»*. В припеве все начали танцевать, кроме твоего отца, он ушел посреди вечера и поехал домой вдоль реки и так и не сказал тебе, что он думает о твоем первом выступлении, он просто спросил на следующее утро, поздно ли оно закончилось, весь его мир вращался вокруг времени, вокруг погоды, вокруг животных и растений, вокруг потерянного, и так мало — вокруг тебя, и после

[29] Примечания: 29

Скажи, что это не так, я не уйду, выключи свет, отведи меня домой, охлади голову, я буду твоим кайфом, ночь будет продолжаться, моя маленькая ветряная мельница (*англ.*).

ошеломляющих последних аплодисментов ты в эйфории выбежала на улицу и притворилась, что тебя не волнует, что твой па уехал, ты упала мне на руки и сказала: *«Я буду твоим кайфом»*. Я грубовато оттолкнул тебя, как если бы отталкивал игривого теленка, который мешал мне работать, и мне не хотелось, чтобы он стал слишком сильным, и мне нужно было показать, кто в доме хозяин, а ты расстроенно спросила, почему я так поступил, разве ты сделала что-то не так, а я не мог тебе ответить, я не мог сказать, что ты сама — это все, что было не так: ты была огнем моих чресл, и он так мучительно опалял меня, ты была моим алкоголем, моей сладостью, я хотел, чтобы ты пела обо мне, а не о моем сыне, — хотя это как раз произошло намного позже, когда ты назвала свой первый альбом в мою честь и затем поставила номер моего дела, «Kurt12», а присяжные слушали его и с серьезными лицами делали выводы, а мы с Камиллией читали о тебе в газетах с лирическими заголовками, потом она швыряла их в мангал для барбекю, ты сгорала в нем, и все мясо, которого касалось твое пламя, становилось на вкус как ты; но все это случится намного позже, а пока мы стояли друг напротив друга, как ночные кошки во время гона, и ты

развернулась, покачиваясь от «Блю Кюрасао», покачиваясь от чувства непобедимости в груди, от мира, лежащего у твоих ног, хотя ты знала, что скоро снова погрузишься в темноту, что как только наступит утро, ты снова попадешь в стаю скворцов и снова станешь одним из них, хотя сейчас ты чувствовала себя великой и особенной, избранной, на улицу вышла Камиллия и вы радостно одарили друг друга тремя поцелуями, которые она позже назовет поцелуями Иуды, но в тот момент вы были счастливы и шумны, и внезапно мне стало все равно — наплевать, черт возьми, что сорокадевятилетний мужик стоял посреди разгула шумных подростков, которым все еще приходилось криком заявлять о своем праве на существование среди себе подобных, которые напивались до полусмерти, потому что знали, что их жизнь однажды станет скучной и предсказуемой, наплевать, я любил тебя, так любил, *моя маленькая ветряная мельница*, нам с тобой суждено быть вместе, и я прошептал тебе на ухо, наполовину пьяно, наполовину искренне, что ты никогда не должна вырастать, слышишь меня: никогда. И я вернулся и танцевал до упаду.

19

Должен признаться: после истории с пенисом ангелочка я оказался в затруднительном положении, мой дорогой питомец. О, как мне хотелось исполнить твое необузданное желание получить мальчишеский рог, как мне хотелось увидеть жар и похоть в твоих глазах, увидеть твой маленький красный язычок, скользящий по губам, и иногда в своих фантазиях я видел, как ты у себя в кроватке превращаешься в Лягушонка или самца выдры, и тогда я снова чувствовал тепло твоей мочи через одежду, чувствовал ее запах — я помог бы тебе прицелиться, я нарисовал бы перманентным маркером в унитазе голову улыбающегося поросенка, от которого мои сыновья в свое время приходили в восторг и изо всех сил старались в него попасть, я бы сказал тебе, что поросеночек хочет, чтобы его помыли, я держал бы тебя за бедра, чтобы ты не промахнулась, но еще больше я хотел показать и заставить почувствовать, что с твоим рогом можно делать намного больше, чем писать стоя, хотя ты знала об этом больше, чем я мог предположить, отчасти благодаря журналу «Все хиты», а еще — Элии и

Лягушонку, которые в обмен на сладости рассказывали грязные истории, хотя в конечном итоге я перепутал обладание знаниями и готовность к практическим занятиям, и в то же время я не мог вынести мысли о том, чтобы втянуть тебя в лелеемое мной вожделение, что я стану причиной очередного резкого всплеска роста, к которому еще не готова твоя одежда, особенно после истории о члене ангелочка, который ты так по-детски и наивно оплакивала; к тому же мой собственный член давно не был похож на ангельский и даже отдаленно не напоминал трубочку со взбитыми сливками, как у вскрытого самца выдры — я не знал, с чем его сравнить, потому что все сравнения звучали плоско и уродливо, и я не смог бы вынести, если бы ты отшатнулась от него, если бы взглянула на него с разочарованием или ужасом, как ты посмотрела на зельц[30], который твой папа положил на хлеб и полил сверху яблочным соусом, а ты рассказала обо всех отходах после убоя свиней, которые запихивают в эти сероватые ломтики, что это бутерброд со злом, и я бы не хотел, чтобы ты посмотрела на мой рог: позвольте мне придерживаться метафоры

[30] Примечания: 30
Блюдо, похожее на свиной холодец.

с оленьим рогом, с отростком на черепе там, где начинается рог, который называют розеткой, — так вот, я не хотел, чтобы ты так смотрела на мою розетку, нет, я хотел изумления, хотел жадности, с которой ты ухватилась за пенис выдры, хотел, чтобы ты подержала мою розетку в своей детской ладошке, а я бы позволил тебе бестолково сыпать цитатами из «Оно»; мне бы не было больно, если бы ты крепко сжала мой рог, как иногда хваталась за сосок на вымени коровы, чтобы выдавить молозиво после того, как она отелилась — это было восхитительное зрелище, да, оно приводило меня в полную эйфорию, но все же я боялся отказа, отвержения, которые ощущались, как воображаемая кастрация, и только сейчас я понял, что уже испытывал ее раньше, эту воображаемую кастрацию: у оленей кастрация приводит к потере рогов, после чего сразу же начинают расти новые, неправильной формы — их называют опухолями, я был таким оленем с опухолью, животным, которое после отказа в шестнадцать лет, когда мое тело и разум были настолько измучены, что я больше не понимал, хочу ли я убить свою мать или вожделею ее, заполучило это уродство, и, может быть, теперь я буду отправлен на свою вторую, реальную кастрацию, но ох как я желал,

чтобы ты обхватила рукой мой рог-убийцу (так называют рог оленя, когда он становится острым на кончике), но мой героический настрой отвести тебя во дворец любви каждый раз слабел от твоих «уважаемый господин» и вечных обращений на «вы»; как я мог взять тебя в чудесный мир мальчишеских рогов, если наравне с теми редкими моментами, когда ты звала меня Куртом, ты продолжала обращаться ко мне с ужасной укоренившейся церемонностью, оставляя между нами соленое море, и я едва осмеливался поцеловать тебя, когда мы оставались одни, а затем в конце дня, дрожа от похоти, бросал Fiat на парковке на углу фермы, поспешно перелезал на заднее сиденье и разряжался в обертку от батончика Mars, воображая, что моя рука принадлежит тебе — с тех пор я проводил в машине все больше и больше ночей, а Камиллия думала, что я на вызове в Германии, хотя ей казалось странным, что мне приходилось ездить туда все чаще, но я сказал, что немецкий скот не самый простой в обхождении, и ей это показалось забавным, и пока она находила в этом что-то забавное, берег был чист, и поэтому каждую ночь второпях я съедал что-нибудь из McDonald’s, который находился недалеко от Эйфаплантсун в городе, я

заказывал двойной Биг Тейсти и картошку фри, которая становилась холодной и квелой, когда я приезжал на свое обычное место под тисами, ну да ладно, я не возражал, картошка фри — это всего лишь картошка фри, важнее было оставаться как можно ближе к тебе, вдыхать твой сладкий аромат, когда ветер дул в подходящем направлении, то, что мы смотрели на одну и ту же сторону луны; но этот твой «уважаемый господин» сердил меня все сильнее, иногда я злился на тебя из-за него, и я видел, как ты замялась, когда принесла ведро с теплой водой и куском зеленого мыла, ты умела безупречно чувствовать, когда что-то было не так, когда кто-то относился к тебе по-другому, и я понял, что чем большую дистанцию я буду держать, тем ближе ты подойдешь, о да, я знал: ты боялась, что я уйду, — поэтому ты снова включила актрису, подхватила мой сценарий и присела у ведра на корточки, взяла мои измазанные руки в свои, окунула их в воду и провела куском мыла по моей коже; ты мыла их, пока они не стали чистыми, и мы сидели посреди коровника на корточках у ведра, и ты ничего не говорила, ты просто смотрела на меня, так ослепительно нежно улыбаясь, ты смачивала и мылила мои ладони, а потом вытерла их одну за

другой жестким полотенцем, ты смыла с меня всю нерешительность, и я чувствовал, как внутри комбинезона пульсирует рог-убийца, мы осмотрели новорожденного теленка, и ты рассказала мне, что иногда завидуешь связи коровы-матери с дочерью-телкой, той естественности, с которой она облизывала своего ребенка и убирала с него слизь, и ты рассказала, что на прошлый День Королевы испытала такую же зависть к Виллему-Александру и Беатрикс, что какое-то время ты хотела, чтобы она стала твоей матерью, и ты, должно быть, вспомнила об этом, когда я повесил постер с королевой в кузове фургона: та, что могла служить целой нации, смогла бы позаботиться и о тебе, и кроме роликов с Башнями-близнецами ты часто смотрела ее коронацию 1980 года, которую твой па записал на видео, точно так же, как тот сентябрьский теракт и все другие взлеты и падения истории, — и ты множество раз наблюдала за Беатрикс, как она стояла в королевском плаще с горностаем, произнося красивую речь, как она немного замешкалась перед словом «Господь» и слегка приподняла подбородок, чтобы было легче произнести его, создав впечатление, будто она не вполне убеждена в том, что Он собирается ей помогать, скорее все будет наоборот, это она

поможет Ему, она отчеканила текст присяги, которую ты позже будешь часто повторять перед зеркалом со скатертью, накинутой на плечи: «Да поможет мне Господь Всемогущий». А еще ты рассказала мне, что однажды в День Королевы на барахолке во дворе начальной школы тебе удалось приобрести ролики со светящимися колесами по смехотворно низкой цене, ты их берегла и полировала до блеска, хотя уже тогда знала, что никогда не будешь на них кататься: ты слишком боялась повредить их, боялась трещин в купленной радости, боялась потерять их, хотя постоянно проверяла застежки на прочность: ты знала, каково это — потерять самую прекрасную и самую драгоценную вещь, какой только можно владеть, это могло внезапно случиться и с тобой, хотя пряжки были настолько тугими, что оставляли вмятины на коже, и только потом ты увидела повтор снятых на видео беспорядков после коронации 1980 года[31], как будто у этого праздничного дня, как у томпуса[32], было две стороны: одна с красивой глазурью, а вторая —

[31] Примечания: 31

Бунт кракеров против выселения из занятых зданий в Амстердаме был приурочен к коронации Беатрикс.

[32] Примечания: 32

Слоеное ванильное пирожное с глазурью.

уродливая с миллионом дырочек. Сквозь завесу от дымовых шашек ты видела лозунги, намалеванные белой краской на стенах города, и тоже в своего рода протесте заявила, хоть и не совсем понимая, против чего протестуешь, что в тот день решила стать сквоттером в своей собственной комнате — это было легко, потому что никто кроме тебя в нее и не заходил, но это дало тебе некую свободу, о которой ты мечтала: свободу владеть чем-то, что никто не мог у тебя отнять; и ты решила выбрать Беатрикс своей матерью и поверить в нее, как ты верила в Бога, в женщину, которая играла в игру «поймай зубами кекс», которая так мило махала рукой, что было невозможно удержаться и не помахать в ответ, хотя ты ненавидела это делать и предпочитала держать руки в карманах брюк, и с тех пор ты заводила в своей комнате долгие-предолгие монологи, обращенные к Ее Величеству: о том, как тянулись твои дни, некоторые из них, словно тюки с силосом, были покрыты плесенью, о твоем па и о брате, изредка — о потерянном, и обо всем, что происходило в Деревне, но чаще всего — о том, что *не* произошло, об этом было проще рассказывать, эти истории были как-то весомее, потому что ты считала правду незначительной, а порой

— слишком тревожащей, и не хотела, чтобы она волновалась, потому что слишком взволнованные королевы не могут служить своему народу или управлять страной, они становятся такими же неуверенными, как куплеты гимна, которые идут за первыми двумя и которые никто не может вспомнить, они исчезают в учебниках истории, и ты хотела избавить от этого королеву — рассказывала жестокие истории о Второй мировой войне, о своих беседах с Фрейдом и Гитлером, а еще о том, что ты лучшая в школе и успеваешь по всем предметам, из-за чего учителя хотели поместить тебя на доску почета между кубками с турниров по настольному теннису; ты была главным достоянием начальной школы, шутила ты, и именно тогда ты начала писать лозунги на английском, легко нажимая карандашом на обои, чтобы их можно было прочитать только вблизи, фразы вроде: *Я одинока, но не настолько, чтобы одиночество стало моим другом.* Или: *Я солдат в своих собственных битвах.* И: *Свободна, но не освобождена.* А также: *Моя радость подобна рыбе: каждый раз, когда я становлюсь слишком алчной, я давлюсь ее косточкой.* А потом ты воображала, что Беатрикс однажды заедет в гости и поднимется в твое кракерское жилье, зало-

жив руки за спину, не улыбаясь так натянуто, как в День Королевы, более заинтересованная или, может быть, даже серьезная, как во время ежегодной рождественской речи, в которой она иногда говорила, что ей невероятно важна судьба планеты, затем клала руку на грудь, как будто желая убедиться, что кракеры не завладели ее сердцем, потому что в сердце доброго человека тоже можно жить, в нем бесчисленное множество комнат, и королева читала бы лозунги на твоей стене и кивала, много кивала, затем села бы на край твоей кровати в белом костюме голубя мира и похлопала бы рукой по одеялу рядом с собой в знак того, что тебе можно присесть рядом с ней, и, конечно же, ты бы не стала мешкать, воскликнула ты с энтузиазмом, и, оказавшись рядом с ней, ты бы почувствовала запах ее духов и обнаружила, что они пахнут карамельками, и вы бы говорили о жизни, о школе, о мальчиках, и иногда она клала бы руку тебе на плечо; но каждый раз, когда ты привыкала к этому прикосновению, в твоем воображении она внезапно вставала, и как бы ты ни пыталась направить эту фантазию по другому пути, она заявляла, что ее зовет долг, народ, ее дети, хотя в твоей комнате было так тихо, что ты могла слышать шелест ма-

шин на шоссе, который, если приложить немного воображения, звучал почти как шелест моря, а потом ты говорила: *«Трикс, это я твой долг, твой народ, твое дитя»*. Она нежно улыбалась, слегка щипала тебя за щеку и извиняющимся тоном говорила, что однажды ты все поймешь — взрослые так часто говорят, — но ты и так все чертовски хорошо понимала, хотя предпочла бы оставаться в неведении, и твой взгляд стал печальным, когда ты закончила свой рассказ о том, как она надела свой королевский плащ с горностаевым подбоем и вышла из твоей комнаты, потому что королевы должны уходить, потому что они никому не принадлежат: ни государству, ни даже себе самим — а ты осталась со всеми своими лозунгами, со своими сраными лозунгами, прошипела ты, с отполированными роликовыми коньками, которые берегла так долго, что они стали малы, и все так и продолжалось, а потом ты красиво сказала: *«Все становится меньше и теряет свою ценность со временем»*. Когда в апреле прошлого года ты прикалывала бутоньерку к груди принца, тебе пришла в голову мысль проткнуть его костюм иглой, попасть в самый центр его души, хотя ты испугалась этой фантазии, боялась, что Виллем-Александр от этого умрет, — но тогда ты могла

бы занять его место, и это стало бы твоим вторым нападением, и я не сказал тебе, что я тебя понял, что я мог видеть, как в тебе растет потребность, видел, что ты заражена до самой сердцевины, до самого корня, как некоторые пораженные коринебактериями клубневые, декоративные и овощные культуры, которые разрастаются и развиваются с дефектами и заражают весь сад или почву теплицы, но ты страдала не только от этой болезни, но еще от фитоплазмы, у роз на нее указывают проблемы с ростом, потребность все больше росла над изгородями твоего тела; нет, я встал, размял занемевшие ноги, попросил тебя встать, а затем крепко прижал к себе твое сиротское тело.

20

Все чаще и чаще я обувал кроссовки, чтобы в беге выпустить из груди яд и безумие. Как дурак, я носился по улицам, пытаясь думать о твоей абрикосовой коже, о твоих молодых и захватывающих дух лопатках, твоей спине, которая была шире сверху, как у всех пловцов, твоей жизнерадостности, все еще такой игривой и свободной от разврата — конечно, ты пока была ребенком, но я видел, когда следовал за тобой до бассейна, как менялось твое поведение рядом с парнями, я видел, как ты начинала идти ровнее, как стояла рядом с ними, словно землемерный колышек, ты и была колышком, и ты хотела обозначить территорию, и я беспокоился из-за проблемы с мальчишескими рогами и из-за того, что ты самозабвенно и соблазнительно вилась вокруг «милых мальчиков», как ты их называла с тех пор, как я прочитал тебе «Милых мальчиков» Реве, и мне приходилось сдерживаться, чтобы не засигналить в попытке уберечь тебя от злокозненных рук, ха, как неоднозначна была эта мысль! Я почти слышу, как присяжные радостно хихикают, когда записывают: «Хотел спасти ее

от злокозненных рук, но свои конечности он таковыми не считал». Но это правда не так, дорогой суд: я знал, насколько отвратительны мои мотивы, я был безумцем, мудаком, но я правда думал, что тебе будет лучше со мной, чем с этими хулиганистыми и насмешливыми милыми мальчиками, и я пробежал по польдеру, мимо насосной станции, по Приккебэйнседейк к ферме Де Хюлст, остановился напротив вашего двора рядом с резервуаром с дезинфекционным раствором, который был установлен после эпидемии ящура, и я хотел вымыться в этом растворе, полностью продезинфицировать себя, я упирался в колени, чтобы перевести дух, чувствуя, как волдыри на ногах снова закровоточили; Камиллия знала о моих ночных соревнованиях с прыгающими пехотинцами, но ничего не говорила, по утрам она занималась моими мозолями, которые оставляли пятна крови на простыне, и иногда мне хотелось яростно толкнуть ее, злобно спросить, почему она это делает, какого черта она лечит монстра, но тогда мне пришлось бы признаться и в том, что меня беспокоило, что съедало меня изнутри, как будто я одна из тех овец, которых я лечил и слишком часто не успевал спасти — они были полны личинок, эти личинки медленно сожрали

все мои органы и теперь принялись за мою душу, и я потерял бы все, а главное — тебя, мое томление закончилось бы словами моего любимого стихотворения Т. С. Элиота «Полый человек»[33], все строфы которого я мог продекламировать по памяти, хотя последние слова лучше всего подходили нашему концу: «Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип». Я всегда чувствовал себя Полым Человеком, и без тебя я бы им стал, Боже, как же я буду плакать, потому что ты была светом, огнем, и я опять смотрел на окно твоей спальни, был час ночи, но над гостиной все еще горел свет, и я представил, как ты, прочитав несколько страниц из серии «Мурашки» Р. Л. Стайна с этими их уродливыми обложками и блестящими заголовками, дрожа от ужастика, встаешь на край кровати и раскидываешь руки, как ты тренируешься взлетать и становишься птицей, ты сделала несколько попыток, а затем выключила ночник и сложила крылья для отдыха, и я ждал, пока ночник не погаснет, и только тогда, успокоившись, побежал дальше по Фонделингсвэх и Тестаментстраат, по велосипедной дорожке под виадуком, упрямо продолжая наши разговоры у

[33] Примечания: 33

Повествователь ошибается в названии стихотворения, оно называется «Полые люди», строчки далее — пер. А. Я. Сергеева.

себя в голове, чтобы не видеть кошмаров из моего сна, я думал о том, как ты сказала мне, что впервые стала птицей после аварии, когда одна из учительниц дала тебе книжку «Лягушонок Квак и птичка» Макса Фелтхёйса, после того как твой папа не проронил ни слова о произошедшем, в то время как эхо несчастья все еще грохотало у тебя в ушах; он видел, что ты неделями сидишь на диване с этой книгой, ты не понимала ни слова, но отлично понимала картинки, пролистывала их столько раз, что обложка оторвалась и свисала с книги, как молочный зуб, все еще прикрепленный к плоти, и ты объяснила мне, что книга была про лягушонка и поросенка, которые находят на опушке леса птичку: она лежала, подняв лапки в воздух, как рано или поздно заканчивают все птицы, и Лягушонок указал на землю и сказал Поросенку, что птичка-дрозд поломана, что она больше не взлетит, и здесь все пошло не так, сказала ты — когда ты, наконец, смогла прочитать ее, ты была расстроена, потому что все в ней было неправильно, *знаешь, почему неправильно*, яростно спросила ты, и я покачал головой, а ты прошептала, словно это был секрет: «*Мертвого человека нельзя поломать, мертвый мертв, вот и всё. Поломаны те, кто остался жить. Разлома-*

ны на тысячи кусочков». Тебе пришлось честно признаться, что книга разозлила тебя, так разозлила, что ты оторвала болтающуюся обложку и потом снова склеила ее; ты разозлилась, потому что в ней говорилось, что сломан только тот, кто мертв, однако неисправными оставались многие живые, и ты не знала, скрывалась ли неисправность и в тебе тоже, но ты не работала так, как должна; еще в рассказе говорилось, что смерть была голубым небом, но для тебя небо было полно жизни, ты каждый день видела, как в нем носятся ласточки, воро́ны, дрозды и мухи — нет, это земля была последним вздохом, яма в земле для уличной кошки, для курицы-несушки, для потерянного, но для некоторых вещей нельзя выкопать яму на берегу реки, засыпать ее и раскидать на ней цветы, нельзя было произнести торжественных слов, которые заяц в книжке сказал о птичке: что-то о том, что она всю жизнь прекрасно пела и теперь ушла на заслуженный отдых; ты не могла даже сказать, что ты по кому-то скучаешь, как можно скучать по тому, кто еще жив, еще ходит по этой земле, но не скучает по тебе, и ты не могла закричать, как Лягушонок из книжки: *«Разве жизнь не прекрасна!»* А потом они играли в прятки, и ты призналась, что, по-твоему,

это самая лучшая часть в книге, даже трогательная, потому что тебе показалось хорошей идеей играть в прятки после каждого прощания: когда вы находите друг друга вновь, вы понимаете, насколько важно, чтобы другой человек все еще существовал, потому что на какое-то время вы остаетесь друг без друга, он или она исчезает, и вы чувствуете ледяной сквозняк, который возникает, когда вы кого-то ищете, но не можете найти, так происходит с мертвыми и с теми, кто тебя покинул и теперь навеки потерян, ты ищешь повсюду как сумасшедший, во всех углах; и только тогда я понял, что потерянный и покинувшая — не один и тот же человек: одного у тебя забрала смерть, а другую — жизнь, один разорвал тебе душу, а другая оставила тебя ужасно беззащитной, и это сделало тебя настолько несчастной, что тебе нужно было стать великой, и ты подумала, что птички лежат, подняв лапки в воздух, чтобы показать Богу мозоли под когтями, чтобы Он мог видеть, сколько часов они налетали, и только после этого решал, что с них уже хватит, что птичка Макса Фелтхёйса готова закончить свои дела: она достаточно долго летала и свистела, но столько птиц пролетели и спели недостаточно — иногда ты хоронишь кого-то, кто налетал слишком мало

часов, и это самое ужасное; но благодаря той книжке ты стала птицей, из тех, что умеют менять цвет, в одно мгновение твое оперение было черным как смоль, а в следующее — серым или совершенно белым, ты ждала своего полета, хотя порой не была уверена, сколько летных часов для тебя наметил Бог и далеко ли ты сможешь улететь, сможешь ли добраться до южных стран; у тебя было довольно много мозолей на ногах, и иногда это тебя беспокоило, и тогда я тебя не спросил, по кому ты так скучала, кто покинул тебя, что теперь ты так страстно мечтала стать той, кто улетит, что все чаще угрожала уйти, и твой чемоданчик цвета зеленого мха всегда стоял наготове за дверью спальни, даже если ты ни разу не уезжала дальше того фонарного столба, где был сломан потерянный, и ты все чаще мертвой птицей лежала на спине на лугу, печально и потерянно крича: *«Я мертва, я совсем мертва»*. Я был готов достать из ветеринарной сумки тонкий скальпель, чтобы аккуратно срезать мозоли с твоих ног, чтобы показать тебе, что еще не время уходить, но ты бы заплакала, что я не Бог, и я действительно не Бог, но я бы пошутил, что я хорошо Его знаю, что мы друзья, и Он приказал мне назначить тебе дополнительные летные

часы, да, Он правда так и сделал, и каждый раз, когда ты будешь угрожать своим отъездом, я буду удерживать тебя, именно этого ты и хотела — чтобы кто-то удерживал тебя на земле, чтобы ты не стала самолетом, пронзающим башню, потому что ты сама чувствовала себя пронзенной, и в тот раз, когда ты снова лежала на лугу словно мертвая, я сказал, что с этого момента пилотом буду я и что пилот решает, взлетит самолет или нет, что перед взлетом еще нужно провести техническое обслуживание, разобраться с винтами, шасси и навигационными огнями, и ты, казалось, почувствовала облегчение, ты даже улыбнулась и села, больше не изображая мертвую птицу, и ты серьезно сказала: *«Курт, нам придется отложить полет до условленного времени, потому что как только ты взлетишь, передумать будет трудно»*. Ты пояснила, что никогда не видела перелетных птиц, которые раздумывают в небе, потому что те, кто раздумывают, с большей вероятностью рухнут на землю, потому что в полете главное не умение летать, главное — думать, что умеешь летать; ты думала, что умеешь, но добавила, что я был прав: взлетать без подготовки — это путь дураков, сперва нужно создать ветер; в тот момент было так безветрен-

но, что даже листья не качались, и я посмотрел на тебя, на мудрое существо, которое при этом жило в своем фантастическом мире, ты была как птица чомга, измазанная маслом, оно пристало к тебе намертво, и как бы я ни пытался отмыть тебя дочиста моющим средством, казалось, что я лишь глубже втираю жирное масло в перья; эта работа требовала много времени, и руки у меня были грязными, однако я все еще ждал, когда ты ответишь на мои усилия любовью, но сила, с которой ты боролась, доказывала, что чомга все еще сильна, что твои шансы на выживание слишком велики, чтобы рухнуть в мои объятия — я знал по птицам, угодившим в масло, что после спасения их нужно неделю держать в укромной освещенной теплице, чтобы они могли восстановить естественный слой жира, поэтому я согревал тебя, чтобы дать тебе свободу, чтобы ты почувствовала, что не можешь жить без меня, без своего пилота, и я думал об этом, когда бежал сквозь ночь, и мои мысли постоянно возвращались к тебе, и, только пробежав три улицы, я понял, что за мной следят; я был так увлечен историей Лягушонка и птички, что долго ничего не замечал, но вдруг сзади послышались шаги, они грохотали по теплому асфальту и становились

все громче и громче, и когда я, наконец, осмелился оглянуться, я увидел пушистого цыпленка из моих кошмаров, бегущего за мной на длинных ногах, и я крикнул через плечо, чтобы он оставил меня в покое, и сразу почувствовал себя идиотом: бегаю посреди ночи, кричу на воображаемого цыпленка, присяжные позже будут в восторге от этого, но огромный цыпленок был быстрее, он с легкостью догнал меня и сказал: *«Иди домой, Курт, иди домой!»* Я спросил у птицы, что она здесь делает, почему она меня беспокоит, и увидел, как кровь стекает с моих белых кроссовок, но мне было все равно, я бежал и бежал, и рухнул в кошмар той ночи, когда мать в фартуке сидела на краю моей кровати и медленно скатывала блин, это были примирительные блины, я сразу понял это по жирному и душному запаху, и она сказала, что ей очень жаль, что завтра она будет стараться лучше, чем старалась сегодня, и что я такой возмутитель спокойствия, она засунула мне в рот конец скалки, и я вяло ее жевал, чувствуя, как на воротник моей пижамы и на шею с нее капает сироп, я хотел что-то сказать, но мой рот был полон, и вдруг крупными каплями пошел дождь, и я тонул, я тонул в нем, я делал гребки руками, но он был настолько липким и густым,

что я не мог двигаться вперед; и я чувствовал, как воздух медленно уходит из моих легких, чувствовал, как щеки наполняются льющимся сиропом, пока внезапно на другую сторону моей кровати не сел мертвый фермер, он улыбнулся мне и протянул свою синюю руку, но каждый раз, когда мои пальцы почти касались его, он отдергивал их: как он мог мне помочь, если я не смог помочь ему, подумал я тогда, подавился сиропом и проснулся от кашля; на бегу я выкашливал из себя безумие, и внезапно перестал понимать, где нахожусь: улицы показались мне незнакомыми, я начал ходить кругами, и от этого всего у меня закружилась голова, я был измучен, но как раз в тот момент, когда я был готов сдаться, хотел упасть на траву рядом с детской площадкой, я увидел желтого цыпленка, возвышающегося над домами, и сразу понял, что нужно бежать туда, что дом Полого Человека там, хотя потом я не хотел признавать, что эти ужасные присяжные могли быть правы, что цыпленок действительно олицетворял новое рождение, но я-то как раз не хотел рождаться заново, о нет, я хотел жить в тебе, только в тебе.

21

Когда я засовывал руку в перчатке во влагалище коровы, я не мог представить, что позже вечером снова почувствую то же тепло. Тепло коровы смешается с теплом ребенка, я овладею тобой и оставлю в тебе свою грязь, оплодотворю тебя идеей, что ты можешь потерять себя где угодно; в любом случае, это станет одним из последних моментов, которые окажутся спрятанными под желтым листочком для заметок с надписью «Секрет!» в твоем дневнике, который украдет твой брат, и наши встречи с тех пор будут храниться только в твоей голове, и она в конечном итоге переполнится сувенирами так же, как место под твоей кроватью, где оказалось менее безопасно, где все начало гнить; но я был слаб, моя небесная избранница, я был слишком слаб, чтобы остановиться, и ты должна знать, что я все-таки пытался уговорить Камиллию, хотя я признаю́, что втайне надеялся, что она не сможет, я пригласил ее в кинотеатр, и когда она сказала, что ей нужно пойти в клуб флористов, я почувствовал облегчение — в тот момент она была так долго знакома с тобой, что не видела никакого подвоха, хотя она часто

беспокоилась о тебе и находила необычным, что ты часто заходила к нам пообедать, а твой па не спрашивал об этом, но прежде всего она видела одинокую птицу, талантливую птицу, и хотела, чтобы ты высоко взлетела, чтобы ты засияла; ты была ее ученицей, и она думала, что вечер в кино пойдет тебе на пользу, а я с нетерпением ждал возможности побыть с тобой, сидеть плечом к плечу в кинотеатре и упираться своим коленом в твое, кормить тебя попкорном и этими мерзкими сладкими мармеладными бобами, которые ты так любила, особенно зелеными, которые ты назначила любимыми, а розовые на вкус напоминали гнилую клубнику, поэтому я оставлял их в пакетике, я все про тебя знал: и то, что ты зажимаешь нос, когда начинается грустная сцена, потому что считаешь, что плакать можно, только когда фильм плохой, и то, что ты начинала дергать ногами, когда сцена длилась слишком долго, когда становилось скучно или когда у тебя кончалась концентрация — а еще я знал, что тебе одновременно и нравился темный кинозал, и появлялась легкая клаустрофобия, и ты несколько раз за фильм поглядывала на запасной выход, на всякий случай; но сегодня вечером, после которого я пожалею, что не выбросил матрас из фургона

и не отвез его на свалку во время ежедневного приступа сопротивления, ты ни единого раза не взглянула на запасной выход, потому что затаив дыхание смотрела «Догвилль» Ларса фон Триера с Николь Кидман в главной роли, ты даже забыла про свою колу, ты не шевелила ногами, а сидела неподвижно в кресле кинотеатра, а потом ты с восторгом рассказывала, как безумно влюбилась в этот фильм, в его отчужденность, в актеров и особенно в лающую собаку, нарисованную мелом, что ты захотела такую собаку, и на самом деле эта история была про тебя, сказала ты, про девушку с секретом, окруженную людьми, которые чего-то от нее хотели, которые требовали все больше и больше; тебя, может, и не преследовали два гангстера, но ты сказала, что они олицетворяют страхи, что всех нас в жизни преследуют гангстеры в черном, что ты тоже пыталась сбежать, но надеялась, что в конечном итоге закончишь лучше, уж точно не с пулей в голове, и тут я понял, кем был в этом сценарии: я был мужчиной из сцены изнасилования, о которой ты очень мало говорила, это было понятно сразу, и все же я этого не увидел, потому что во время фильма думал лишь о титрах и особенно ждал финала в машине, пока ты не переставая болтала об актерах и не

понимала, что я поехал в сторону Де Роуферстейх, где припарковал машину за тисами и как можно небрежнее сказал, что мы можем продолжить разговор в кузове, и все еще что-то цитируя, ты запрыгала по машине как актриса, упала на матрас и сказала, что Николь Кидман красива в хорошем смысле слова, не по-кукольному и не фальшиво, но красива так, как немногие люди бывают красивы; и я лег рядом с тобой спиной к плакату королевы Беатрикс, потому что не ожидал ордена за это спасение, скорее позора, но ты не прекращала болтать, пока я не положил руку тебе на рот, подождал несколько секунд и убрал, а потом мои губы грубо впились в твои, я целовывал мерзкий мармелад, пока не добрался до тебя, и в промежутке я спросил: *«Кто ты теперь: птица, Лягушонок или выдра?»* И ты пожала плечами и сказала, что знаешь, кто ты, только если тебя об этом не спрашивают, и я подумал, что это расплывчатый ответ, но на самом деле мне было все равно: все, что имело значение, это то, что мы лежали здесь вместе, и было опасно прекращать поцелуи, тогда бы ты потерялась в бесконечных мыслях о том, что ты только что посмотрела и как бы хотела увидеть следующую часть трилогии «Страна возможностей» — только что вышедший

фильм «Мандерлей»; я обещал тебе, что мы его посмотрим, и я не спрашивал, какой секрет ты в себе носишь, не спрашивал, чего от тебя хотят гангстеры, я знал только, чего хотел я сам — чтобы ты заблудилась в моей стране, и я скользнул вниз от твоего рта, поднял рубашку и поцеловал тебя в живот, поцеловал кожу чуть выше края твоих шорт, и я прошептал, что люблю тебя, так сильно тебя люблю, и я знал, что никто раньше тебе этого не говорил, но ты знала про это из книг, из фильмов, ты знала, как следует отреагировать, как грустно станет другому человеку, если ты не скажешь то же самое в ответ, и ты промямлила, что тоже меня любишь, и я спросил, всерьез ли ты это говоришь, и ты ответила словами из песни Хэрмана Броуда: *«I love you like I love myself, and I don't need nobody else*[34]*»*. Я знал, что это правда: ты любила меня как саму себя, и любовь эта постоянно менялась, но ты не любила себя по-настоящему, и, следовательно, не любила по-настоящему меня, но ты была счастлива, и когда ты была счастлива, ты думала, что все будет хорошо, даже если ты была в болоте, любовь моя, и все же я удовлетворился твоим ответом: главное то,

[34] Примечания: 34
Я люблю тебя, как люблю себя, и мне больше никто не нужен (*англ.*).

что ты в него верила, что ты думала, что любишь меня, потому что тогда ты и правда сможешь меня полюбить, — и я воспринял эти слова как позволение расстегнуть серебряную пуговицу с цветочком на твоих брючках, меня так волновало каждое мгновение, когда я видел ребенка, ребенка, за игрой которого я хотел наблюдать, которого хотел взять на колени, которого хотел направить к лучшей жизни, но еще я вожделел тебя, я хотел раздеться, о, каким болезненным было это противоречие, я сказал, что если любишь кого-то, то хочешь, чтобы этот человек трогал тебя везде: от макушки до большого пальца ноги, который ты хотела отрезать, и я спросил, можно ли мне провести тебе вскрытие, а ты ответила, что здесь нет скальпелей, и я обвел пальцем бантик на твоих трусиках, я велел тебе представить, что скальпель — это моя рука, и ты задумчиво кивнула; я хотел позволить тебе понять, что тебе не нужна боль, чтобы существовать, и я засунул руку в твои трусики и почувствовал, какая ты влажная, ах, лужица восторга, я поблагодарил тебя за это, а ты спросила: *«за что?»* — и я улыбнулся, потому что ты не понимала, потому что я позволю тебе понять, и я знал, как ты переходишь от напряженности к расслабленности и обратно,

моя дорогая питомица, я видел, как ты чудесно трепещешь, я заметил, как ты расстроилась и встревожилась, когда в Тэйхенланде был открыт сезон охоты, и ты лежала в постели и слушала, как в воздухе свистят выстрелы, ты знала, что это была санитарная охота, что они охотились на лисиц, фазанов и белых казарок, но не могла не думать о коровах во время эпидемии ящура, и там, в постели, ты вспомнила, что пастор охотился из засады: охотник остается на том же месте, ожидая, пока дичь сама не выйдет на него — он целился в свою жертву с лестницы или с кафедры, но выстрел уходил в землю, ты чувствовала себя добычей и ты считала выстрелы, словно секунды между вспышкой молнии и громом, чтобы знать, насколько близко они были, и когда темнело, ты во всех охотниках видела браконьеров, кроме тех, которые подзывали тебя, и ты смущенно приближалась, как это бывало, когда тебе нужно было выйти к доске на географии, и ты не могла ответить на простой вопрос, потому что мир в голове путался, и ты стояла как добыча охотника в перекрестье прицела, вытянув руки вдоль тела, потому что кто-то из класса заметил, что у тебя под мышками растет пух, а ты не знала, что с ним делать, и девчонки захихикали и сказали,

что ты похожа на Гринча, Гринча, который на Рождество получит бритву, и все смеялись над ним, и он возненавидел за это Рождество; и я видел, как ты лежишь рядом со мной, такая беззащитная и слабая, и это воспламеняло меня еще больше, я увидел, как слезы наворачиваются у тебя на глаза, пошевелил пальцами у тебя внутри и прошептал: *«Я Гитлер, я Фрейд»*. И это тебя расслабило, ты, должно быть, расслабилась, потому что ты тихонько застонала, и я видел, что иногда ты проводишь языком к губам, ты перестала плакать и забормотала, что ты Лягушонок, самый красивый лягушонок в деревне, что ты можешь прыгать так высоко, что видишь Землю Обетованную, сияющую за Деревней, что иногда в душе ты писала стоя, моча стекала по ногам, и ты думала, что это прекрасное ощущение, и я сказал, что ты действительно Лягушонок, что я расчленил тебя: сперва перепончатые лапки, затем прекрасные мягкие лягушачьи внутренности, а потом сделал надрез на сердце, чтобы посмотреть, ради кого и ради чего оно билось, и я увидел, как зарумянились твои щеки, ты все чаще облизывала губы, и вдруг сжала ноги вместе, попыталась оттолкнуть мою руку, но я был сильнее, я был мужчиной из той сцены «Догвилля»,

и я увидел, как твои глаза посветлели, стали как стеклянные отполированные камушки, я снова раздвинул твои ноги и подогрел тебя словами про Лягушонка, и это довело тебя до беспамятства, мое дорогое дитя, ты изо всех сил старалась избежать света, в который я так сильно хотел тебя привести, и я прошептал, что в следующий раз придет время для рога, как будто речь шла о спектакле, о постановке по Беккету, я прошептал, что бывают другие рога, красивее и больше, чем у младенца Иисуса, чем у маленького ангела, что ты сможешь гладить его столько, сколько захочешь, и тогда твое нимфеточное тело задрожало, затрепетало так красиво, так восхитительно, это было похоже на подкожное землетрясение, и я старался прогнать тишину разговором, я не хотел видеть, какой отсутствующей ты стала, как ты впервые по-настоящему потеряла себя, как землетрясение вызвало трещины у тебя в костях, нет, я говорил о Беккете, о его самом известном произведении «В ожидании Годо», я рассказывал тебе о персонажах этой пьесы, о Владимире, Эстрагоне, о Лаки и Поццо, и я сказал, что ты была похожа на Эстрагона, потому что он все время хотел уйти от Владимира, но каждый раз передумывал, что потеря крылась не в уходе, но в самой

угрозе уйти, и что многие люди ждали кого-то, кто так и не пришел, но они так долго и с такой надеждой высматривали этого кого-то, что стали слепы к тем, кто в это время проходит мимо, и я надеялся, что ты узнаешь себя в моих словах: ты тоже ждала какого-то Годо, ты фантазировала о том, кто заберет всю твою покинутость и печаль, фантазировала о матери, которая распаковала бы твой чемодан у двери и убрала бы его навсегда; я говорил долго, пока ты не пришла в себя, пока не перестала быть такой бледной и не обрела дар речи, и я дал тебе текст песни Джуэл Эйкенс The Birds and the Bees, это был его единственный хит, сказал я, эта песня попала в Billboard Hot 100 и поднялась на второе место в чартах в Нидерландах, после этого он больше никогда не добивался такого успеха, как с The Birds and the Bees, хотя и выпустил сингл Born A Loser с песней Little Bitty Pretty One Терстона Харриса на би-сайде, и ты взволнованно воскликнула, что эта песня была в фильме «Матильда» по книге Роальда Даля, в тот момент, когда Матильда осознала, что обладает магическими способностями и может управлять всеми предметами в доме, указав на них, ты спела припев, и пока ты звонко щебетала, я подчеркнул в уме фразу: «*Tell you a story, happened long*

time ago, little bitty pretty one, I've been watching you grow, whoa whoa whoa whoa[35]». Я высадил тебя у фермы — ты нерешительно распахнула дверь фургона и на мгновение обернулась, и радость мигом прошла, ты снова превратились в забитое существо, и ты сказала, что странно себя чувствуешь, так по-особенному странно, а я улыбнулся и сказал, что это из-за твоих мармеладных бобов, и ты сказала: *«нет-нет, я имею в виду сам-знаешь-что»*, — а я кивнул и ответил, что я все понял, но так бывает, если тебе кто-то очень нравится, я же тебе очень нравлюсь, и ты энергично закивала, и напоследок я сказал, что ты станешь отличным Лягушонком, что я помогу тебе в этом, что я твой парень, твой Курт, и неуверенность исчезла из твоего взгляда, ты снова успокоилась на какое-то время, и я сказал: *«Пока, Лягушонок, до скорой встречи, до очень скорой встречи»*, — и уехал, не заметив, что ты пытаешься идти вприпрыжку, как ходила раньше, пытаешься, но безуспешно.

---

[35] Примечания: 35

Расскажу вам историю, случившуюся давным-давно, крохотная красотка, я наблюдал, как ты растешь (*англ.*).

22

Становилось все более заметно, что ты мечешься. Ты не могла определиться, мальчик ты или девочка, ты становилась все более и более одержимой милыми мальчиками из бассейна, мальчишескими рогами, ты возила милых мальчиков на багажнике после бассейна домой, и Гитлер был прав, ты и правда стала курьером, мальчиком на побегушках; я с грустью наблюдал за тобой из фургона, следуя на безопасном расстоянии, и видел, как ты смотришь на них, когда проходишь через ворота бассейна с банным полотенцем под мышкой и мокрыми волосами в хлорке, как ты меняешь свое поведение рядом с ними и подражаешь им, как ты все время надеешься, что они дадут своему курьеру чаевые и позволят взглянуть на их рога; ты давно забыла про ссохшуюся косточку из пениса выдры под своей кроватью, это была детская игрушка, теперь ты хотела настоящую, и эстетика мальчишеского рога тебе нравилась больше, чем эстетика рога выдры, который был больше похож на карамельку, что тебе когда-то подарила бабушка, и ты расцарапала ею нёбо до крови; нет, ты хотела

настоящий пенис, и я однажды рассказал тебе, что в животном мире самый большой член был у синего кита, три с половиной метра, а среди наземных животных — у слона, полтора метра, затем я рассказал про балянусов, ракообразных, которые были одновременно и самцами, и самками, и имели как минимум два пениса, которые были в двадцать пять раз длиннее их самих, но самым красивым представителем животного мира был гамадрил, у которого был ярко-красный член, и он специально садился так, чтобы всем было видно, насколько его пенис красив и велик, так он демонстрировал свою позицию вожака, и ты была в восторге от этой истории, хотя считала несправедливым, что у балянуса два члена, а у тебя — ни одного, и тебе казалось сложным прицеливаться и писать с двумя пенисами; с тех пор ты все время думала о мальчишеских рогах, особенно после того как за полдником я показал тебе несколько репродукций Рафаэля, пока твой отец и брат косили сено на другом берегу Маалстроума: Хэррит Хиймстра объявил о дожде, и поэтому они не могли прервать работу — действительно, надвигался сильный ливень, хотя он проливался над ними уже давно, без единой капли с неба, и я показал тебе Малую Мадонну

Каупера Рафаэля, которая висела в Вашингтоне недалеко от здания Пентагона, в который 11 сентября врезался третий самолет, обрушив часть фасада. Я знал, что ты подумала об этом, когда я упомянул о месте расположения музея, что ты опять чуть не провалилась в глубины своей вины, но твое внимание отвлекла репродукция, которую я положил на шаткий садовый столик среди пирожных и кофейных кружек — портрет Мадонны с маленьким Каупером, ангелоподобным мальчиком, которого она поддерживала одной рукой под голую попку, а он обвивал своими пухлыми ручонками ее шею, и я видел, как ты восхищалась его прелестью, и ты спросила, кто такой Каупер, сколько ему на картине лет, о чем он мечтал, и я еще немного рассказал, чтобы поддержать твое сладострастие, я показал тебе Мадонну с младенцем, где маленького мальчика было видно спереди, был виден его крошечный рог, и, конечно же, Большую Мадонну Каупера, но ты не посчитала ее интересной, как я заметил, — на ней ручка младенца прикрывала член, и поэтому нельзя было ничего разглядеть, нет, ты больше рассматривала малого Каупера и черно-белый портрет, его зад и член, и ты как сумасшедшая запорхала вокруг садового стола,

а потом снова, вздыхая от волнения, склонилась над портретами и сказала, что Мария, должно быть, была хорошей матерью, ты могла видеть это в ее любящем взгляде; и я извлек очередную картину Рафаэля из своего портфеля, Путто[36], я рассказал тебе, что имя Путто в скульптуре и живописи означало пухлую, обнаженную и крылатую детскую фигуру, также называемую купидоном, и ты снова запорхала вокруг садового стола и пылко закричала: *«Я Путто, я Путто»*. И я не знал, желал ли я такого эффекта, ты была слишком худой для настоящего путто, но я никогда раньше не видел, чтобы птица так исступленно порхала, так что с этого момента я стал называть тебя так, и точно так же, как в тот раз во дворе, птица внезапно исчезла, когда я убрал репродукции, ты снова прошептала, что с тобой что-то не так, что-то в корне не так, и ох, мне стало жаль тебя, мой дорогой путто, мой прекрасный купидон, и я подумал, что Камиллия сказала о тебе то же самое, она сказала, что с тобой что-то не так, после того как несколько дней назад отвела тебя к ортодонту, потому что твой отец был слишком занят коровами, и ты наконец избавилась от

---

[36] Примечания: 36
Рисунок углем «Путто с символами Медичи».

внешней брекет-системы, но Камиллия сказала, что вместо того чтобы радоваться, ты всхлипывала на заднем сиденье, даже громче, чем в тот раз, когда мой сын расстался с тобой на аттракционе, ты сразу же решила, что с потерей этого мерзкого подвесного монстра ты потеряешь и ортодонта, хотя он был деспотичным и даже неприятным человеком — потеря есть потеря, и Камиллия сказала, что это ненормально: так чрезмерно грустить, так много фантазировать, что ей приходилось все чаще доискиваться до правды; но я понимал тебя гораздо лучше, я понимал, что дело не в ортодонте, по крайней мере, не на самом деле, дело в ране от покинутости, которую грубо надрезали каждый раз, когда кто-то уходил, и нужно было прощаться; и ты успокоилась только тогда, когда Камиллия сказала, что ты всегда можешь отправить ему открытку, а ты ответила, что всегда можешь выдернуть ретейнер с обратной стороны зубов, чтобы они снова стали кривыми, и эта идея успокоила тебя даже больше, чем открытка, и когда Камиллия рассказывала это, я подумал о песне I'd Do Anything For Love группы Meat Loaf, вышедшей в 1993 году, в год, когда ты лишилась потерянного и покинувшей, и эта песня была написана для тебя, она была о

тебе, ты бы сделала ради любви все: «*Maybe I'm crazy, but it's crazy and it's true, I know you can save me, no-one else can save me now but you. Maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only, the one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning. As long as the fires are burning. As long as your prayers are coming true. You'd better believe it, that I would do. Anything for love*[37]». Я заверил тебя, что с тобой все в порядке, хотя и знал, что лгу, я протянул тебе руку и сказал, что мы все исправим с Нью-Йорком, правда, сказал я, мы сейчас же туда отправимся, я пилот, и ты взялась за руку и подозрительно посмотрела на меня, когда я достал два молочных ведра из-за охлаждающей цистерны, перевернул их и поставил в траву на берегу канала; я отпустил твою руку, встал на них и подождал, пока ты не повторишь за мной, тогда я закрыл глаза, вытянул руки и спросил, готова ли ты взлететь, подняться в небо, и я глянул сквозь ресницы и увидел, как ты застенчиво стоишь на ведре с широко раски-

[37] Примечания: 37

Может быть, я сумасшедший, но это безумие, и это правда, я знаю, что ты можешь спасти меня, никто другой не может спасти меня сейчас, кроме тебя. Может быть, я одинок, это все, на что я способен. Это одно-единственное обещание, которое я могу сдержать. Пока крутятся колеса. Пока горит огонь. Пока твои молитвы сбываются. Тебе лучше поверить, что я сделаю это. Всё ради любви (*англ.*).

нутыми крыльями, увидел твои мокрые щеки, и в тот августовский полдень мы полетели на Фултон-стрит, туда, где стояли Башни-близнецы, и я попросил тебя рассказать обо всем, из-за чего ты чувствуешь себя виноватой; ты пробормотала несколько извинений и сказала, что нападения на башню никогда не должно было случиться, что ты сбилась с курса и что иногда, когда ты злилась, ты думала, что, если сломать что-то, это тебе поможет, но нет, такого ты не хотела, и как раз когда я подумал, что все идет хорошо, что это помогает тебе, что я освободил тебя от огромной вины, я внезапно услышал, как ты спрыгнула на землю, опрокинула ведро и закричала, что ничего не помогает, что я дурак, если думаю, что ты на это купишься, ты правда умела летать, тебе правда нужно в Нью-Йорк, и ты сказала, что я не воспринимаю тебя всерьез, что я никчемный пилот, что в воздухе все ощущается иначе, чем на ведре, что я не понял, каково это — видеть вблизи все эти падающие тела, чувствовать пыль и мусор на своей коже; и ты убежала босиком, лавируя между коровьими лепешками, я помчался за тобой и догнал тебя у сливового дерева, грубо схватил тебя за запястье и сказал, что мне жаль, Путто, *извини*, и мы боролись, ты больше

не сходила с ума от похоти, ты сходила с ума от гнева, и я возился с тобой, ты прокусила зубом губу, из нее потекла кровь, я зацепил ботинком твою босую ногу, повалил тебя в траву и лег на тебя, я облизал твой подбородок, шею и губы, как собака-ищейка, а потом потянулся, чтобы достать низко свисающие перезрелые сливы, одну из которых я разломал и достал косточку, я сказал, что это плод зла, что мы умрем, если съедим его, и ты, безумная от ярости, вырвала сочную сливу из моих рук, засунула ее в рот и начала яростно жевать: кровь смешалась со сливовым соком, и ты сказала: *«Я злая, я птица зла»*. И я просунул язык тебе в рот, в сливовую мякоть, и мы ели, глотали и сцеловывали с друг друга фрукты, пока наши щеки и губы не стали липкими, пока ты не успокоилась и гнев не ускользнул прочь, и ты разразилась рыданиями, ты рыдала так сильно, что коровы подняли на нас глаза, и ты прошептала, что сейчас умрешь — я не мог видеть тебя такой, моя дорогая питомица, я пытался умилостивить тебя пустыми обещаниями, сладостями, тем, насколько известной ты когда-нибудь станешь, известнее, чем Джордж Буш, что мы на самом деле не умираем, но порой приятно об этом думать, это заставляет жить еще более полной

жизнью, но ты все еще была в печали, и поэтому я надорвал тебя еще больше, я сказал, что заставлю тебя цвести, я засунул липкую руку к тебе в трусики и увидел, как ты ускользаешь, увидел, как высыхают слезы, и ты залепетала: *«If you leave me I'll become a rotting plum where all the space is taken up by wasps*[38]». И я сказал, что никогда не уйду, достал из травы сливовую косточку и засунул ее глубоко в твои горячие внутренности, и я обещал, что с каждым годом ты будешь цвести все красивее, обещал, что в следующем году мы будем здесь снова, что мы будем проводить каждое лето под этим деревом, и тогда я не мог знать, что твой брат, прочитав твой дневник, спилит сливу бензопилой, что прямо над нами шел ливень, а небо было пастью, полной кривых зубов.

[38] Примечания: 38

Если ты уйдешь от меня, я стану гниющей сливой, покрытой осами (*англ.*).

23

Я бесконечно пролистываю то лето и свои воспоминания в поисках того, где начался надлом в моей жизни. К тому моменту, когда вокруг меня стали роиться любители смерти, потому что нечто во мне начало бродить и гнить, я пролистываю воспоминания туда, где началась болезнь, до первого симптома моей тяги к ребенку, туда, где проявилось уродство, когда все эти годы мне удавалось выбросить из головы каждого ребенка, но почему, о, почему я не сделал то же самое с тобой, моя дорогая питомица, мой небесный Путто, почему я шел с тобой по ярмарке на деревенской площади с большим плюшевым медведем под мышкой, которого мне удалось выловить из автомата — он так злобно ухмылялся, что мне стало тревожно, — почему я тусуюсь с этим человеческим ребенком, который шел рядом со мной и жадно лизал липкий леденец, время от времени делал ленивый прыжок, который больше не был глупым прыжком беззаботного маленького существа, я грубо вырвал его из твоих костей, не желая ничего иного, кроме как удержать его; но ты проросла сквозь мои когти и превратилась в

мою страсть, и я внезапно вспомнил, что я никогда не прыгал, когда был маленьким мальчиком, я родился взрослым, а взрослые не прыгают, они ходят прямо и размеренно, но с тобой, моя маленькая добыча, я ощущал желание немного помахать ногами, ты заставляла меня чувствовать себя молодым, и я был уверен, это все из-за моей матери, это она вселила в меня ненасытное желание, нанесла незаживающую рану, которую я пытался залечить тобой, надеясь таким образом забыть студеные годы юности; внутри меня был маленький нуждающийся мальчик, который больше всего хотел играть, который хотел веселиться вместе с тобой, но мне мешала моя удушающая похоть, и каждый раз, когда я чувствовал нежный, сладкий запах твоего тела, я доходил до самого края безумия и восторга, как я мог устоять перед этим? И ты, как всегда, шла по западную сторону от меня, так было нужно, думала ты, потому что тогда я видел тебя с твоей более красивой стороны, хотя к тому времени я знал, что ты прекрасна со всех точек обзора, и я немного плотнее ухватился за шерсть медведя, было удушающе жарко, слишком жарко, чтобы нести такого большого неуклюжего зверя, но ты выбрала его и настояла, чтобы я его выловил,

потому что он выглядел одиноким, сказала ты, а одиночество на ярмарке было хуже любого другого, тут все было связано с потерями и находками, а медведь выглядел так, как будто он многое потерял; и это заставило тебя вспомнить среди палаток и аттракционов о тех потерях, которые ты понесла за последние несколько недель, начиная с новостей о том, что мост через озеро Пончартрейн, i-10 Twin Span в Соединенных Штатах, был сильно поврежден, ты видела во сне десятки автомобилей, падающих в пучину, это могло быть результатом урагана «Катрина» и частично — усталости металла, и ты подумала, что это красивое выражение, «усталость металла», и ты сказала, что некоторые люди тоже страдают от этого, что они могут рухнуть в любой момент, и после этой новости ты всегда носила в своем рюкзаке аварийный молоток, которым могла бы разбить окно на случай, если упадешь в воду, хотя у тебя не было машины и ты не собирались ее покупать, и ты узнала, что ураган «Катрина» был самым страшным штормом с женским именем с 1928 года, он уничтожил целый район Галфпорт в Миссисипи, что в Китае и Юго-Восточной Азии разразился птичий грипп, который медленно распространялся по миру, умерли французский

спортсмен и голландский мультипликатор, и хотя ты их не знала, ты думала, что это печально, в Лондоне произошло несколько терактов — бомба взорвалась на станции метро «Рассел-Сквер» и в двухэтажном автобусе, в красном AEC Routemaster, и ты дрожащим голосом перечисляла новости, только чтобы потом перечислить свои личные потери: ты потеряла все свои карманные деньги в игровом автомате, в который нужно было вставлять монеты, чтобы получить подарок, указанный на пластиковых табличках, хотя тебя больше привлекало звяканье евро в чреве автомата, этот восхитительный звон. Вдобавок ты проиграла спор Элии, что поцелуешь самого первого милого мальчика, который выйдет с обычной карусели или с карусели брейк-данс, ты бы все равно пошла на брейк-данс, сказала ты, потому что милые мальчики с брейк-данса лучше, чем с обычной на карусели: она крутилась слишком медленно, и милые мальчики, которым она нравилась, обычно были скучными и носили рубашки поло, — но ты стояла и трусила, потому что каждый раз, когда ты видела, как милый мальчик сходит с брейк-данса, ты боялась, что превратишься в птицу и проглотишь беднягу, как ты иногда проглатывала Лягушонка в своей

голове, что все будут в ужасе указывать на тебе и шептаться о том, что ты сделала, все будут бояться тебя, как Замка с привидениями, где, как говорили, в углу прятался один из могильщиков, чтобы пугать посетителей, и если ты не будешь настороже, он похоронит тебя заживо; итак, ты проиграла пари, и Элиа велела тебе украсть у кого-нибудь кошелек, чтобы у вас были деньги покататься на автодроме, и я смотрел на тебя с удивлением, когда ты объясняла, как лучше всего красть чьи-то ценности: все дело в отвлечении, ты пошевелила коварными руками в воздухе — я и забыл, что ты воришка, но теперь заметил, что ты лукаво оглядываешься; а потом ты стала рассказывать о своей потере, о той, что была хуже всех, о чем-то, что ты потеряла и никогда не вернешь, и ты не знала, что с этим делать, ты стала говорить тише, когда мы добрались до палатки Счастливого Утенка, и я попробовал поймать для тебя желтую резиновую уточку, и ты, побледнев, сказала, как будто тебя только что напугал могильщик, ты сказала, что проснулась сегодня утром и узнала, что тебя ранили, что птица на что-то наткнулась — в трусах была кровь, три маленьких пятна размером с конфетти, хотя никакого праздника не было, сказала

ты слегка озадаченно, потому что из книг ты знала, что теперь ты женщина, что ты созрела, и это все изменит, теперь тебя в любой момент могут сорвать, как перезрелую сливу, которые твой па пускал на варенье, и ты сказала, что это преступление, потому что теперь шанс получить мальчишеский рог был минимален, и ты сказала, что милые мальчики внезапно стали смотреть на тебя по-другому, почти томно, в то время как ты хотела стать одним из них, но птицу ранили, и ты прошептала, что это была атака сверху, от Бога, ты истекала той кровью, которую пролила 11 сентября, и я наклонился, ласково улыбнулся и сказал тебе, что у всех девочек твоего возраста однажды начинает течь кровь, и это созревание вовсе не означает, что тебя в любой момент могут сорвать, ты всегда можешь сказать «нет», ты должна говорить «нет», если чего-то не хочешь, и я провозгласил величайшую ложь века, потому что знал, что сам был тем, кто срывает сливы, это я пускал их на варенье — я сказал, что ты все еще ребенок, несмотря на кровь, ты мой ребенок, моя дорогая питомица, и я спросил, рассказала ли ты об этом своему папе, и ты ответила, что написала про это в списке покупок, между маслом и печеньями, ты написала так: *«я истекаю*

кровью, как корова». Он ничего не сказал, но понял тебя, потому что несколько часов спустя перед дверью твоей спальни лежала пачка гигиенических прокладок, и с кофе ты получила яблочный пирог, хотя ты не смогла много съесть и сидела несчастная и бледная в садовом кресле, а твой брат самодовольно улыбался, потому что знал причину появления яблочного пирога, а ты подумала, что это странно — то, что они праздновали, что ты ранена, так тяжело ранена, и, сидя за столом, ты осмотрела гигиеническую прокладку, у нее были крылья, как у тебя, и она пахла лавандой, а ты задумалась, как, черт возьми, тебе дальше жить, почему никто тебе не рассказал, когда и где именно произойдут изменения, когда ты снова будешь ранена — это была главная потеря этой недели, ты посмотрела в землю и сказала: *«Курт, самая большая потеря — это я, самый главный потерянный — это я, я сбрасываю кожу, как змея, а я даже свою старую кожу не успела как следует изучить»*. Вокруг нас было слишком много деревенских, чтобы я мог прижать тебя к себе, поэтому я купил тебе пакетик воздушного риса в утешение, и ты набивала свой красивый рот цветными сладостями, глядя на площадь, и мне было интересно, о чем ты думала,

моя небесная избранница, и вдруг ты подняла руку, как будто была в классе, потому что забыла упомянуть еще кое-что, кое-что важное: ты потеряла свой дневник, да, он внезапно исчез, хотя всегда лежал под кроватью среди сувениров и памятных вещей; и я внезапно почувствовал головокружение, я чуть не задушил плюшевого медведя под мышкой, я сказал, что нельзя просто так взять и потерять дневник, он должен где-то лежать, а ты решительно затрясла головой — пропал, блин, и я спросил, что ты в нем писала, а ты ответила: *«Everything and nothing*[39]*»*. Ты увидела, что я расстроен, поэтому начала меня успокаивать, и ты соврала, что он действительно где-то валяется, может быть, в ящике прикроватной тумбочки или под матрасом; я знал, что это не так, но не хотел этого осознавать, я должен был верить, что мы в безопасности, что я был сувениром, который ты готова защищать ценой своей жизни, и ты притащила меня к автодрому, и ох, как же ты сбивала меня с толку: там, среди всей этой жестокости, где я в страхе хватался за голову при каждом столкновении, а ты думала, что это забавно, потому что никто твоего возраста

---

[39] Примечания: 39
Всё и ничего (*англ.*).

так не делал — ты хваталась за голову, только если в ней было что-то, что нужно защитить, и я должен был подумать об этом, когда ты спросила, клянусь, этот вопрос был задан, дорогой суд, ты спросила, когда придет время рога, и весь мой недавний ужас утих, ты пробежалась языком по леденцу, удерживая руль одной рукой, ты, кажется, забыла про мост через озеро Пончартрен, так свирепо ты ехала, и ты сказала, что сожалеешь из-за вчерашнего, о том, как разозлилась, что ты знала, что у меня были добрые намерения, что у пилотов обычно добрые намерения, потому что они хотят удержать что-то в воздухе, и ты всю ночь говорила об этом с Фрейдом, который сидел на краю кровати и был одет в отвратительную пижаму с детским принтом в змейках, на ней можно было рассмотреть процесс сбрасывания кожи, и Фрейд сказал, что все сводилось к следующему: *человек должен любить, чтобы не заболеть, человек заболевает, когда не может любить*. И ты не знала, кого он имел в виду под «человеком», но ты хотела научиться любить, ты не хотела болеть, потому что помнила две больничные койки: одну длинную и одну короткую, они обе имели одинаковый конец — дыру в земле, и ты сказала, что тебя мог бы исцелить

настоящий рог, тогда ты больше не тосковала бы по ним, потому что голос разума не унимался, не успокаивался, пока ему не внемлешь, поэтому тебе придется уступить наваждению, чтобы оно прекратилось, но я знал, что все наоборот: чем больше я поддаюсь тебе, тем больше заболеваю, но ох, мои желания были такими сильными, это было бесконечное перетягивание каната, я продолжал терять себя, и мы ударились в машинку Лягушонка и Элии, которая смотрела на меня прищурившись, словно видела насквозь, чем я тут занимался, и внезапно я снова почувствовал себя великаном в стране детей, немного приподнялся на сиденье и сказал: *«Когда захочешь, моя дорогая»*. И ты ответила, что тебе будет удобно завтра, когда будут убирать сена в стога, да, завтра будет идеальный день для мальчишеского рога, тебе четырнадцать лет, сказала ты, и пора бы покончить с этим серьезным делом, и ты прошептала: *«I want to know what love is, I want you to show me*[40]». Я совершенно упустил, что ты цитировала песню Foreigner, что ты вернулась в одну из своих романтических фантазий и думала, что на этой неделе понесла достаточно потерь; я ощутил,

[40] Примечания: 40
Я хочу знать, что такое любовь, я хочу, чтобы ты показал мне (*англ.*).

как потеплели мои щеки, и подумал, понимаешь ли ты, что означает твоя просьба, и я спросил, видела ли ты когда-нибудь, как люди занимаются любовью, ты задрала нос и мудро сказала, что не нужно что-то видеть, чтобы это представить, хотя ты смотрела, как сплетались Бонни и Клайд, и знала, что это означает: ты часто видела, как спаривается скот, это было проще простого, и я часто вспоминал эти слова, «проще простого». Ты воспринимала это как тест по биологии, как вскрытие, как испытание, которое можно пройти и заслужить уважение, а отвратительный я сидел в машинке со вставшим рогом-убийцей и мог думать лишь о том, что я счастливый утенок, я твой счастливый утенок, и меня не волновало, что ты пытаешься разнести нас на куски, что ты даже не держишь руки на руле, я хотел научить тебя, что такое любовь, какими бы ошибочными ни были мои знания.

24

Это был не первый раз, когда меня мучили ночные видения, но первый, когда они мучили меня так. Иногда я просыпался, вздрагивая, и чувствовал себя агнцем из Книги Бытия, который застрял рогами в зарослях и должен быть принесен в жертву вместо сына Авраама; я был приговором суда, я был смертью, и иногда душная кровать, на которой я лежал, казалась мне местом жертвоприношения, она была в огне, между мной и Камиллией был пожар, из-за которого я не мог приблизиться к ней, не говоря уже о том, чтобы спасти ее; я мог только ускользнуть с места происшествия, выпутавшись из мокрых от пота простыней, и натянуть кроссовки, жесткие от засохшей жертвенной крови из волдырей на моих пятках, и на этот раз я побежал так, словно бежал от барана с рогами, я бежал от самого себя, спешил и не успевал, бежал почти до рвоты, почувствовал, как к горлу подступает лазанья, в которую Камиллия добавила слишком много чеснока, потому что думала, что я с кем-то встречаюсь во время ночных пробежек; она это знала наверняка, подозрительно говорила она, она

видела, как растет мое внимание к своей внешности, видела, что я становлюсь моложе, в то время как она двигалась к смерти, она видела, что я стал дружелюбнее с нашими сыновьями, видела, что я все чаще и чаще уезжаю, что у меня все больше вызовов из Германии, хотя на самом деле я был в нескольких километрах от нее и вонзал зубы в Дабл Биг Тейсти или пил «средний» молочный коктейль; она заметила, как изменился мой вкус в одежде, видела, что я закрываю глаза, когда дотрагиваюсь до нее, но она ничего не могла с уверенностью утверждать, и эти зубчики чеснока были ее способом протестовать против моих изменений, она запихнула в лазанью целую головку и смотрела, как я все съедаю, а потом чищу зубы, и теперь я бежал с вонючим ртом в сторону Конинг-янсзанд, и во время пробежки пошел снег, знаю, это звучит безумно, но тем августовским вечером шел снег, хлопья падали с небесного свода, и я понял, что это сахарная пудра, только когда высунул язык, когда попробовал снег, и внезапно я снова брел по Ватердрахерсвэх с тачкой, в которой лежал потерянный, пейзаж вокруг меня был пугающе белым, я видел вдали башню реформатской церкви, и моя мать шла рядом со мной, на ней был траурный костюм,

это была ее любимая одежда, темное ей шло, и я не хотел, но все же взглянул: я посмотрел в лицо потерянного, в лицо маленького пастора, и услышал удар тела о бампер, увидел, как еду прочь — я уехал, сделал круг на кольцевой развязке, и только потом поехал обратно, выглянул из своего фургона и пришел на помощь, я дрожащим голосом сказал, что знаю его, заставив людей благоговейно разойтись и оставить меня с безжизненным телом, и я делал все, что делали другие, я плакал, ругал сбежавшего водителя, я взывал к Богу, и все были в отчаянии, и никто не смотрел на мой фургон, что стоял чуть в стороне с кровью на бампере, нет, мы все глядели на маленького пастора; потом с ревом сирен приехала «Скорая помощь», но в моем сне я сам повез его на ферму в тачке, но когда я посмотрел в нее, то не он лежал в ней, а ты, моя дорогая питомица, это ты лежала в тачке, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами, а я в отчаянии посмотрел на мать, я простонал, как такое могло случиться, и она снова сказала, что я приношу смерть, что я всегда буду приносить смерть, что я уничтожил ребенка своей одержимостью, своими руками, пахнущими жирным кремом для смягчения вымени, и я забормотал, что этого не должно было

случиться, что я люблю тебя, она гадко улыбнулась и сказала, что я не могу никого любить, что все, что я люблю, засыхает, рассыпается, и она снова стукнула по банке с сахарной пудрой, задул ветер, и стало очень холодно, я кричал, чтобы она перестала рассыпать снег, но снег, должно быть, поднялся из-за того, что в тот декабрьский день он тоже шел: в тот день потерянный собирался пересечь улицу, чтобы раздать рождественские открытки и пойти в школу, это было в среду, да, в среду утром, и звук удара сотряс всю Деревню, и Деревню продолжало трясти, как если бы в землю постоянно забивали сваи; я шел с твоим телом в тачке, мой дорогой Путто, но теперь мы двигались не на ферму, а на кладбище на Афондлаан, к участку номер сто два, к двойной могиле, где уже лежал потерянный, на ее краю благоговейно стоял фермер, и он сказал: *«Кто первым прибыл — того первым обслужат»*. Я хотел сказать, что твое время еще не пришло, но могильщики вытащили тебя из тачки и положили в землю, а моя мать массировала мне шею своей тяжелой рукой, она шептала, что я ее мальчик, что я принадлежу ей, хотя я знал, что в любой момент она может заявить, что она мне не мать, как она делала в младшей школе, когда кто-то ее спрашивал: она

решительно качала головой, ей было стыдно, что она произвела меня на свет, что она вообще произвела что-то на свет, и поэтому я всегда тащился через школьный двор на расстоянии от нее и видел, как матери вокруг сияли и спрашивали своих детей о том, как прошел их день, прижимали их измученные тельца к груди, а я шел за этой черной юбкой, этой грозовой тучей, а сидя на велосипеде, крепко держался за седло и следил, чтобы юбка не попадала в спицы — когда однажды я обнял ее за талию, она резко остановилась посреди улицы, сдернула меня с багажника и сказала: *«Ты знаешь дорогу домой»*. Я видел, как она уезжала, не оглядываясь, все дальше и дальше, пока не превратилась из баклана, водяного ворона, в черный шарик пенопласта и не исчезла из поля зрения, и я был так растерян, так растерян! Я все думал, что она вернется в любую минуту, что она извинится, но она не приехала, и когда я пришел домой, проведя час под дождем, она ничего не сказала, она молчала, как будто это я ее отверг; и с тех пор любой, кто поворачивался ко мне спиной, сводил меня с ума, отправлял в безбрежный водоворот, но теперь ты лежала в двойной могиле номер сто два, и в видении я спрыгнул в яму и нежно встряхнул тебя, я услы-

шал низкий голос фермера, который сказал, что жертву нельзя отменить, а я хотел сказать, что собирался принести в жертву себя самого, а не тебя, моя дорогая, что это не твоя вина, и я услышал бессильный голос твоего папы как в тот раз, когда я пришел, чтобы принести весть о потерянном, и покинувшая рухнула, когда я сообщил страшную весть, а ты сидела, играя в ванне и наблюдая, как покинувшая падает на землю: как раз перед тем, как выйти ко мне, она меняла воду в ванне и забыла смешать горячую воду с холодной, и ты ошпарилась, это было клише, я знаю, но во сне могильщики вдруг стали зарывать яму, а я остался сидеть под землей, я пытался выбраться и вытянуть тебя за собой, но меня никто не увидел, и меня похоронили с тобой, все потемнело, и в тот момент, когда я задохнулся, когда ощутил песок между челюстями, я в ужасе проснулся, хотя давящее ощущение земли на груди осталось со мной; и теперь, когда я бежал по дороге через польдер, я увидел перед собой картину Ливенса, который нарисовал Авраама и Исаака в тесных объятиях, когда они со страхом смотрят в небо рядом с ножом и мертвым агнцем, я прошептал небу, что хотел стать агнцем, ах, принеси же меня в жертву, и когда я вернулся на свою улицу

и увидел, как впереди вырисовывается мой дом, такой чертовски спокойный, я опустился на тротуар, я распростерся на теплых камнях, господи, я корчился от боли, я сидел, запутавшись рогами в кусте, и не мог пошевелиться.

25

Твой брат снова залез под кровать, чтобы изобразить кошку. Почему он это сделал и как он это сделал, было для меня загадкой, но он, видимо, сумел протиснуться в коллекцию твоих вещей и реликвий и, должно быть, нашел там твой дневник и начисто забыл замяукать; он, застыв, лежал всю ночь и читал, и читал, а ты ничего не заметила, тренируясь взлетать с края кровати в сумеречном свете лампы; он перебирал каждое слово, которое я тебе сказал, каждое сообщение, которое я тебе отправлял, все смайлики, каждый гадкий поступок, который я совершил, он видел сливовую косточку, которую я засунул внутрь тебя — ты выудила ее из унитаза и приклеила к странице с датой сбора урожая и моим именем внизу, и когда сразу после девяти я заехал к вам во двор для еженедельного осмотра коров, твой брат стоял рядом с почтовым ящиком с вилами в руках и пламенем в глазах, и я сразу понял, что это не к добру, моя дорогая питомица, я знал это, я развернулся во дворе, чтобы сразу уехать, и когда я осторожно приоткрыл окно, он зашипел на меня, что, если я не уберусь, он убьет меня, и я видел,

как он еще крепче сжал вилы, костяшки пальцев побелели, он на мгновение приподнял их, а затем ударил ручкой о камни, и я увидел, как ты, все еще в ночной рубашке, стоишь, вытянувшись, за окном гостиной; ты механически помахала мне, ты помахала мне, как Беатрикс машет в День Королевы, а я не помахал в ответ, потому что это не мог быть конец, это был нелепый финал, мой прекрасный Путто, я еще не видел ни одного фильма, который бы так глупо и внезапно кончался, и я поискал твоего папу, но его нигде не было видно, поэтому я снова посмотрел на твоего брата, в его искаженное гневом лицо, и трусливо сказал, что это ничего не значило, правда это ничего не значило, а он в ответ провел вилами по крылу моего фургона; я вдавил педаль газа и весь в поту поехал по Приккебэйнседейк домой, где встретил разъяренную Камиллию, которая получила сообщение с записью из дневника, и она спросила, знаю ли я, сколько лет этому ребенку, что это мог бы быть мой ребенок, что вся Деревня будет смаковать это, когда прознает о ветеринаре, распускающем руки, что я натворил с тобой, с ней — она плевалась в меня своей желчью и спросила, люблю ли я тебя, и когда я кивнул, она начала хохотать, насмехаясь, постукивая паль-

цем по лбу, она стучала по лбу, а я хотел сказать, что мое безумие было не только в голове, оно было повсюду, рак был повсюду, и она хотела знать в точности, что между нами произошло; я соврал, что у нас был один поцелуй, один, но тогда она спросила, с языком или без, и когда я снова кивнул, она начала разглагольствовать о том, какая ты чокнутая, какая двуличная, она назвала тебя маленькой шлюхой, бедовой девчонкой, и я попытался успокоить ее, сказав, что это было один раз, что это недоразумение, что ты была морфием для моей боли, а она закричала: *«какой такой боли»*, — и я не мог рассказать ей о своих детских воспоминаниях, о кошмарах, о том, что я был волдырем, из которого все еще тек гной, нет, я крепко обнял ее, назвал себя идиотом и поклялся, что этого больше не повторится, что я отправлю к вам на ферму коллегу-ветеринара, я сказал, что это моя вина, что ты, моя дорогая, ничего не могла с этим поделать, я сказал, что больше никогда с тобой не увижусь, что Камиллия должна нормально себя вести, когда ты вернешься в ее класс с летних каникул, и я привлек к себе угрюмое и печальное тело, которое стало мне чужим, яростную плоть, которая все больше и больше отдалялась от меня, я держал

ее, как мертвую овцу, которую однажды подобрал на лугу; и она сказала, что они вместе с твоим братом решили, что ты сама должна все рассказать твоему папе, потому что ложь разрастается быстрее сорняков, и ты ему все расскажешь, когда вы будете стоять в пустой и чистой навозной яме, в которой ты иногда играла с братом в теннис летом, ты будешь стоять там и рассказывать, что мы с тобой поцеловались, а он смочит большой палец и грубо потрет им твои губы, как будто ты ребенок, испачкавшийся в шоколадной пасте, и ты ему это позволишь, и он скажет: *«Никогда не предавай другого и себя поцелуем»*. А ты прошепчешь, что любишь меня, что ты правда любишь меня, только не знаешь, хотела ли ты поцелуев в комплекте с этой любовью, а твой па скажет, что тебе нельзя, что ты не можешь любить меня, потому что я дьявол, а дьявола никто не любит, потому что это означало, что ты один из его посланников, а ты не была его посланницей, сказал он, и теперь он использовал оба пальца, чтобы вытереть твои губы, чтобы стереть поцелуй, а затем он завел речь о подращивании маленьких телят, и больше вы не сказали об этом ни слова; пару часов спустя я оставил голосовое сообщение на автоответчике птицы, оно спрашивало, есть

ли у тебя беговые кроссовки и что пришло время для финальных титров, я все чаще приходил к мысли, что пришло время для финальных титров, для последней сцены, и в ту же ночь я оказался у фермы Де Хюлст, где ты ждала на улице в ночной рубашке и слишком больших кроссовках своего брата: это было одновременно дурацкое и красивое сочетание, к тому же чудесно кинематографичное, и мы побежали сквозь теплую темноту; иногда я поглядывал, как ты порхаешь в темноте словно бабочка-пяденица, и я скользнул рукой в твою ладонь, почувствовал, как твои крошечные пальчики сплетаются с моими, и мы не разговаривали, пока не оказались под виадуком у въезда в Деревню, и пока у нас над головами не заревели редкие грузовики, я прижал к себе твое вспотевшее тельце и сказал, что больше не приду к вам лечить коров; ты выглядела грустной, как будто сама была одной из этих коров, как будто и тебе требовался еженедельный медосмотр, а я продолжил говорить, что с этого момента мы станем настоящими Бонни и Клайдом, что мы можем встречаться только ночью, сумеешь ли ты хранить наш секрет, и ты решительно кивнула головой и сказала, что в твоей груди хранится множество секретов, и поэтому однажды на ней

должны вырасти два холмика, чтобы спрятать их еще надежнее, и я сказал, что этот секрет заполнит не только твою грудную клетку, но все твое тело, а ты рассказала о пустоте в остальных твоих конечностях — мне не стоит беспокоиться, места было много, и я ни в коем случае не должен был обременять тебя этим секретом, моя дорогая, но ночные грузовики ревели над нами, и ты стояла такая красивая в своей белой ночной рубашке и этих огромных кроссовках, и я не хотел, чтобы это прекращалось, это не могло прекратиться, да, мое сердце продолжило бы биться без тебя, но не так громко и не так живо, оно бы больше не подпрыгивало, оно бы глубоко погрузилось в плоть; и среди сверчков и лягушек я вложил свою судьбу в руки ребенка, я сказал, что без тебя у меня нет причин жить, а ты знала, каково это — не иметь причин жить, ты крепко обняла меня и сказала, что нет необходимости в какой-то особой причине, чтобы продолжать существовать, причиной была та сила, с которой человек рождается, с которой выталкивает себя из утробы матери и делает первый вдох, про эту силу всегда нужно помнить, когда у тебя все идет не так, и я усмехнулся тому, сколько мудрости было в этом маленьком теле, и я почувствовал такую радость,

что в порыве чувств сказал, что ты теперь моя, и я не знал, что ты всегда была чьей-то, что ты должна была стать своей собственной, что тебе нравилось принадлежать кому-то, это приносило тебе удовлетворение, но медленно разрушало тебя, что в какой-то момент ты уже не понимала, кем была эта птица и почему она хотела и не хотела расправить крылья, и ты внезапно спросила, не нужно ли мне пописать, я покачал головой, и ты сказала: *«Жаль, очень жаль, что тебе не хочется писать»*, — я увидел, как твой язычок скользит по губам, внезапно передумал и театрально сказал, что на самом деле мне хочется, да, теперь, когда ты это сказала, мне действительно нужно пописать, и ты улыбнулась и закричала счастливым детским голосом, что мы должны что-то с этим сделать, я снова взял тебя за руку, чтобы отвести на луг рядом с виадуком, и сказал: *«Пришло время рога»*. Там, среди льна, который щекотал мои голые ноги, и в свете полной луны я расстегнул ширинку и вытащил полувосправший рог-убийцу, и ты посмотрела на него так, как смотрела в окна кондитерской на Синдереллалаан, где за стеклом стояли ведерки, полные конфет, карамели, сладкой ваты, леденцов на палочке, конфет UFO и рулонов жевательной резинки

Hubba Bubba, и мне потребовалось некоторое время, чтобы струйка вышла наружу, но вскоре она зажурчала среди льна, и я спросил, не хочешь ли ты подержать его, не хочешь ли поуправлять моим рогом, и ты нетерпеливо ухватилась за него пальцами, он тебе очень понравился, и ты закричала: *«You are peeing, you are peeing the drought out of the darkness»*[41]. От поля поднимался пар, и я не показал тебе, что еще можно делать с рогом, это произойдет позже, когда я решу, что ты этого жаждешь, как ты жаждала любящего взгляда Беатрикс на День Королевы; нет, я присел на корточки рядом тобой, стянул трусики из-под ночной рубашки и отбросил их в лен, я приказал тебе встать, широко расставив ноги, и пописать, я увидел, как по твоим ногам стекают капли, ты закрыла глаза, подняла лицо к луне, и я хотел навеки сохранить в памяти эту картину, я положил ее в папочку глубоко между извилинами моего мозга, и когда ты снова открыла глаза, я прикурил сигарету Lucky Strike и рассказал, что эта марка получила свое название благодаря богатым золотоискателям, которые рассказывали, что во время Калифорнийской золотой лихорадки в

[41] Примечания: 41
Ты писаешь и изгоняешь засуху из темноты (*англ.*).

1848 году им посчастливилось сделать удачный удар; я протянул тебе сигарету, и ты посмотрела на меня, слегка нервничая, затем осторожно затянулась и тут же закашлялась, и слегка придушенно прошептала, что тебе понравилось, я знал, что ты пошутила, но ты жадно сделала вторую затяжку, на этот раз стало лучше, ты выпустила дым в сторону небесного свода и подумала, не попадет ли теперь дым и зловоние в Бога, и не заболеет ли Бог раком, потому что у пассивного курильщика шансы выше, и я сказал, что у Бога всегда был рак, что Он нес все наши болезни и грехи, и для Него в этом не было ничего нового, Его объявляли больным и чистым каждый день, но Он всегда выздоравливал; я пообещал тебе это, и ты кивнула с облегчением, и мы забыли про твои трусики, я вернусь за ними позже, я буду хранить их в бардачке между водительскими правами и зерновыми батончиками, чтобы время от времени зарываться в них носом, и мы побежали обратно на ферму, твои кроссовки издавали хлюпающие звуки из-за впитавшейся мочи и оставляли мокрые следы на асфальте, ты думала, что это чудесное ощущение, и постоянно оглядывалась, как будто осознавала, что существуешь, по-настоящему существуешь, только

при виде этих мокрых следов, и я спросил тебя, неуверенно и покраснев, что ты думаешь о роге-убийце, а ты ответила, что он фантазический и крутецкий, что он сильно отличается от рога Клиффа, от рога ангелочка Каупера на картине Рафаэля, этот был большим, размером со все их пенисы, вместе взятые, и ты снова назвала его фантазическим, крутецким и люкс-флюкс, а я не знал, что это были выдуманные слова Роальда Даля, но твой голос звучал возбужденно, и я подвел тебя к двери сарая рядом с домом, я целовал тебя долго и медленно, я шептал что-то из Беккета, а затем отрывок из Песни песней: *«Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!»* Я знал, что ты любишь Песнь песней, что это была первая книга, которая заставила тебя содрогнуться от тоски, ты фантазировала в детском восторге, что кто-то скажет тебе эти слова, и мне захотелось провести пальцами вверх по твоему бедру, но ты сжала ноги и залепетала, что тебе еще нужно делать домашнее задание, так много домашних заданий, и я ответил, что сейчас середина ночи, мой прекрасный Путто, что у тебя летние каникулы, и ты сказала, что птица никогда не уходит на

каникулы, что ей нужно подготовиться к полету на юг, и я снисходительно улыбнулся, горячо прижался губами к твоему липкому лбу, я позволил тебе упорхнуть, как бабочке, через дверь сарая, и я задумался, знаешь ли ты, что моя домашняя работа — это ты, что я бесконечно смотрел на тебя и изучал тебя, что я помнил все, что ты говорила, что делала, как двигалась, что ты станешь моим последним практикумом, темой моего лучшего выступления, моим вскрытием, моим любимым животным.

26

Несмотря на пробуждение сопротивления, несмотря на всю вину, что я испытывал, я продолжал видеться с тобой. И с каждым разом моя похоть бушевала все сильнее, хотя где-то также таилась тщетная надежда, что мы сможем стать друзьями, я искренне хотел этого, я больше не хотел подло объявлять тебе войну похоти, я хотел сохранить тебя невредимой, а не пронизанной пулями, но во мне не было ни капли мира, никакого братства, я знал, что как только я надену свою солдатскую форму, свой ветеринарный халат, нас истреплет еще сильнее, и я клянусь, дорогой суд, что я не хотел больше дразнить судьбу; Камиллия, твой па и брат всё знали, и мы были в ловушке их глаз, словно скот, но почему тогда я все больше осквернял это молодое существо с его неиспорченной детскостью, это существо, которое еще лучилось радостью жизни, я не мог этого объяснить, я знал только, что с раннего возраста я стремился к тому, что было больным или сломанным, что могло сломаться в любой момент, поэтому я всегда уделял больше внимания более слабым животным, а не тем, кто

хорошо себя чувствовал и лоснился; и маленьким мальчиком я больше всего любил машинки, которые были изношены до предела, в которых чего-то не хватало, а в тебе столького не хватало, моя дорогая питомица, ты была канатоходцем без чувства равновесия, крылатым существом в слишком большом небе, летящим все дальше и дальше с юга в сторону холодов, ты была Путто, ребенком, который жаждал быть увиденным, ты тосковала по телу милого мальчика, но еще не знала, каково это — тосковать по собственному телу, ты беспрерывно мечтала о возвращении покинувшей, и однажды ночью, что была темнее любой другой, ты под виадуком вытащила зажженную сигарету из моих сжатых губ, и я увидел, что ты измучена до предела; когда ты затушила зашипевшую сигаретную головку в ладони, я увидел, как опалилась плоть, а ты давила, пока окурок не сломался, пока не появился маленький серый кружок пепла, который вскоре превратился в зеленоватый волдырь, и в твоих глазах воцарилось то же спокойствие, как когда ты воткнула нож в бедро после вскрытия выдры, и я схватил тебя за запястье, дрожал и не знал, злиться ли мне или расстраиваться, кричать на тебя или шептать, не нужно ли мне потрясти

Лягушонка, выдру или птицу, пока все гайки и болты в тебе не вернутся в нужное место, но ты вздохнула, как будто от чего-то избавилась, и сказала: *«This wound never heals, it reminds me that not all cigarettes find a light, that not all of them find the right mouth, the loveliest one, I am one of those cigarettes, the one that always goes out because there's too much wind*[42]*»*. Я хотел сказать тебе, что подходящий рот сейчас перед тобой, что ветра нет, что свет в тебе никогда не погаснет, но я знал, что ты ищешь чего-то другого: не губ, которые будут целовать актрису, целовать желанную, но губ матери, которые ласково поговорят с тобой, которые прижмутся к твоей коже, когда ты будешь падать с края кровати во время взлета, губы как у матери Жюль, которая однажды с помощью соломинки высосала жало осы, ужалившей тебя в шею, губы, что избавили бы тебя от всех жал боли; и я посмотрел на ужасный пепельный кружок на твоей руке, и то, что я тогда сделал, было смешно, да, это было смешно, но я сделал это, я закурил еще одну сигарету, сделал пару хороших

[42] Примечания: 42

Эта рана никогда не заживает, она напоминает мне, что не все сигареты находят огонь зажигалки, не все находят подходящий рот, самый красивый, я одна из таких сигарет, та, которая всегда гаснет от слишком сильного ветра (*англ.*).

затяжек, пока она не стала по-настоящему горячей, стиснул зубы, чтобы выдержать ожидаемую боль, затем прижал кончик окурка к руке, сказав, что с этого момента мы оба стали Одинокими Сигаретами, что мы должны зажигать друг друга, если хотим гореть, и ты упала на колени и обняла мою ногу, как двухлетний ребенок, ты крепко прижалась щекой к коже моего голого колена — только так, когда у тебя появлялось ощущение, что ты залезла в чужую кожу, ты на какое-то время чувствовала успокоение, и страсть, которая в тебе бушевала, утихала, с этим объятием ты хотела такой же власти над тьмой, какую ты имела над рассветом, когда чувствовала себя свободной и игривой; но как бы ты ни собирала и ни наполняла свое бездонное тело моими пылающими и заботливыми мучениями, школьными учителями и своей воображаемой публикой, этого никогда не хватало — как только ты расцепляла руки, ты снова превращалась в измученного зверя, как только ты расцепляла руки, ты грубо нарушала магическое слияние и угрюмо стояла с опущенной головой, сгорбив плечи, безразлично поворачивалась спиной к своей публике, чтобы снова прийти к одному и тому же ужасающему выводу: они не могли дать то, что ты искала, а

именно — стать с кем-то одним целым навечно, невозможно снова обрести покинутую в другом человеке. И я положил больную руку с пульсирующей раной на твою макушку, я пошевелил волосы на твоей голове, и ты начала говорить о предсмертной записке Курта Кобейна, которую ты распечатала и повесила над своим столом, где жирным шрифтом было написано: *«There's good in all of us and I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad*[43]». И ты сказала, когда еще висела у меня на ноге, что это так красиво и правдиво, что ты чувствовала абсолютно то же самое, что ты могла слишком сильно любить людей и, следовательно, слишком мало — себя, что иногда ты становилась одним целым с кем-то настолько, что даже чувствовала себя счастливой, у другого мех всегда был теплее, чем у тебя, и с тех пор как ты стала превращаться в выдру, ты была в бесконечном поиске пропитания, ты постоянно искала подходящую еду, чтобы заполнить пустоту, и ты спросила, знаю ли я, что большинство выдр погибает в дорожных авариях, что выдра пряталась в тебе уже какое-то

[43] Примечания: 43

Во всех людях есть что-то хорошее, и мне кажется, я слишком сильно люблю людей, настолько сильно, что мне становится чертовски грустно (*англ.*).

время, что последняя дикая особь была убита во Фрисландии в 1989 году, и с тех пор выдра в Нидерландах считалась официально вымершей, только через тринадцать лет их снова выпустят на волю, а тем временем родилась ты, но это не попало в новости, потому что тогда ты еще не была новостью; и вдруг ты поняла, почему однажды, когда тебе было около восьми лет, ты легла поперек Приккебэйнседейк в джутовом мешке, а твой брат прыгал вокруг тебя, как испуганный кот, крича, что в любую минуту может проехать машина, но ты лежала там, как будущая жертва аварии, как сбитая насмерть выдра, и ты чувствовала себя лучше всего, когда думала, что мертва, что от тебя больше ничего не ожидалось, ты просто лежала на спине на асфальте и смотрела на васильково-синее небо, в котором не было учителей и в котором ты на короткое время представляла себя свободной от необходимости быть образцовой, от смятения, когда за всеми заданиями и другими учениками они не замечали тебя, потому что у учителей не восемь глаз, как у прыгающих пауков, а если бы даже это было так, ты бы захотела, а может быть, даже и потребовала, чтобы все восемь были направлены на тебя; и ты представляла, что тебя соскребают с улицы

лопатой, как делают с раздавленными выдрами, а твой брат стоял перед тобой, как дорожный инспектор, с раскинутыми руками, но ты не встала, пока не подъехала и не засигналила первая машина, ты свернула мешок и сказала, что в неволе выдры могут прожить до одиннадцати-пятнадцати лет и только три-четыре — в дикой природе; это означало, что у тебя есть еще год, и я понял, что ты живешь в плену, что Деревня лишила тебя всех свобод ради того, чтобы ты оставалась в живых как можно дольше, и ты отпустила мою ногу и встала, а я не сказал, что быть знаменитостью — это тоже своего рода плен, что многие люди захотят стать с тобой одним целым, но ты не должна этого допускать, что на тебя будет открыта охота, как только выйдет твой второй альбом, ты все чаще будешь лежать в мешке, не настоящем, но у себя в голове — никто не будет тебя безоговорочно любить, тебя полюбят за то, что ты создавала, они будут превозносить тебя до небес или бросать вниз; и ты сказала, что столько раз угрожала сбежать, что в какой-то момент тебе и правда придется собрать чемодан, чтобы тебе поверили, и я сказал тебе, что у всех нас в углу у двери лежит дорожная сумка, что нам нужна эта уловка, чтобы где-то задержаться, и ты спросила,

куда я хотел отправиться, и я ответил: *«Я хочу только к тебе, моя дорогая питомица, ты мой чемодан, ты мой побег»*. Ты кивнула и поджала губы, как часто делала, когда о чем-то думала, на этот раз я не прибежал, а приехал на фургоне, я приоткрыл дверь машины и включил радио, и в моих воспоминаниях в ту летнюю ночь постоянно играли песни про нас, как будто все вращалось вокруг моей страсти, вокруг ветеринара и его небесной избранницы, это был горячий сезон, когда часто ставили In the Summertime Манго Джерри, Surfin' USA The Beach Boys, а ты старалась выглядеть как Аврил Лавин, потому что Жюль тоже так делала, и ты впервые попробовала тушь, ты могла часами говорить о ее новом альбоме Under My Skin, что играл в твоем плеере, хотя ничто не могло сравниться с ее дебютным Let Go; тебе казалось, что всех музыкантов, которые начали с огромного хита, душило то, что они уже никогда не смогут его повторить, их талант был истрачен сразу же, в самом начале, сказала ты, и то же самое произошло с тобой, ничто не могло превзойти твой альбом Kurt12, хотя критикам хотелось утверждать, что с каждым альбомом ты становилась многослойнее, темнее, как писали в *The New York Times: «You can hear the homesickness*

in her voice, the homesickness for the countryside, for the life she left behind. She was the only one of her classmates to leave the village and now she is the only one who longs to go back. This record stems from an obsession with her childhood[44]». Я всегда вспоминал это последнее предложение и часто задавался вопросом, не из-за меня ли ты так одержимо желала вернуть то, от чего так сильно хотела избавиться, что я что-то отнял у тебя, у твоего детства, что ты так и не смогла вернуть, и никто не мог толком понять, что ты бросила эту девочку, когда уезжала, и как сильно ты тосковала по ней, я и сам не понимал, я понял намного позже, когда присяжные сидели напротив меня в темной комнате с дамокловым мечом над моей головой, и не только *The New York Times* напишет о тебе, но и *The Guardian*, и *The Independent*, все газеты провозгласят тебя великой, твое право на существование будет напечатано на кричащих заголовках жирным шрифтом, они анализировали тебя, как делал Фрейд в твоей голове, но ты пока была тут, моя возлюбленная, я все еще

[44] Примечания: 44

В ее голосе слышна тоска по деревне, по жизни, которую она оставила. Она была единственной из одноклассников, кто уехал из деревни, а теперь она единственная, кто хочет вернуться. Эта пластинка про одержимость детством (*англ.*).

видел под черной оболочкой божественное дитя, я был очарован твоими странными трепещущими движениями, когда ты что-то объясняла, тем, что ты никогда ни на кого не смотрела дольше нескольких секунд, а затем снова уводила взгляд в некую точку в космосе; я видел твои соблазнительные недостатки: ты постоянно ковырялась в носу, да, ты ковырялась в носу как сумасшедшая, особенно если чувствовала напряжение, или тебе приходилось думать о чем-то долгое время, или если ты не находила нужных слов — тогда ты заталкивала мизинец глубоко внутрь и начинала копать, пока не находила то, что искала, хотя ты никогда не делала этого на глазах у кого-то, кроме твоего отца и брата, и все-таки однажды я поймал тебя в багажнике фургона, когда ты думала, что я сплю; я схватил тебя за руку и нежно зажал твой мизинец между губами, я слизнул желто-зеленую слизь с твоего пальца, а ты самодовольно сказала: *«Теперь все мои мысли окажутся в тебе»*. Я ответил, что со мной они в безопасности, что я буду охранять их ценой своей жизни, я сказал, что ты должна съесть меня, чтобы вернуть их, это была детская привычка — ковыряться в носу, и поэтому мне так нравилось, что иногда ты случайно делала это и оказывалась в океане, где я

не мог до тебя добраться, сам процесс и соленый привкус во рту успокаивали тебя, и тебе казалось странным, что люди испытывают отвращение и плохо относятся к этому, ты даже где-то читала, что египетский фараон Тутанхамон нанял человека, чтобы тот ковырялся у него в носу, за что получал три головы скота, комнату и питание, ты думала, что это бесполезная работа, но заработок для того времени был неплохой; твой мизинец был специально создан, чтобы влезать в эти темные дырочки, и сопли были самой вкусной сладостью, которая у тебя была, Бог дал ее тебе бесплатно, это была твоя собственная кондитерская, раньше шутила ты, хотя кубики карамелек и мятные подушечки, конечно же, казались более соблазнительными, потому что ты никогда не испытывала жажды поковыряться в носу, это было не то, о чем ты мечтала и не могла дождаться, это просто происходило, и это было блаженство, и ты знала, что и Муссолини, и Гитлер были известны тем, что ковырялись в носу, и из-за этого ты ощущала еще больше общего с Гитлером, и твой папа всячески пытался помешать тебе делать это; сперва, если ты переставала так делать, он дарил тебе подарочки: куклу Барби, с которой ты в итоге играла только дважды, а потом сделала так, что-

бы ее расплющило под машиной, и похоронила ее в огороде посреди луковиц в надежде, что она снова зацветет, затем ты пошла дальше и стала строить на берегу реки хижины, где вы с братом притворялись, что живете в Средневековье, вы были странно очарованы им, точно так же, как и войнами, которые разыгрывали, и ты всегда хотела, чтобы в игре была авиакатастрофа, предпочтительно с «Боингом 247» 1933 года, в котором могли поместиться десять пассажиров, это был твой любимый самолет наряду с легким бомбардировщиком Douglas db-8a/3n, тоже из тридцатых годов; но даже после подарочков ты продолжала ковыряться в носу, и поэтому отец заставил тебя весь день носить кухонные прихватки, это помогало на какое-то время, но когда он разрешал тебе снять их вечером, ты ковырялась в носу до крови, чтобы наверстать упущенное время, и это было просто неудобно, ты не могла ничего взять в этих дурацких рукавицах, ты всегда думала, что жизнь слишком горячая, чтобы крепко хвататься за нее — каждый день был как блюдо из духовки; и когда тебе нужно было сходить в туалет, ты не могла вытереть попу, нет, это было невозможно сделать, не говоря уже о том, когда тебя заставляли долго держать руки в уксусе или скипидаре, и

каждый раз, когда ты клала палец в рот, по тебе пробегала дрожь, дрожь ошибки, но в конце концов ты слизала ядовитый вкус, это был последний козырь, который помог больше всего, по крайней мере, теперь ты делала это вне поля зрения своего отца, потому что он с отчаяньем вытащил из ящика для инструментов канцелярский нож и большим пальцем толкнул задвижку, с помощью которой серебристое лезвие выползало из щели — он сказал, что отрежет твой мизинец, если поймает тебя еще хоть раз, и это помогло, теперь ты в основном делала это, когда сидела в своей комнате или когда ехала на велосипеде, тогда ты ковырялась от души, и это помогало, потому что всегда приносило покой, приносило ответы и новые идеи, твой нос был сундуком с сокровищами, и он в конечном итоге приведет тебя к твоему великому труду, к твоему первому альбому, одна из песен с которого будет называться Picking Your Nose[45], и я не мог слушать эту песню, не чувствуя во рту твой мизинец, без мучительной тоски по тебе; ты утверждала, что внутри тебя находится миниатюрный пейзаж из комочков соплей, а еще ты могла сделать трюк, дотронувшись до носа

[45] Примечания: 45
Ковыряясь в носу (*англ.*).

языком, ты могла слизывать сопли из ноздрей, как это делают коровы, это был трюк, который ты часто повторяла на школьном дворе и за который твои одноклассники были готовы платить сотками, и я часто думал, что ты слишком много ковырялась, моя дорогая питомица, что ты погружалась слишком глубоко, как для своей роли в школьной постановке по клипу Майкла Джексона Thriller, песни, частично основанной на фильме ужасов «Американский оборотень в Лондоне» с монологом Винсента Прайса — вы должны были выступать перед всей школой и всеми родителями, это было в прошлом году, когда ты была в седьмом классе, и ты сказала мне, как пугалась каждый раз, когда учитель музыки показывал клип, и Джексон с визгом и ревом превращался в оборотня, а его руки — в когти, и уши заострялись; и ты рассказала, что по ночам ты видела головы зомби, вылезающих из могил, и учитель музыки указал вам на каждую деталь, на каждую эмоцию, которая была в клипе, он сказал, что это эмоции превращали зомби в зомби, а не бледность, мертвецкие движения или пустые глаза: правильная мимика — это сила, стоящая за любой игрой, и ты лучше, чем кто-либо, знала, какая мимика подходила к какой эмоции, потому

что и твой па, и покинувшая были тайными мимами, и тебя назначили на роль зомби, хотя ты бы предпочла играть главную роль, роль девушки, или даже скорее самого Джексона, потому что на нем был великолепный блестящий красный пиджак, и некоторые из твоих одноклассниц считали его секси; и в течение нескольких недель ты разучивала его танцевальные движения, ты каждый день приходила домой с выкрашенным в белый цвет лицом, а затем смывала эту мазню мочалкой, на которой оставался белый след; в те дни ты была еще бледнее, чем обычно, а текст песни был легким, он сразу отпечатался у тебя в голове, но вот танцевальные движения никак не давались рукам и ногам, тебе не хватало грации, ты слишком много думала о том, как ты двигаешься и как это должно выглядеть для публики, и когда ты стояла в актовом зале, казалось, что руки и ноги становились слишком тяжелыми, как будто с них свисали скатерти на магнитной застежке, которые хотели удержать тебя на месте, как будто ты была чучелом на поле, которое стояло среди кочанов красной капусты и немного деревянно подпрыгивало на ветру — у вас дома его звали Сверчком, твой па всегда спрашивал, как у Сверчка дела, когда все остальные темы

для разговора были исчерпаны, и в тот раз ты не смогла поймать ритм и слегка запаниковала, ты смотрела на своих одноклассников, которые свободно двигались под музыку с пустыми глазами зомби, а когда пришло время, когда ты, наконец, овладела хореографией, отчасти потому, что Камиллия занималась с тобой после школы и рассказывала мне дома, как глубоко ты погрузилась в материал, настолько безумно глубоко, что иногда ходила, как зомби, по школьному двору, вот как раз тогда, когда ты думала, что знаешь, о каком чудовище была эта песня, а именно о любви, и самозабвенно пела ее у себя в комнатке, как раз тогда, когда ты поняла каждую эмоцию и каждое слово, и все еще испытывала жуткую неприязнь к этой песне, однако ты смогла, хотя и не ожидала этого, начать думать о ней чуть мягче, именно тогда ты заболела, заболела от напряжения — так всегда происходило, когда ты дрожала из-за чего-то в школе, того, чего ты ждала или не ждала: у тебя начиналось расстройство кишечника, ты не могла идти в школу, и как только твой па говорил, что тебе нужно остаться дома, уже через час ты была здорова-здоровешенька, а затем фантазировала, как однажды получишь главную роль, как будешь сиять на сцене, но как только эта

перспектива брезжила вновь, как только нужно было что-то показать, у тебя заболевал живот, и приходилось оставаться дома, если только ты не выступала с Hide Exception, в этом случае ты была невероятно стойкой, ты была сияющим ангелом; и ты сказала, что так и не забыла танцевальные движения зомби, они спрятались где-то в твоих конечностях, и ты считала шумиху вокруг Джексона непонятной, ты все еще не любила его музыку и так никогда ее и не полюбишь — ты думала, он просто чудак, и не понимала, как Маколей Калкин мог с ним дружить, что актер из фильма «Один дома» в нем увидел, потому что Калкина ты как раз считала бомбезным, хотя тебе было очень грустно, что он увлекся наркотиками, но ты уже тогда понимала, что жажду успеха, а затем и похмелье от него нужно время от времени притуплять; и ты упомянула, что в 1991 году, в год твоего рождения, Калкин снялся в небольшой роли в клипе на песню Джексона Black or White, и тебе понравилось, как весело и безумно он, тогда еще ребенок, прыгал с воображаемой гитарой, а в конце зачитывал текст, это был единственный клип, в котором Джексон вызывал симпатию, но все-таки не мог увлечь твое сердце, ты смотрела этот клип несколько раз только из-за любимого

актера, потому что фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» втайне был одним из твоих любимых, тебе нужно было смотреть его каждое Рождество, потому что ты тоже чувствовала себя потерявшейся в Нью-Йорке, но совсем по другой причине, и если уж речь зашла об этом фильме, если однажды ты собралась бы поехать в Эмпайр-Сити, то хотела бы попасть на экскурсию «Живи как Кевин»: ты бы остановилась на ночь в том же отеле, что и Калкин, Кевин МакКалистер, в отеле «Плаза», где одна ночь стоит не меньше двух тысяч долларов — ты посчитала, это около двух с половиной дойных коров; ты бы прошлась мимо магазина игрушек Данкана в Рокфеллер-центре, по мосту Гэпстоу в Центральном парке, где Кевин встретил Птичницу, которую сыграла ирландская актриса Бренда Фрикер — она так сильно тебе нравилась, что ты надеялась, что встретишь ее там и спросишь, как поживает ее разбитое сердце, отдала ли она его кому-то вновь, а после экскурсии ты бы оказалась в своем гостиничном номере на кровати с балдахином, с темно-красным бархатным балдахином, съела бы десять мороженых «Сандей», а затем приняла ванну с облаками пены, и тебе показался бы забавным факт, что сцена в душе, где Кевин двигает

надувного клоуна за занавеской и заставляет мистера Гектора думать, что он действительно путешествует со своим отцом, была вдохновлена клоуном Пеннивайзом из «Оно», и тебе нравилось цитировать строчку из «Один дома», самую восхитительного фразу всех времен, из черно-белой сцены, вдохновленной гангстерским фильмом «Ангелы с Грязными Лицами» — и в удачные, и в неудачно выбранные моменты ты могла внезапно сказать, холодно ухмыляясь: *«Сдачу можешь оставить себе, грязное животное»*. И иногда ты копала так глубоко, что я боялся, что однажды ты наткнешься на грунтовые воды, что упадешь на дно, хотя у людей на самом деле не было дна — как только его касаешься, оно исчезает под ногами, и всегда можно погрузиться еще глубже, или, как ты пела в Picking Your Nose: *«The bottom is not the ground, your nose is not a way out, and it will always be like that, the depth is the depth that you create yourself. I dig and dig and no one sees that I've become the bottom of the hole, nobody sees it, my dear, they see my bleeding nose and they think it's just a*

nosebleed[46]». Я видел, что в то лето у тебя часто шла кровь из носа, ты выглядела как ребенок с картины русского художника Васнецова: он сидел на скамейке рядом с дамой, засунув палец глубоко в нос, ты была похожа на него, я видел корочку свернувшейся крови по краю твоих ноздрей, и иногда, когда никто не смотрел, ты высовывала язык и пробегалась по ним, и никто не расплачивался за это зрелище сотками; во время наших поцелуев ты была на вкус как металл, и я только усугублял эти раскопки, ты прокапывала себе выход, но я не был носовым платком, я не был салфеткой, останавливающей кровь, я был грязью на внутренней стенке, повреждением волосков на слизистой, я был струпом, который все время шелушился.

[46] Примечания: 46

Дно — это не земля, твой нос — это не выход, и так будет всегда, глубина — это глубина, которую ты создаешь сам. Я копаю и копаю, и никто не видит, что я стал дном ямы, никто не видит, мой дорогой, они видят мой кровоточащий нос и думают, что из носа просто течет кровь (*англ.*).

27

Порой я больше не понимал, сплю я или бодрствую. Дрожа от прокаженных мыслей, я сидел за рулем фургона и рассматривал свои руки, словно они принадлежали незнакомцу, как будто черты моего «я» были смутным воспоминанием о том, кем я являлся; я подвигал пальцами вверх-вниз, постучал по рулю и внезапно почувствовал, что ветеринарный халат жмет под мышками, верхняя пуговица давит на адамово яблоко, поэтому я расстегнул их все и рукавом вытер пот со лба, думая, что такое начало очень в стиле Пруста, что, возможно, за последние несколько дней, прежде чем выключить ночник и улечься спать, я слишком часто читал первый том «В поисках утраченного времени», потому что некоторые утверждали, что Пруст обогащает жизнь, и эта рекомендация показалась мне привлекательной, хотя некоторые приберегали эту книгу на те времена, когда настанут последние дни, те, что наступят, прежде чем Господь изольет Дух Свой на плоть; и, возможно, это и были мои последние дни, в любой момент могло прозвучать объявление, что почти пришло время закрываться,

как оповещение в бассейне, когда все послушно сворачивали свои полотенца, поднимали с травы пустые упаковки из-под сока, и поэтому я начал читать Пруста, но его язык был тяжелым, неуловимым, словно маскарадный костюм для того, что на самом деле было сказано, и я часто впадал в отчаяние, зная, что в цикле было еще шесть частей; да, Пруст сводил с ума, хотя больше меня беспокоила любимая книга, сквозь которую мне не нужно было продираться, которую я прочитал после «В поисках утраченного времени», мне приходилось закрывать глаза и отчаянно перелистывать в уме страницы в поисках того, что удовлетворило бы мою похоть, этой любимой книгой была ты, мой милый питомец, ты была как рассказ, которую я всегда хотел прочитать, и я боялся того дня, когда мне придется навсегда закрыть твою обложку, когда ты отвернешься от меня, а я не смогу этому помешать; некоторые сцены доводили меня до безумия, до экстаза, и тогда я прислушивался к размеренному дыханию Камиллии, точно зная, когда она о чем-то размышляет или находится вдали от меня — только когда я был уверен, что она не услышит, я выскальзывал из кровати: в этот раз я взял с собой первую часть Пруста на случай, если она проснет-

ся и поймает меня, тогда я всегда мог сказать, что читаю, и пошел в ванную, где рухнул на сиденье унитаза, спустив трусы-боксеры на лодыжки, и тут началось падение, я падал и падал, пока не прижался губами к оконной сетке, пока мне не пришлось сдерживаться, чтобы не заорать, не выкрикнуть твое имя; я представлял, что мы лежим в гнездышке детской страсти среди плюшевых игрушек, как в тот раз, когда ты болела, и я всегда фантазировал, что проникаю в эту лихорадочное и безвольное детское тельце, и ты тихонько шепчешь: *«Курт, расчлени меня»*. Чем слабее было твое тело в моих руках, тем сильнее и быстрее двигалась моя рука по своему рогу-убийце, и тем больше слюны капало на сетку, когда я прижимался языком к отверстиям и пытался усмирить дыхание; я чувствовал вечернее тепло на губах, я думал, что ощущаю вкус крыльев комаров снаружи, большим пальцем я открыл книгу Пруста, которую все еще держал в другой руке, произнес про себя твое имя, *Путто Путто Путто*, и неуклюже излил семя меж коричнево-желтых листов цвета твоей летней кожи, на страницу сто тридцать три, если быть точным, под, пожалуй, самой обнадеживающей строкой «В поисках утраченного времени»: *«Пусть небо*

всегда остается голубым для вас, мой юный друг; и даже в час, который наступает теперь для меня, когда леса уже черны, когда уже сгустилась тьма, вы будете находить утешение, как нахожу его я, смотря на небо[47]». Мне на мгновение захотелось почитать еще, бесстрашно взглянуть на весь цикл, как я смотрел в зубы лошадям, и не отпрянуть, хотя эта страница будет испорчена навсегда, она склеится со страницей сто тридцать второй, их больше не разделить, не порвав, и когда я посмотрел на небо, я знал, что оно будет голубым, что мы оба глядим на один и тот же свод, и эта мысль сделала меня счастливым, и я подумал об этом в своем фургоне, когда откусил кусок имбирного пряника, который испекла Камиллия, и я не был уверен, был ли он горьким из-за того, что я солгал ей, или из-за того, что она не добавила в него достаточно сахара: может быть, она хотела, чтобы он был горьким, чтобы я почувствовал, как велико ее горе, ведь она знала о нашем поцелуе, она не могла выкинуть нас из головы, она хотела говорить об этом снова и снова; она больше не называла тебя по имени, теперь она звала тебя «тот ребенок», и от этого

[47] Примечания: 47
Пер. А. А. Франковского.

я чувствовал себя еще более презренным, мы еще понятия не имели, что происходит у нас над головой, мы даже не подозревали, что в какой-то момент небо надолго перестанет быть голубым, что Хэррит Хиймстра заговорит о затяжной облачности, о темно-серой дождевой туче; и я вышел из машины, чтобы осмотреть несколько овец с копытной гнилью и тетанией на овцеводческой ферме и дать им лекарство от паразитов, я пожал руку фермера и почувствовал легкость в голове, как будто снова плыл в сумерках между сном и бодрствованием, я присел на корточки на лугу рядом с фыркающими в тени парнокопытными, я оглянулся, чтобы проверить, видит ли меня фермер, затем прижался головой к горячей бритой туше и заговорил с овцой, словно это она была моей любовью, я рассказал ей о тебе, о нас — конечно же, это было безумие, но она, казалось, меня понимала, и я прижался носом к ее шерсти, почувствовал, что мое лицо стало жирным, и я пообещал себе, что больше не буду читать Пруста, может быть, я не готов к такому духовному обогащению, не сейчас, я хотел читать только тебя; я описал тебя овце и не мог удержаться и не преувеличить твою любовь ко мне, не мог не сказать, что без меня тебе не на что было бы

опереться, я описал, какой ты была невероятно красивой, какой безупречной формы твои губы, подбородок, ноздри, родинки на шее, как точки на яблоках, ты была моей любимой культурой, моим урожаем, и я еще не знал, что после полдника овца умрет, что я с трепетом раскину над ней брезент и буду задаваться вопросом, кто ее съел — личинки или мои отвратительные секреты, и в плохом настроении я поехал домой, где Камиллия соблазняющим тоном сказала, что сыновья в бассейне, что весь дом принадлежит нам двоим, что она купила новое нижнее белье только для меня, ох, она прилагала отчаянные усилия, чтобы снова стать желанной для меня, чтобы я забыл про *того ребенка*, который проскользнул между нами, а я рассказал ей о мертвой овце, что мне слишком грустно заниматься любовью, и она уложила меня на диван и поместила мою голову себе на колени, гладила мои волосы, успокаивала меня, но прежде всего саму себя, и повесила комплект нижнего белья обратно в шкаф — однажды я отдам тебе трусики от него, потому что ты расскажешь мне, что у всех девочек есть трусы с веревочкой между ягодицами, а трусики с бантиком, которые ты носила, внезапно вышли из моды, и вообще, такие девочки, как ты, вышли

из моды, твои трусики называли ловушками, одноклассники дергали за них, когда в классе ты нагибалась, чтобы вытащить из сумки ланч-бокс с Бертом и Эрни, резинка щелкала по твоей коже, а одноклассники дразнились и спрашивали, поймала ли ты ею что-нибудь — поэтому ты была в полном восторге от красных трусов Камиллии, которые были тебе велики: они торчали над поясом твоих джинсов, как крылышки птицы, все видели птицу, сломанную пернатую, тоскующего подростка, и твой папа найдет эти трусики в грязном белье и бросит их в огонь, ты соврешь, что купила их в «Текстиле Ханса» в соседней деревне, про которую в нашей Деревне говорили, что Бог там — риелтор, и владеет всеми домами, и твой па спросит тебя, для кого ты такое носишь, ради кого хочешь выглядеть как дьявол, и ты закричишь, что делаешь это для себя, и будешь еще усерднее тренироваться взлетать, ты будешь биться о потолок, а глаза твои будут полны слез, полны гальки, и не было никого, кто бы понял, что все твои попытки принадлежать кому-то потерпели неудачу, потому что ты — иная, и эта инаковость в конечном итоге покажется тебе спасением и одновременно — поражением; и ты рассказывала мне, как загорелись трусики, как плохо тебе от

этого стало, что зефир, приготовленный на огне, после этого стал другим на вкус, у него появился привкус жизни, которую ты никогда не сможешь иметь, и я не спрашивал, что это за жизнь, потому что ты продолжила, что тебе на самом деле не особо-то нравилось, как сидели эти трусы, и эта веревочка между ягодицами — теперь, если тебя дразнили за твое белье, ты перечисляла все виды рыб, которые можно поймать на такую веревочку, и показывала руками размеры окуня, и через некоторое время одноклассникам это надоело, хотя ты все равно переживала, что Жюль спрашивала, где твоя грудь, куда подевалась твоя грудь, как твой па часто задавался вопросом, где почта, куда девается почта, и ты представляла, что твоя грудь однажды окажется в почтовом ящике, завернутая в пузырчатую пленку, но твой па ее перехватит, как он перехватывал рекламные брошюры, потому что магазин «Барт Смит» был филиалом дьявола; и Жюль говорила, что ты единственная, у кого плоская грудь, и ты просила ее у Бога, но, как обычно, он молчал как мертвый, и ты шептала мне, что Бог похож на окуня, после разделки которого остается совсем немного мяса, и ты разделывала Его до костей, ты задавала так много вопросов, но не получала ответов, как не

получала их, когда тебе было около семи лет, и ты все еще истово верила в Него и не сдавалась, ты говорила: *«Может быть, у него сломалась рация, и Он меня не слышит»*. Мне это так понравилось, что я кивнул, я унял твои сомнения, я сказал, что рано или поздно у тебя что-нибудь обязательно вырастет, и ты удовлетворенно оглядела себя, хотя, если бы у тебя был выбор, ты бы предпочла мальчишеский рог, а не грудь, а я сказал, что ты можешь иметь все что хочешь в своем воображении; а позже я поставил Пруста обратно в книжный шкаф, рядом с Де Садом и Толстым, мне хватало моей любимой книги, тебя, потому что это ты обогащала мою жизнь, это у тебя я загибал закладкой каждую страничку, наслаждался и шрифтом, и пустыми строками, я хотел запомнить в тебе все, и вскоре обнаружил, что лучше сплю без чтения «В поисках утраченного времени»; Камиллия допрашивала меня о книге, как она обычно делала, прежде чем прочитать ее самой, хотя ей больше нравились триллеры: она всегда сначала читала конец, а потом начинала сначала — иначе она не могла справиться с напряжением, она должна была знать, кто кого убил, и я назвал этот роман борьбой, не зная, что, протирая книжный шкаф, она быстро пролистает

его, что она найдет склеенные страницы ближе к концу и придет к собственным выводам, она спросит меня, о ком я думал, когда доставлял себе удовольствие, а я самозабвенно совру, скажу, что думал о том, чтобы завести еще одного ребенка, да, чтобы мы создали мягкое маленькое существо, которое будет цепляться за наши шеи пухлыми липкими ручками, и хотя я был слишком стар для этого, я знал, что она хотела большую семью, я знал, что ее согреет это признание, что ее жесткий взгляд смягчится, и она на время забудет о другом ребенке; и с этого момента Пруст приобрел другой смысл в моей жизни, он олицетворял мое бегство из этого существования, мою ложь, которая, как неплотно прибитый карниз для штор, хлопающий на ветру, — карниз свисал все ниже и поэтому пропускал все больше света и тьмы; а потом я подумал, что этот хлопающий карниз — я сам, я хлопал на ветру, пока все однажды не рухнуло, ах, часто думал я, ну и пусть рушится, пусть все рухнет.

28

Ходили слухи, что покинувшая находилась в комнате для гостей под валиумом. Что она лежала там, ожидая, что Бог придет за ней, чтобы вострубили трубы из трехсотого псалма, хотя некоторые также утверждали, и это звучало более правдоподобно, что она уехала, что однажды она отправилась в дальнюю страну, они говорили о Ставангере в Норвегии или еще дальше, третьи говорили, что она отсутствовала, просто отсутствовала, вот и все, и я подумал, что это лучшее описание для той, кого ты больше никогда не видела, как будто у человека в голове всегда была доска для презентаций с именами на карточках, которые были поделены на Отсутствующих и Присутствующих, и в списке слева у тебя было уже много людей: команда дедушек и бабушек, как ваших, так и тех, кого ты откопала у своих подруг и посвятила в собственных бабушек и дедушек, и конечно, там был потерянный — в самом верху списка, не говоря уже обо всем стаде коров, павшем во время эпидемии ящура, а еще дочка друзей твоего папы, которая жила на Афондлаан и умерла от менингита в возрасте пятнадцати лет

в тот же год, когда случился теракт 11 сентября — ее похороны ты помнишь до сих пор, потому что помнишь все похороны после потерянного, а еще потому, что на них пели Tears in Heaven Эрика Клэптона, и тогда ты впервые услышала эту песню, и с тех пор всегда носила ее в себе, особенно после того как прочла, что в среду 1991 года, через месяц после твоего рождения, его оставленный без присмотра четырехлетний сын выпал с пятьдесят третьего этажа небоскреба на Манхэттене; это был день, когда покинувшая случайно уронила тебя с деревянного комода, и ты была уверена, что эти события связаны, но ты всегда задавалась вопросом, почему один из вас выжил при падении, а другой — нет, и конечно, эта история стала еще более символичной: сперва это случилось с тобой, а почти три года спустя — с потерянным, и никто в нее больше не верил, ты продолжала жить дальше, но думала, что знаешь, каково это — рухнуть с небоскреба, это произошло в Нью-Йорке и потому затронуло тебя еще больше, и я снова подумал о списке отсутствующих и присутствующих, о том, что учительницы начальной школы тоже остались слева: они все еще существовали, но исчезли из твоей жизни, а ведь они были самыми важными людьми в

течение восьми лет, людьми, которые познакомили тебя с миром за пределами Деревни, хоть и через книги, людьми, которые сажали тебя на колени и заправляли волосы за уши, ставили тебе хорошие оценки за все устные предметы, даже если ты запиналась и отвлекалась на самые странные вещи я давно забыл своих учителей и преподавателей, но ты своих — никогда, они всегда стояли за кулисами твоей памяти, готовые появиться на сцене, а еще был ортодонт, тоже в списке отсутствующих, а также преподаватель по коррекции дискалькулии и физиотерапевт, тот, кто спас тебя от растущего искривления — они отпустили тебя, когда решили, что ты начала расти к солнцу, дебилы, они отпустили тебя, когда тьма затаилась, как просыпающийся ротвейлер; и потом еще был отец одноклассника — владелец автосалона, который выстрелил себе в голову из револьвера на заднем дворе, ты часто видела его у школы и считала его своей потерей, потому что он всегда улыбался и ласково махал тебе рукой, и никогда не подавал виду, что у него проблемы со смыслом жизни, ты часто фантазировала, что купишь темно-зеленый Volvo 960,

of course[48], модели 1991 года, на скопленные карманные деньги, хотя ты все еще сомневалась, выбирая между Volvo и Mercedes-Benz, потому что считала одноименную песню Дженис Джоплин грандиозной, это был последний хит, который она выпустила перед своей смертью, и иногда ты думала, что это потому, что в песне она просила Господа купить ей Mercedes-Benz, цветной телевизор или ночь в городе, а ты знала, что Господь не был материалистом, и может быть, Джоплин из-за этого разочаровалась, а разочарованные люди похожи на машины без бензина, сказала ты, на те машины, что никогда не проходят испытание на эстакаде, в итоге ты все равно выбрала бы Volvo 960, ты бы повернула время до выстрела вспять, и ты купила бы машину, чтобы порадовать отца одноклассника, чтобы он был счастлив, чтобы он захотел пожить еще; и вообще, ты жила в деревне, где было потеряно многое, где в 1953 году во время наводнения прорвало дамбу Прикебэйнседейк, и люди пропали без вести, потом была еще одна потеря, которая тяжело сказалась на Деревне, изменила дружелюбную атмосферу в ней, а именно — исчезновение девятнадца-

[48] Примечания: 48
Конечно же (*англ.*).

тилетней девушки с Бенэйденпейлстэйх летом 1984 года во время открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе — на окнах многих домов все еще висели пожелтевшие плакаты с ее лицом, и все, кто родился здесь или приехал сюда жить, носили в себе это бремя, не только из-за тайны или потери, но в основном из-за страха, страха, что тебя могут просто похитить в июльский день, что тебя похитят и ты никогда больше не увидишь белый свет, эта мрачная угнетенность особенно отражалась на деревенских девушках, и все в Деревне долго были подозрительными, прошла даже церковная служба, на которой преподобный Хорреман настоятельно призвал преступника выступить вперед, освободить прихожан от этой мучительной хватки; и много позже, через два года после этого строптивого лета, Питер Р. де Фрийс[49] заново откроет это дело и посетит Деревню, ты увидишь его в синей рубашке вместе со съемочной группой на заправке, и это в равной степени и успокоит тебя, и испугает, Бенэйденпейлстэйх граничила с Приккебэйнседейк, и ты всегда вздрагивала, когда проезжала мимо дома номер четырнадцать, ты словно погружалась в

[49] Примечания: 49

Криминальный репортер, 6 июля 2021 года был убит выстрелом в голову, предположительно, за свою расследовательскую деятельность.

страх от всех образов, которые преследовали тебя с наступлением ночи, от всех историй, которые рассказывали в округе, их все объединяло одно знание: в Деревне жили те, кто знал больше других, преступник, вероятно, состоял в религиозной общине, и, следовательно, любой юноша был защищен от внезапного похищения, а значит, подразумевалось, что быть девушкой небезопасно; в твоем списке были еще отсутствующие — в пяти могилах от потерянного лежала девушка, которая захотела искупаться, прыгнула с лодки в Тэйхенланде и попала в гребные винты: ты проходила мимо нее, когда посещала потерянного, читала надпись на надгробной плите, и гравий хрустел под ногами — ты не могла понять, почему на кладбище рассыпали гравий, его хруст только усугублял тишину; да, это была деревня, полная отсутствующих, но твоей самой большой потерей был не продавец автомобилей, или дочь друзей твоего отца, или ортодонт, твоей самой большой потерей была покинувшая, она была так далеко, в Ставангере в провинции Рогаланд, она уехала от тебя после аварии, когда тебе было почти три года, и я видел, как велика была эта покинутость, как она гноилась в тебе словно нарыв — так же, как во мне гноилась моя любовь к тебе,

хотя это было почти несравнимо, я мог отрезать свою любовь в любой момент, но тебе пришлось носить с собой свою покинутость всю жизнь, и я видел, что как только я ослаблял поводья, ты взрывалась отчаянным трепетом, как будто больше не чувствуя ветра под крыльями, ты кружила как птица с наветренной стороны моего тела, на восходящем ветре, который поднимался с каждым моим словом, тогда ты, казалось, забывала про свой курс на юг; ах, в твоем списке было так много отсутствующих, и ты часто искала в учебнике по географии Норвегию, читала про лунный пейзаж Глоппедальсура, ты была уверена, что покинувшая находится там, среди хаоса валунов, и тебе казалось ужасным, что Википедия не знает ни одной знаменитости, которая жила или живет в Ставангере, потому что тогда покинувшая не была бы одинока, и это успокоило бы тебя, как тебя успокаивало, что Пэйтер Р. де Фрийс склонился над Деревней, взял ее в свои руки и решил отыскать всех ее отсутствующих на диких тропах, но он никого не нашел, он ничего не нашел, а ты смотрела на карту Норвегии и фантазировала, что отправишься туда на купленном Volvo 960, будешь ехать на зимних шинах и осматриваться в поисках; но, может быть, она

давно покинула портовый город, думала ты и надеялась, что она поехала в Бекслихит на юго-востоке Большого Лондона, где живет Кейт Буш, что они окажутся соседками, да, они окажутся соседками и каждый день будут пить черный английский чай с молоком, макать в него песочное печенье, болтать о том, как прошел их день, ты надеялась, что в разговорах о том, как прошел их день, они даже о чае забудут, что Кейт Буш споет песню Cloudbusting с альбома Hounds of Love, или Running Up That Hill — любая бы подошла, потому что большинство ее песен о потерях, и ты могла представить, как они сидят вдвоем в типичном британском доме с ковром в узорах из цветов и густым ворсом, часами смотрят BBC, и ты задавалась вопросом, успевает ли Бог наблюдать за Лондоном, когда в Деревне было так много дел; и иногда мне казалось, что левая часть твоего списка настолько полна, что ты забывала про правую, что она менее важна для тебя, потому что ты лучше умела обращаться с мертвыми или отсутствующими, чем с теми, кто был жив, и я понял, что забыл Клиффа, маленького ангелочка, а еще твою подругу по переписке, с которой ты познакомилась через рубрику в газете «Ферма» и которая поначалу часто писала тебе письма, на

которых было налеплено сразу несколько марок, потому что они были полны лжи, поэтому ты отвечала, что живешь в Нью-Йорке и пережила падение с небоскреба, что каждый день гуляешь по Центральному парку и видела голубятню из «Потерявшегося в Нью-Йорке», что ты часто проводила время в Карнеги-холле, концертном зале, где выступали Фрэнк Заппа, Билли Холидей и Жак Брель, ты писала, что часами бродила по Пятой авеню и по Бродвею, думая о песнях, которые хотела написать, о жизни, которой там было больше: например, о порциях в «Макдоналдсе», о случайных эспрессо с Аль Пачино, и что он был очень добрым человеком, да, очень добрым, что он ни разу не сказал fuck, хотя в «Лице со шрамом» произносил это слово примерно двести раз, что он носит костюм из «Крестного отца» и что вы ходили к статуе Христофора Колумба и статуе Алисы в Стране чудес, стоящей в Центральном парке, где Алиса сидела на грибе, а вокруг нее расположились кот, кролик и Шляпник, бронза статуи красиво сияла, потому что каждый день сотни детей забирались на нее, и статуя была отполирована их липкими ручками, ты думала, что стихотворение Льюиса Кэрролла «Бармаглот» на гранитном круге вокруг Алисы выразитель-

ное, даже хотя ты мало что в нем понимала, ты думала, что оно замечательно звучит, и своей подруге по переписке ты писала целые рассказы о городе, который никогда не спит, но редко — о твоем реальном существовании, о твоем папе, о брате и коровах, о себе самой или о птице, и скоро переписка иссякла: вы далеко не каждый год обменивались школьными фотографиями, и поэтому она исчезла, и вы ограничивались лишь необходимыми любезностями, поздравлениями и рождественскими открытками, пока и этот контакт в конечном итоге не истек кровью, и я не мог не думать о правом списке, в котором были Жюль, Элиа и Лягушонок, где у твоих воображаемых друзей вроде Гитлера и Фрейда тоже было место, и я понимал, что объединяло тебя с Гитлером, по крайней мере, я видел сходство в вашем происхождении и дате рождения — вы оба многое потеряли, но вот что делал основатель психоанализа в твоей хорошенькой головке, я совсем не понимал, я не знал, где ты его нашла, но он занимал слишком много места, места, которое хотел заполнить я, я хотел быть на вершине списка присутствующих, я хотел присутствовать в нем вечно, я хотел карточку с именем, которую нельзя было бы переместить.

29

Была переменная облачность, за день выпало девять целых два десятых миллиметра осадков. Для окончательного прощания потребовался бы счетчик дождя, заполненный доверху, или нет, я хотел увидеть, как он переполнится, мне нужен был образ переполненного датчика дождя, когда я прощался с тобой навсегда, вода должна была выливаться из него, как она лилась в моем сердце, но я не мог проститься, не сейчас, и все чаще и беспокойнее я следовал за тобой от бассейна до середины Приккебэйнседейк, я точно знал, с кем ты тусуешься, с кем делишься своими сладкими лягушками, стоя в купальнике перед бассейном, как ты смеешься над непонятными мне детскими шутками, и я видел, что чем ближе ты подъезжаешь к ферме Де Хюлст, тем больше начинаешь вилять по дороге через польдер, как все сильнее раскачиваешься, объезжая белые полосы; ты была никчемным курьером, любовь моя, и чем больше я присваивал тебя, тем больше милых мальчиков ты возила на своем багажнике, как будто твоя жадность не знала границ, и ты все еще ждала чаевых, но с меньшим рвением, чем

раньше, потому что теперь ты знала, как выглядит рог-убийца, ты знала, что у твоего желания была кривая роста, которая будет становиться все круче и круче, хотя тебе по-прежнему больше всего нравились рога ангелочков, эти бледные трубочки с кремом, но были и сомнения, да, были сомнения, потому что мать Жюль во время работы в саду откопала морковь с презервативом, она допросила вас, когда, по обыкновению, раздавала вам свежие апельсины после школы, по вечерам в пятницу ты всегда ела у них куриные ножки с овощами и картофельными крокетами, ты ненавидела куриную кожу, свисающую с ножек, но жадно поглощала семейную атмосферу; вас допросили, и мать Жюль объяснила то, что вы уже прочитали в книжке про секс, найденной на чердаке, ты слушала только рассеянно, ты всегда слушала рассеянно, потому что стояла одной ногой в реальном мире, а другой — в темном царстве своей фантазии, ты хотела услышать все, но тебе нужно было отвлечься, и, находясь в плену уютной домашней атмосферы, ты неожиданно рассказала, что иногда кое с кем целовалась, что ты целовалась со мной, с ветеринаром — ты ожидала аплодисментов, похлопывания по спине, но увидела только серьезные взгляды, и мать Жюль

даже сказала, что это *серьезно*, и ты побледнела от новости о том, что с тобой случилось что-то ужасное, поэтому ты солгала, что это случилось только один раз — тот, о котором знали твой отец и брат, но ты была слегка взволнована, когда мы встретились позже — я с нетерпением ждал, когда, наконец, снова увижу тебя в свете дня, а не только ночью; и когда Камиллия с детьми уехала на день в город, это позволило мне незаметно провести тебя на постановку «Эндшпиля» Беккета, и ты подумала, что это безумие: два человека пытаются вырваться из одиночества, пытаются жить вместе на обломках Второй мировой войны, двигаясь к бесповоротному концу, и ты сказала, что смогла бы жить с кем-то, только если бы могла выдержать жизнь в одиночку, а я иногда оглядывался во время постановки, чтобы понять, не видны ли лица знакомых, которые выдали бы то, что мы вместе, а затем поворачивался обратно, к красивому удивленному личику, наполовину скрытому под панамой и летним шарфом Камиллы; я принес их тебе, чтобы тебя не узнали, да, это было смешно, я даже накрасил тебе губы помадой, и ты сидела в театре, как прекрасная дочь короля, словно актриса, а потом прошла мимо одного из других залов, где

играли кукольный спектакль, проскользнула внутрь, и я смотрел из дверного проема, как ты рухнула посреди малышей и завизжала от смеха над глупыми шалостями Яна Клаассена[50], ты выкрикивала его имя громче всех, когда в спектакле собирались что-то украсть, и на мгновение мне стало грустно от того, какой ты еще ребенок, а я оскверняю тебя своим отклонением, но эта мысль исчезла, когда мы пили кока-колу в фойе, и ты была самой красивой из всех зрительниц, я задал тебе вопросы про собаку, почему она так важна в пьесе Беккета, и рассказал тебе, что она служила символом примирения в ссоре между Хаммом и его младшим слугой Кловом в бомбоубежище, что собак часто используют в качестве миротворцев: люди думают, что четвероногий может спасти их дружбу или брак, — и ты сказала, что пьеса была о глупости, безрассудстве, а еще о тщетности существования, когда игроки и марионетки оказались в разрушенном мире, в развалинах, а голос Марии Каллас был взят за отправную точку, потому что в ее голосе можно услышать разруху, отчаяние и разложение, которые забирали жизнь, боль между двумя людьми,

---

[50] Примечания: 50
Популярная кукла, аналог Петрушки.

которые не могли понять друг друга; и я спросил, что тебе так нравится в Яне Клаассене по сравнению с этим шедевром, тебе пришлось некоторое время поразмыслить, и ты ответила: *«Иногда именно простота заставляет все работать. Вот чего не хватало Хамму и Клову: простоты во всем, отсутствия всяких сложностей. Если ты можешь видеть отсутствие, отсутствие чрезмерности, ты лучше справляешься с тем, что тебя захватывает, ты должен иметь возможность желать и того, и другого, и ты должен уметь ненавидеть и то, и другое. Но простота всегда остается простотой».* Я улыбнулся и сказал, что ты правильно поняла пьесу, ты просияла от гордости, прикоснувшись губами к стакану с кока-колой, а затем ты рассказала, что в 1995 году вы с отцом и братом ходили в кукольный театр на «Зеленые пальцы, синие глаза» Мархрэйт Хрэйве, это был спектакль про грядку с овощами и что-то про говорящие огурцы, ты точно не помнила, запомнилась только темнота в помещении и смутно — несколько кукольных лиц, и это был один из самых приятных дней, которые ты можешь вспомнить, потому что твой па засмеялся впервые после аварии, он засмеялся, а ты и твой брат в восторге переглянулись, ты подумала,

что все будет хорошо, но ферма — это не кукольный театр, никто не управлял вами с помощью веревочек, и тебе казалось, что это досадно, но тут у тебя снова возникло чувство, что все будет хорошо; и я прижался голым коленом к твоему под шатким столом, увидел, что ты вздрогнула от прикосновения, слова матери Жюль не шли из твоей головы, как и ее объяснение про голого мужчину и голую женщину из книги и о том, как делать детей или как сделать так, чтобы от *этого* детей не было, что вы должны сильно любить друг друга, должны быть влюблены друг в друга, и ты чувствовала, что правда любишь меня, но мать Жюль сказала, что влюбленность превращает сердце в куст буддлеи, и ты знала, что сейчас, с июля по сентябрь, у буддлеи сезон цветения, но твой куст был срезан после того, как мой сын его сломал, а обрезанные кусты могли одеревенеть, повредиться или стать пищей для болезней, ведущих к засыханию, и даже если он мог противостоять суровым ветрам, ты сомневалась, что ради меня он зацветет, хотя ты ощущала мурашки по всему телу, когда я тебя целовал, и это сбивало тебя с толку, а я сказал, что мурашки — это хорошо, это знак того, что гусеницы медленно превращаются в бабочек; но ты не могла

забыть серьезных слов матери Жюль, и поэтому после спектакля я повел тебя на маленький пляж на Вудеплас, в безлюдное место, я приказал тебе войти в воду в одежде, как известный режиссер заставлял своих актеров забыть предыдущий спектакль, приказывая им прыгать в костюмах в ледяное озеро, в озеро Верхнее, которое граничит, среди прочего, с Миннесотой, позволяя холоду овладеть ими, пока они не будут думать только о температуре своих тел, пока они не получат легкое переохлаждение, и во время купания им приходилось снимать одежду, один предмет за другим, их роль в прямом и переносном смысле опускалась на дно, голые как младенцы и дрожащие, они позже стояли на берегу и чувствовали себя чистыми и обновленными, их альтер эго утонули, и теперь они были готовы к следующему спектаклю, к новому тексту, к новому персонажу; и я видел, как ты уходишь в воду, под воду, я снял штаны и рубашку и последовал за тобой в прохладу Приккебэйнсеплас, подплыл к тебе и велел забыть все слова матери Жюль: то, что мы делали, было хорошо, и никто не знал нашего сценария, и нельзя ставить двух режиссеров на одну и ту же пьесу, потому что они никогда не будут двигаться в одном направлении, и это

вызовет недовольство среди актеров, они будут бесцельно бродить по сцене, они запутаются в хаосе; и я сказал, что помимо пилота я был режиссером, что в конце концов я добьюсь того, что ты засияешь так, как ты хотела сиять, что аплодисменты, которые только что звучали в театре, однажды будут в твою честь, точно такие же, как после кукольного спектакля, но аудитория будет только увеличиваться, ты покоришь весь мир своими альбомами, и я заставил тебя выбирать между мной и куриными ножками по пятницам, между Ромео и Джульеттой и Королем Лиром — произведением, в котором одна из ревнивых дочерей пытается свести с ума своего отца, чтобы заполучить его владения, и ты тихим голосом сказала, что я не сумасшедший, но я возразил, что Жюль и ее мать будут заставлять тебя в это поверить, и ты вяло сказала, что выбираешь меня, а я ответил, что не слышу тебя, и над водой разнесся твой крик: *«Курт, я выбираю тебя, я твоя, я Джульетта»*. И я обхватил тебя за талию и поднял над волнами от грузовых судов, идущих по Вудеплас, ты моя милая маленькая выдра, мой неотразимый Путто, и мы подсохли на песке, где я зацеловал остатки твоих сомнений из-за беспокойства матери Жюль, и я

спросил, чувствуешь ли ты теперь, как внутри тебя цветет буддлея, я видел, что ты кивнула не всерьез, я видел, как ты симулируешь цветение и страсть, но не хотел этого замечать, я думал, что это придет со временем, а ты достала из кармана презерватив, который незаметно сняла с выкопанной морковки, чтобы взять с собой на память, и торжественно сказала, держа эту испачканную штуку в руке, что хочешь сохранить его для нас, и я воспринял это как приглашение сделать следующий шаг, я спросил тебя, когда и где Бонни и Клайд займутся любовью, ты посмотрела в облака, как будто ответ прятался там, я провел пальцем по твоим губам, ты раскрыла их, и я позволил своему указательному пальцу скользнуть внутрь, вниз по внутренней стороне твоей щеки, по твоим коренным зубам, ты обвила его языком, и когда я вытащил его, ты знала ответ, ты сказала: *«Как только птица совершит свой первый полет»*. Это было несправедливо с моей стороны, моя дорогая питомица, но я разозлился, я разозлился, потому что не мог больше ждать, потому что ты снова придумала эту проклятую птицу, и то, что я тогда сделал, было нечестно с моей стороны: я солгал тебе, я сказал, что у тебя появится мальчишеский рог, что я посажу в тебя

росток, и из него вырастет побег, как на картошке, и твои глаза заблестели, хотя поначалу ты немного скептически отнеслась к этому, потому что Элиа ничего подобного не рассказывала, но, возможно, то, что они с Лягушонком вообще занимались *этим,* было неправдой — может быть, она просто так сказала, чтобы вызвать зависть у своих подружек, чтобы завоевать престиж, потому что если вы спрашивали ее, как именно все прошло и каково это было, было ли больно, была ли кровь, она просто мечтательно улыбалась и говорила, что не может пересказать это, как нельзя пересказать серию книг Дж. К. Роулинг про Гарри Поттера в нескольких предложениях, и как заядлая фанатка Поттера ты это поняла, но нет, она ничего не говорила о мальчишеских рогах, хотя и ты, вероятно, не сказала бы про это другим, чтобы сберечь все самое вкусное для себя, и ты обрадовалась возможности, которую я тебе предложил, и когда твоя одежда высохла, ты внезапно с мокрыми глазами произнесла фразу из пятьдесят первого псалма: *«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня»*. Ты думала, что это замечательная строчка, да, ты тоже желала себе правый дух и желательно побыстрее, и я сказал, что правого

духа не существует, что дух постоянно меняется, что его можно сравнить с Хэрритом Хиймстрой, который каждый день читал разные погодные сводки, мы никогда не остаемся такими как были, и ты стала несчастной, да, несчастной, и категорично сказала, что знаешь людей, у которых действительно правый дух, которые всегда остаются одинаковыми, что ты тоже можешь этого достичь, и я кивнул и сказал: *«Конечно, ты можешь добиться чего угодно, твое сердце чище, чем Вудеплас»*, — ты успокоенно улыбнулась, и мы поехали обратно в Деревню, и я высадил тебя на углу улицы, чтобы не было видно с фермы, и прежде чем выйти, ты сказала, что в эти выходные у нас получится сделать то, что делали Бонни и Клайд, если бы Клайд не был импотентом, ты освободишься после того, как поможешь отцу с забором на пастбище; и ты осторожно спросила, не больно ли это, сам-знаешь-что, я потряс головой и снова соврал, я обещал тебе, что потом мы поедем в Ставангер, ты посмотрела на меня с недоверием, потом как сумасшедшая вскинула кулаки в воздух, и я сказал, что мы еще увидимся перед встречей с рогом, на пробежке, ты кивнула, и я вложил телефонную карточку с пятнадцатью евро тебе в руку, ты перегнулась над рычагом

переключения передач и поцеловала меня, ты сказала *«спасибо большое»*, сказала, что слушала Фрэнка Заппу, не зная, что именно ты слушаешь, его тексты часто были причудливыми и комичными, но в них не было связывающей нити, разные мелодии сводили тебя с ума, хотя ты считала Motherly Love яркой и узнаваемой, и ты продекламировала: *«The Mothers got love, that'll drive ya mad, they're ravin' 'bout the way we do, no need to feel lonely, no need to feel sad, If we ever get a hold on you, what you need is, Motherly love*[51]». И я наблюдал за тобой, за тем, как ты шла к дамбе по Афондлаан, как ты перепрыгивала разбитые камни плитки и приземлялась только на целые, разбитые приносили несчастье, думала ты, они сделают так, что у тебя никогда не будет правого духа, и сейчас ты не смогла им воспользоваться, тогда как я знал, что несчастье кроется не в плитках, а в том, как однажды ты не приземлишься.

---

[51] Примечания: 51

У матерей такая любовь, которая сводит с ума, они бушуют от того, какие мы, не нужно чувствовать себя одинокими, не нужно грустить. Если мы когда-нибудь овладеем тобой, тебе понадобится материнская любовь (*англ.*).

30

Я часто вспоминаю ту первую фразу, тогда в сарае с молочными цистернами, когда ты впервые заговорила со мной и рассказала о песне Warwick Avenue. Иногда я сомневаюсь, действительно ли ты это сказала, я сомневаюсь в своих собственных воспоминаниях, потому что эта песня будет выпущена только через три года после того лета, так как могло случиться, что ты заговорила о ней тогда? Позже выяснится, что слезы Даффи были настоящими, что Даффи во время пения не сдержала эмоции, что оператор продолжал снимать, и певица в конце концов дала разрешение использовать отснятый материал, потому что именно так люди себя чувствуют, когда расстаются со своими близкими, когда возвращаются со станции в одиночку на такси, и если они говорят, что не будут проливать слезы по другому человеку, то эти слезы в конечном итоге все равно придут, хочешь не хочешь, любовь иногда бывает ливнем, который часто сопровождается воздушными ямами, но я не смогу тебе этого рассказать, не смогу сказать, что разрыв между двумя людьми разрывает сердце, что дельфины — одни из

немногих животных, которые могут совершить самоубийство, от горя они опускаются на дно и умирают там, я больше не смогу делиться всем этим с тобой, потому что суд запретил все наши контакты, уважаемые господа присяжные меня не поймут, они будут в ярости листать досье, будут обвинять меня в безумии, будут слать письма в суд, всегда с этим ужасным словом после характеристики: *сексуальное преступление*. А я просто пытался вспомнить, что ты тогда впервые мне сказала: что-то про тазовое предлежание теленка или про песню по радио, и иногда мне казалось, что я слишком увлекся музыкой в тот горячий сезон из-за духоты, тогда ставили много старых хитов, таких как How Deep Is Your Love The Bee Gees, песни Roxy Music и Dancing in the Street Мика Джаггера и Дэвида Боуи, и я пришел к выводу, что твое вступление было другим, что первое, что ты мне сказала, было то, что если бы Карла Бруни и Мик Джаггер остались вместе, Саркози никогда не избрали бы президентом Франции, что он получил много голосов, но все хотели голос Карлы Бруни, ее обаяние и красоту, люди думали, что президент с такой женой заслуживает их доверие, или нет, сказала ты, все дело в ее носе, если бы Бруни не уменьшила его, тогда Мик Джаггер

никогда не заметил бы ее, и у них никогда не было бы романа, из-за ее носа все сложилось так, как сложилось, и я не был уверен, правда ли ты это сказала, потому что этого тоже не могло быть тем летом, Саркози станет президентом позже, хотя он, возможно, и раньше тосковал по певице — но ты говорила, что любишь Карлу Бруни и ее французские песенки, да, я уверен, ты говорила, что ее песни такие милые и мечтательные, хотя тексты довольно угрожающие и зловещие, ты хотела быть похожей на нее, такой же красивой, хотя я считал тебя более привлекательной, и я потом спросил тебя, действительно ли ты это сказала и этими ли словами, там, в сарае с молочными цистернами, и еще я спросил тебя, что ты думаешь о разнице в возрасте между Бруни и Джаггером, и ты сказала, что влюбленность не знает границ, что Клифф, младенец Иисус, тоже был немного моложе, и я сказал, что я примерно на семь раз по пять старше тебя, но ты пожала плечами — я знал, что у тебя серьезная дискалькулия, что ты путала номера домов и телефонов, и часто звонила не в ту дверь или вместо одноклассника тебе по телефону отвечал незнакомец, и тогда ты еще больше ненавидела звонить по телефону, хотя иногда и надеялась, что сможешь

поговорить с кем-то из Нью-Йорка, тогда бы ты соврала, что ты хороший друг Аль Пачино, и небрежно спросила бы, как дела на Манхэттене; ни числа, ни тридцать пять лет ничего тебе не говорили и ничего не делали, а между тем число тридцать пять было атомным номером химического элемента брома, номером статьи конституции о том, как следует поступать, если король не может выполнять свой королевский долг, было количеством часов, которые я потратил на чтение романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», было номером главного шоссе в Иордании, оно складывалось в расстояние между тобой и мной, каждый год как километр, и это было безумием, дорогой суд, я должен признать, это было безумием, что после спектакля по Беккету я фантазировал о жизни с моей маленькой зверюшкой, что я задавался вопросом, почему знаменитостям подобное сходило с рук, а мне нет, и неважно, какой была твоя первая фраза и кто из нас первым заговорил, речь шла о том, чтобы быть с тобой, путешествовать по миру в фургоне, в нашем маленьком дворце любви, и каждый раз по утрам мы просыпались бы в разных заповедниках, где, открыв двери, мы смотрели бы с матраса в кузове на равнины или горы, я кормил

бы тебя клубникой, мы бродили бы по городам, мы уехали бы из Деревни в Бекслихит, в Мотеруэлл, столицу Северного Ланаркшира, потому что тебе нравилось название этого города, по вечерам мы ужинали бы в модных ресторанах, где накрахмаленные салфетки кладут на колени, и ты бы боялась испачкать их больше, чем свои собственные брюки, и все думали бы, что мы отец и дочь, что мы отправились в отпуск вместе, и меня бы это вполне устраивало, только бы мы могли быть вдвоем, и я знал, что наобещал тебе большую ложь: о том, что у тебя вырастет мальчишеский рог, и о Ставангере; но это не было ложью, я действительно хотел поехать туда с тобой, не столько искать покинувшую, сколько потому, что хотел оказаться подальше от своей жизни, от работы, от Камиллии, от сыновей — не то чтобы я не любил их или устал от своей работы, нет, я любил животных, я любил своих сыновей, но я был ослеплен тобой, из-за тебя я жаждал все бросить, сбежать с тобой, лежа рядом с дрыхнущим телом жены, я смотрел в потолок, который освещался падавшей из-за приоткрытой шторы полоской света, и я представлял, как заберу тебя на углу Афондлаан, где ты будешь ждать со своим тревожным чемоданчиком, немного

грустная, потому что не попрощалась с папой, потому что улетать — это не то же самое что уезжать: когда ты взлетишь, он будет беспокоиться лишь о болтах и гайках у тебя внутри, но когда пропадет твой тревожный чемоданчик, будет очень плохо, ему придется переживать за всю твою конструкцию; и все же ты стояла у дороги, и чем дальше мы бы уезжали из Деревни Отсутствующих, тем счастливее бы ты становилась, я купил бы тебе пакетик с конфетами, чтобы поездка не казалась такой длинной — такие же пакетики с конфетами тебе покупал папа, когда вы ездили в Зеландию, — и ты бы удовлетворенно покусывала лакричную змейку, я положил бы руку тебе на колено и сказал, что теперь я твой курьер; и когда я фантазировал о том, как в кузове буду целовать твои бедра во время первой остановки, потолок надо мной почернел, капли чернил потекли на кровать, на белые простыни, я огляделся, но Камиллии рядом не было, и я, должно быть, провалился в сон, слыша, как ты поешь песню Stavanger с твоей пластинки Kurt12, которую я часто включал, когда Камиллии не было поблизости: *«And the girl sings, oh Stavanger, we are almost there, we are almost there, but not yet. We drive home in this car, but what is a home without*

cows, what is a home without the desire to leave, the desire to fly away[52]». И когда чернила испачкали кровать дочерна, меня затянуло в кошмар, в одно из болезненных детских воспоминаний, я увидел свою мать, лежащую на кухонном столе с широко расставленными ногами, в черной юбке, закатанной до талии, с полуоткрытым ртом, плачущую, я увидел, как мой отец неподвижно стоит рядом, и внезапно из-под этих раздвинутых ног появилось маленькое окровавленное чудовище, оно медленно протискивалось наружу, в моем кошмаре мать родила теленка, мертвенно-неподвижного деформированного теленка с закрытыми глазами, и только потом я узнал, что это была моя мертворожденная сестра, но в моем кошмаре я действительно увидел перед собой теленка, он наполовину свисал из моей матери, и было так тихо, что серьезность события до меня дошла только сейчас, когда я это пишу, рождение мертвого ребенка — это рождение смерти, и я думал, что на этом всё, но внезапно мать поманила меня, она сказала мне подойти ближе, съесть окровавленного теленка, правда, дорогой суд, она

[52] Примечания: 52

И девушка поет, о Ставангер, мы почти у цели, мы почти закончили, но еще нет. Мы едем домой на машине, но что такое дом без коров, что за дом без желания уехать, желания улететь (*англ.*).

так сказала, и я больше не был собой, я смотрел сверху на маленького ребенка, которым я был, и увидел, как погружаю зубы в плоть, увидел кровь в уголках рта, брызги на одежде, я видел, как ел свою сестру, и моя мать сказала, что она не хочет жить из-за того, что я был таким обжорой, что я всегда буду виноват, что она никогда не увидит свет, и я попытался взглянуть на своего отца, но увидел только наполовину съеденное животное, торчащее между ее ног, я залепетал, что не хотел этого, но мать продолжала называть меня обжорой, прорвой, пожирателем мертвечины, и, проснувшись, я заплакал, я плакал жидкими чернилами, я пытался думать о тебе, чтобы успокоиться, но теленок, ох, тот теленок.

31

Когда королева Беатрикс в качестве матери рухнула со своего трона, потому что у нее был слишком плотный график, а еще она была слишком амбициозной, а еще ты думала, что ее замок Дракенстейн находится слишком далеко от Деревни, я не знал, что ее преемницей станет Камиллия. Должно быть, это произошло 30 апреля, когда ты приколола бутоньерку к груди Виллема-Александра, и Камиллия не отходила от тебя, когда заметила, как ты нервничала тем утром; время от времени она нежно клала руку тебе на плечо, легонько его сжимала — любой, кто по-матерински прикоснулся или обратился к тебе, получал место в твоей голове, но Камиллия получила самое красивое, самое великолепное, с золотыми перилами и красной отделкой, и на каждом выступлении, которое ты проводила в воображении, когда ты слушала песню в плеере или наигрывала что-то из The Cranberries, это не я, а она сидела в первом ряду, она гордо хлопала, как хлопала бы мать, когда ее ребенок выступает на сцене, но в реальности все было намного хуже, в реальности она не хотела больше общаться с то-

бой, и вот ты оказалась с наследницей престола, которая отказалась на него восходить, которая отказалась править твоей страной, которая больше не хотела отвечать на все твои вопросы, словно разрезая ленточки ножницами, и ты скучала так сильно не столько по ней, сколько по матери, которая в ней скрывалась; ты замечала, как эта мать проявляется, когда приходила к нам ради моего сына и, к неудовольствию моего старшего, всегда долго болталась внизу, прежде чем исчезнуть в его комнате и включить там музыку, чтобы мы не слышали вашего безнадежного петтинга, и ты всеми силами старалась помириться с Камиллией, несколько раз ты появлялась у двери в восемь утра, тогда Камиллия в халате открывала дверь и позволяла тебе зайти в дом из страха, что иначе ты растреплешь о том, что произошло между нами, что мои сыновья и вся Деревня об этом узнают, но на этом всё, сказала тебе она: отныне вы будете встречаться только в школе, где она будет твоей учительницей и ничего больше, тебе нужно жить своей собственной жизнью, а ты думала, что это худшее, что люди могут тебе сказать, — *твоя собственная жизнь*, ведь твоя жизнь всегда принадлежала кому-то другому: твоему отцу, который был одновремен-

но и заведующим, и администратором, но стал настолько небрежным, что не замечал убытков и прибыли, что одного больше, чем другого. И ты хотела, чтобы твоей жизнью управляли, но не столько твой па, сколько тот, кто заполнит всю пустоту, чтобы тебе не приходилось чувствовать одиночество, которое царило внутри, неспособность полюбить себя, и вы поговорили о том, что произошло, и Камиллия подумала, что мы не виделись друг с другом после сообщения твоего брата, после того единственного поцелуя, что это прекратилось, и когда я вернулся домой со свиноферм, я увидел тебя на кухне за столом, вошел и сел ближе к Камиллии, чем к тебе, чтобы создать у нее впечатление, что между нами ничего не осталось, хотя я бы предпочел отвести тебя в свой кабинет и посадить к себе на колени, мой милый Путто, усыпить тебя своим медвежьим запахом, и в конце разговора я сказал, что провожу тебя до входной двери, а ты ответила, что не нужно — ты знаешь, где находится входная дверь, но я продолжал настаивать, и Камиллия взорвалась, закричав: *«Ты же слышал, что говорит этот ребенок»*. И здесь все должно было закончиться: вся грязь, что накопилась за последнее время, полилась изо рта Камиллии, сперва на меня, а

потом на тебя, все должно было закончиться, мы бы попрощались, пошли бы титры, и Камиллия вдруг стала обращаться к тебе не как к четырнадцатилетнему подростку, но как ко взрослой, она обзывала тебя маленькой шлюхой, и я видел, как ты съежилась за полупустым стаканом апельсинового сока, я видел, как ты пытаешься сдержать слезы, но они прорвались и покатились по щекам, а я только и мог думать, что хочу слизать их с твоей персиковой кожи, что я целовал бы твои веки, твои влажные ресницы, и что потом ты бы снова улыбнулась, засмеялась и сказала, что от меня пахнет свиньями, и чтобы утешить тебя, я бы рассказал о свином пенисе, который имеет спиралевидную форму, чтобы подольше находиться в утробе свиноматки, а если бы и это тебя не утешило, я бы дополнил свою ложь про Ставангер, я бы сказал, что после того, как мы навестим покинувшую, мы поедем в Исландию, в музей фаллоса в Рейкьявике, который я нашел в интернете и который был основан в 1997 году, и где выставлена самая большая коллекция пенисов, коллекция из двухсот восьмидесяти экземпляров, помещенных в стеклянные колбы с формалином — этот музей ежегодно привлекает тысячи туристов, в нем есть и член синего кита, и

член хомяка, который можно рассмотреть только с лупой; и ты решишь, что это прекрасная история, оближешь языком губы и забудешь гнев и ругательства Камиллии, будешь часто ходить на сайт музея и поместишь его страницу в «Избранное», еще ты увидишь там свиной пенис-штопор, но самыми красивыми тебе покажутся китовый член и слепки рогов всей олимпийской сборной Исландии по гандболу, и ты скажешь, что музей все еще ищет реальный человеческий экспонат, и что было уже несколько человек, которые написали в своих завещаниях, что после смерти их рога отправятся в музей фаллоса, и что музею еще нужен пенис белого медведя, и ты будешь с нетерпением дожидаться, когда поедешь в этот музей, а я не мог не думать, что однажды ты посетишь мой личный музей, что ты расстегнешь мою ширинку и высвободишь рог-убийцу, о да, ты освободишь его из заточения и станешь сжимать его этими милыми детскими ручками, но я не мог утешить тебя здесь и сейчас, не перед Камиллией: она в конце концов успокоится, достанет из морозильника три мороженых в виде клоунов с носом-жвачкой и скажет, что нам всем стоит немного освежиться, и мы начнем неловко и молчаливо поглощать мороженое, а у тебя все

еще будут течь слезы, и я заново увижу, насколько ты красива и юна, восхитительная горестная детская фигурка с тающим клоуном-мороженым в руке; и я знал, что ты мельком подумала про «Оно», знал, что тебе не нравится мороженое, потому что ты больше не любишь клоунов, знал, что ты думала, что съела Оно, и теперь в тебе жила беда, но ты храбро кусала и лизала лед, и Камиллия сказала, что будет лучше, если ты больше не станешь приходить, ты кивнула и принялась вяло жевать красную жевательную резинку, ты надула из нее такой большой пузырь, что мы больше не могли видеть за ним твое лицо, что печаль превратилась в красное облако, ты надувала пузырь, пока он не лопнул — половина жвачки приклеилась к пряди твоих волос, Камиллии пришлось взяться за ножницы, и она заметила, с каким желанием я смотрю на тебя, потому что я внезапно увидел, как пламя в ее глазах снова вспыхнуло, когда она отрезала жвачку; она дойдет с тобой до почтового ящика и не сможет удержаться от еще нескольких горьких слов: *«Как двое людей, про которых я думала, что они любят меня, могли так поступить со мной»*. Эти слова показались тебе ужасными, они не давали тебе заснуть по ночам, ты еще несколько раз пы-

талась прийти, но Камиллия больше не впускала тебя, поэтому ты слала бесконечные письма, наполненные цитатами, которые передавали твои сожаления, и в одном из них было стихотворение Рутгера Копланда «Уходя прочь», которое ты распечатала и повесила над столом, потому что оно перекликалось с твоими чувствами: опять кто-то от тебя уходил, еще одна королева отреклась от престола — потом ты откроешь для себя Райнера Марию Рильке и процитируешь в письме: *«Нет более ужасной тюрьмы, чем страх причинить боль тому, кто тебя любит».* Позже ты расскажешь мне о его стихах, о том, что одно из них показалось тебе ошеломляющим, а другое — очень плохим, ты считала «Песню самоубийцы» уродливой и слишком простой: человек, который говорил о самоубийстве, сравнивал жизнь с едой, с горшком, со жратвой, не такой уж плохой на вкус, но ее не было в его крови, и затем заканчивал уродливыми словами, что больше не будет ее есть, что готов просидеть на диете не менее тысячи лет — ты сказала, что большинство людей, познавших песню самоубийства, не придумали бы что-то настолько упрощенное, с настолько бессмысленными сравнениями, что они редко думали о еде, а скорее чувствовали, что

их самих съели, но с другой стороны, ты считала «Записки Мальте Лауридса Бригге» произведением мастера, ты внезапно открыла новый язык, язык Геррита Ахтерберга, Анны Энквист, Пабло Неруды, Шарля Бодлера, ты открыла области страстей в своей душе, а когда их становилось слишком много, ты пряталась обратно в мир Роальда Даля: ты начинала с «Мальчика», эта книга была отчасти о Норвегии, и на странице пятьдесят первой было черно-белое фото той части норвежского королевства, куда каждое лето ездил Роальд Даль, и когда ты смотрела на эту фотографию, ты притворялась, что поедешь на каникулы туда, а не в Зеландию, как бывало каждый год, хотя ты думала, что Зеландия и особенно остров Валхерен впечатляющие и великолепные, но все равно мечтала о Ставангере, о том месте, где будет покинувшая, и ты знала, что обнаружила что-то в стихах, которые читала, нашла что-то, в чем можно спрятаться, что-то совершенно отличное от порой ужасающих историй из Библии или текстов некоторых псалмов вроде сто тридцать седьмого, в котором сказано: *«Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»* И ты отправила Камиллии несколько писем, даже букет цветов, да, цветы, которые она

тут же выбросила в мусорное ведро, сказав, что букет дьявола скоро увянет, и никто из нас не мог знать, что это еще не конец, что все зайдет дальше, что ты засунешь палочки от мороженого с клоуном в карман, чтобы добавить их в свою коллекцию под кроватью, и позже это послужит уликой в суде, и чем больше Камиллия отпускала тебя, тем крепче тебя мог сжать я, а позже я часто слушал песню «Клоун-мороженое» с твоей пластинки Kurt12, на которую присяжные указывали гневными перстами, на ее клип, в котором шел дождь из мороженого с клоунами, на эти строки: *«Все изменилось в тот день, ребенок исчез из меня, как исчезает вкус жвачки. Не называй меня клоуном-мороженым, любовь моя. Это темное лето растопило меня, а не ты, не ты».*

32

Это случилось четыре года назад: 11 сентября 2001 года в 9:45 утра самолет Boeing 767–223er рейс 11 American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене, среди пассажиров предположительно находилась актриса Берри Беренсон, которая была замужем за Энтони Перкинсом, который играл Нормана Бейтса в фильме «Психо», и именно в тот момент ты писала на диктанте слово «катастрофа». Честное слово, утверждала ты, именно это слово, и когда ты поставила после него точку, все и случилось: Северную башню охватил огонь, безопасность Западного мира оказалась под угрозой впервые после Второй мировой войны, и через двадцать минут в Южную башню врезался рейс 175 United Airlines — словно ведущая новостей, ты взахлеб рассказывала эти факты, в том числе то, что в 1993 году в гараже под Всемирным торговым центром взорвался заминированный автомобиль, преступники надеялись, что одна башня упадет на другую как косточки в домино, это было ровно через месяц после утраты потерянного, и тогда башни

остались стоять, ты сказала, что единственные косточки домино, которые упали после аварии на Ватердрахерсвех, — это члены твоей семьи, как в телепрограмме «День домино», в год терактов одиннадцатого сентября первая косточка в ней упала от руки Кайли Миноуг, и саундтреком передачи была песня *Bridging the World*; ты рассказала обо всех распространенных теориях заговора про теракт, о том, что некоторые из них были правильными, а некоторые нет, но одно оставалось яснее ясного: второго самолета не было. Потому что, когда в пятом классе ты поставила точку перьевой ручкой и закрыла тетрадь, тебе показалось, что начальная школа внезапно сотряслась до основания, и тогда ты взлетела и понеслась в Нью-Йорк, и в девять ноль три врезалась в Южную башню, а я сказал, что есть фотографии второго самолета, что все на борту мертвы, но ты возмущенно закричала, что это подделка, потому что никто бы не поверил, что в здание врезался ребенок, никто бы не поверил, а если бы даже кто-то и поверил, то он потерял бы всякую надежду и никогда не пришел бы в себя, и поэтому все притворились, что был второй самолет, потому что первый уже влетел в здание, и это сделало бы второй более правдоподобным,

более приемлемым, но это была ты, ты все еще чувствовала телом удар, стеклянные осколки в коже; и я не сказал, что невозможно долететь до Нью-Йорка за двадцать минут, что человек не способен летать — с каждым вопросом или сомнением, которые я выражал, ты становилась все более непокорной, и мы бежали по чернильно-черному польдеру вдоль воды, и ты рассказала, что двое террористов из первого самолета предупреждали о том, что должно произойти, на сайте знакомств, они написали в своих анкетах, что лето будет жаркое, и число девятнадцать следом, это было общее количество угонщиков, и ты добавила, что на самом деле это должно было быть Лето Двадцати, это число совпадало с датой твоего рождения, но они тебя не включили, потому что у тебя никогда не получалось назначать встречи, иногда ты хотела с кем-то поиграть, но в последнюю минуту передумывала, ты слишком нервничала из-за всех ожиданий, что на тебя ложились, и ты предпочитала строить шалаш вместе с братом на берегу, и ты всегда знала, что совершишь нападение под номером двадцать, и когда четвертого февраля ты сделала первую попытку, с Клиффом, с младенцем Иисусом, в числе четыре скрывалась двойка, дважды два, и

это произошло в 2000 году, так что опять вышло двадцать, поэтому ты никогда не чувствовала себя хорошо, когда приближался твой день рождения, когда на календаре в туалете начинался апрель, и на листе было написано твое имя, как будто твой отец боялся, что забудет про него, а ты боялась, потому что не знала, каким станет твое следующее преступление; и когда ты родилась, был самый холодный день апреля, было так холодно, что трещал воздух, и не только Гитлер родился в тот день, но и Луи Наполеон, а в 1999 году два студента расстреляли двенадцать одноклассников и учителя в школе Колумбайн в Соединенных Штатах, и ты иногда боялась, что тоже станешь школьным стрелком, не в начальной школе, конечно же нет, но в средней школе, где ты возьмешь на мушку всех хулиганов, пока они не станут умолять о пощаде; в 2003 году твой день рождения пришелся на Пасху, когда вновь умирал Иисус, и обычно ты находила странным, что это случается каждый год, но в тот раз это было прямо-таки поразительно, и когда ты задувала двенадцать свечей на торте, ты задувала жизнь Иисуса, хотя к этому времени ты уже знала, что он воскреснет, что у него множество жизней, и игра никогда не заканчивается, и тебя это успо-

каивало, ты сказала, что каждый в своей жизни несколько раз переживал распятие, как и воскресение, что иногда ты могла погрузиться в ночь и думать, что никогда уже не проснешься, и ты ложилась так, словно тебя должны отпевать; что в первый раз ты захотела умереть в шестом классе: ты посмотрела на свой любимый свитер с русалкой Ариэль и внезапно поняла, что слишком взрослая для него, и свитер сразу начал чесаться, и ты весь день униженно скрещивала руки на груди и потом никогда не надевала его, ты все больше и больше теряла в себе ребенка — даже если на тебе не было диснеевского свитера, тебе было стыдно за себя: за тело, которое все росло и росло и которое, как плющ, нельзя было остановить, и ты каждый день покидала Деревню, чтобы поехать в среднюю школу в нескольких деревнях отсюда, где ты, помимо прочего, узнала, как нужно прокладывать улицу, хотя все дороги, по которым ты ходила, в основном состояли из песка и грязи, и как только ты выезжала на велосипеде из Деревни, ты теряла этого ребенка, который все еще хотел играть, строить шалаши и замки из лего, ты становилась Аврил Лавин или Карлой Бруни, расправляла плечи и стирала комочки туши с уголков глаз; и мы сели на

скамейку у черной воды, ты подняла свою ночную рубашку и с улыбкой сказала: *«Началось»*. Я посветил мобильным телефоном, твоя грудь все еще была бледной и плоской, но я сказал, что и правда кое-что увидел, и поцеловал розовые сосочки, я взял их в рот и пососал, а ты хихикнула и ссутулилась от щекотки, а я продолжал целовать тебя, пока ты говорила о своем любимом свитере и катастрофе, как ты отмылась в душе после обрушения башен, а затем как обычно пошла в школу, и учитель с серьезным взглядом рассказал о том, что произошло, что это означало для мира, что вы должны все вместе помолиться за жертв, и в конце урока ты написала записку: *«Я самолет, я преступник»*. Ты отдала ее учителю, и он прочитал ее, но не понял, он сказал, что преступление всегда ищет пустое тело, а ты была полна прелести, и ты хотела возразить, что ты настолько пустая, что все слова, твои собственные или чужие, эхом отдаются внутри, вот почему перед сном тебе приходилось вспоминать весь день — в тебе еще звучали громкие отзвуки, ты была полой как хот-дог из магазина Hema, из которого выели всю сосиску, и ты поехала домой по Роуквех, через Деревню, которая одновременно наполняла тебя любовью и вселяла страх, где

тебя как девушку могли украсть в любой момент, словно новенький велосипед, и никогда не вернуть, где за десятками окон самолеты влетали в здания снова и снова, и ты слышала сирены и крики людей в своей голове в течение нескольких дней, преподобный молился за Нью-Йорк, а тебе во время службы хотелось вскочить и закричать, что это твоя вина: ты бы показала раны от осколков стекла, ты бы сказала, что тебя никто не угонял, ты сделала это не по чьей-то воле, а по своей собственной, ты бы встала на колени посреди прохода, пока тебя бы не арестовали; но ты этого не сделала, не встала во время безмолвной молитвы, ты слишком сильно навредила бы этим своему отцу, он был дьяконом, а одна из обязанностей дьякона заключалась в том, чтобы направлять своих детей к добру, это было у Тимофея, ему пришлось бы уйти в отставку, а все знают, что если человеку приходится уйти в отставку, ему легче пасть жертвой дьявола, а ты не хотела, чтобы это было на твоей совести, поэтому ты промолчала, хотя и написала по записке Богу и дьяволу: одну ты положила в правую щель почтового ящика, потому что знала наверняка, что Он живет в Деревне, как ты подозревала, на Баби-

лонстэйх[53], где стоял рекламный щит с пахтой Campina, ты думала, что название улицы и реклама на ней Ему подходят, потому что все хорошие парни в твоем классе пили пахту, а все плохие — полуобезжиренное или цельное молоко; кроме того, луг, прилегающий к этому переулку, зимой заливал конькобежный клуб и использовал его как каток, и ты была уверена, что вечером, когда наступало время продвинутых спортсменов, Бог выписывал там пируэты вместе с могильщиками, и они обсуждали, для кого предназначается следующая дыра в земле — записку дьяволу ты бросила в щель для остальных писем; я посадил тебя на колени и спросил, что ты там написала, и ты ответила: *«Богу я задавала вопросы, а дьяволу давала ответы»*. Я слегка кивнул, хотя и не понял, о чем ты, и мягко спросил, знаешь ли ты, что не имеешь никакого отношения к терактам 11 сентября, что это невозможно, моя дорогая, ты не была жестокой, и я увидел, как затуманились твои глаза, маленькое тело застыло в моих руках, словно жвачное животное, которое несколько дней пролежало мертвым в стойле, ты залепетала, что никто не воспринимает это всерьез, но это

[53] Примечания: 53
Вавилонский переулок.

не имело значения, потому что однажды ты все исправишь, и если ты сможешь все исправить с Нью-Йорком, то, вероятно, сможешь и с Камиллией, и я хотел снова увидеть тебя счастливой, снова слышать твой радостный детский голос, поэтому при свете своего мобильного телефона я показал тебе картину Пьера Боннара, которую распечатал специально для тебя и хранил в кармане спортивных шорт: Боннар был французским художником, который в основном рисовал свою возлюбленную Марию Бурсен, она называла себя Марта, он рисовал ее обнаженной в ванне, она страдала от туберкулеза и боялась микробов, и поэтому ей нужно было часто принимать ванну, и я сказал, что Боннар продал свои картины и той же ночью ворвался к клиенту, которому их продал, чтобы поправить одну из картин, довести ее до совершенства, он никогда не был удовлетворен, и ты была в восторге от этой истории и воскликнула, что мы все как Боннар, только мы каждый день врываемся к себе самим, мы постоянно вносим улучшения в себя как личностей, и то, что вчера было прекрасным, сегодня могло выглядеть уродливо, и мы все закрашивали, и это никогда не прекращалось, и мы каждый день обращали взгляд на что-то новое, и ты сказала:

«Это обнадеживает, Курт, потому что ты сам свой самый верный клиент, ты сам себе самый преданный коллекционер, тебе никогда нельзя этим пресыщаться, только тогда ты действительно будешь потерян». И ты снова сказала, что мы все как Боннар, только у одного рука была тверже, чем у другого, и ты встала на скамейку, твоя белая ночная рубашка развевалась на мягком ночном ветру, и ты, как актриса, сказала, что ты сама себе коллекционер и вор, ты любила называть себя вором, это давало тебе право на существование, которого ты так желала, даже если ты его где-то украла, ты всегда крала право на существование, и я привлек тебя к себе, поставил твои ноги у моих бедер, и прижался ртом к коже твоих ног, продвигаясь все выше и выше, затем мой язык прижался к ткани твоих трусиков, и я услышал, что черные казарки закрякали более яростно, ветер усилился, и я был почти уверен, что слышал, как ты шептала, ты шептала, что ты мороженое-клоун, да, ты сливочное мороженое-клоун, и мне нужно тебя разморозить.

33

Присяжные спросили, люблю ли я выдр, куньих. Я ответил, защищаясь, что это красивые животные, да, чудесные, что я много лет поддерживаю Фонд выдр за их отличную работу, а они спросили, почему я причинил боль этой конкретной особи, этой выдре, почему я испортил тебя, моя дорогая питомица, тебя, которая все еще была такой чистой и безупречной, все еще такой ребячливой и невинной, и они спросили, знаю ли я, какова выживаемость молодой выдры, внезапно выпущенной в дикую природу после многих лет в неволе, и знаю ли я, что выдры были вымирающим видом, что их чаще всего сбивают на дорогах, как потерянного, что вторым фактором риска для них было загрязнение окружающей среды, что я загрязнил твою окружающую среду, что я подверг тебя опасности и что с тех пор ты все чаще попадала в плохие руки, потому что больше не могла отличить хорошее от плохого, как на картине Говерта Флинка, где очевидно влияние его учителя Рембрандта и где он изобразил слепого Исаака из Книги Бытия, который дал свое благословение не тому сыну: он прикоснулся

к Иакову, который обернул руки в шкуру козлят, чтобы выдать себя за своего брата Исава и таким образом украсть благословение первенца, ты тоже всегда будешь отдавать свое благословение и любовь не тому, или, как это написано в Библии, и эти слова ты находила поистине прекрасными, ты всегда будешь отдавать злу *росу небесную и тук земли, и множество хлеба и вина*; и присяжные спросили, о чем я фантазировал, когда видел, что ты превращаешься в выдру, птицу или Лягушонка, когда видел, как ты трансформируешься, и, конечно же, они хотели извращенного ответа, они хотели грязи, они хотели чего-то такого, чтобы можно было удовлетворенно наклониться и посмотреть друг на друга, заговорщицки хмурясь, я видел это в их маленьких глазках, которые были как маслины, плавающие в рассоле, и я вспомнил, как ты превратилась в выдру и пролепетала, что я должен провести тебе вскрытие, как ты вонзила скальпель себе в бедро, пролила свою кровь, чтобы не пролить чужую, как похотливо я двигался, пока ты лежала безвольно, словно оглушенный жеребенок в моих руках, на одно мгновение ты умерла, и мертвой ты была так красива, что в тот момент мне не хотелось тебя оплакивать, и потом я часто об этом думал:

как ты безжизненно лежишь рядом со мной, ах, этот жеребенок; а потом я заскучал по твоему детскому голоску, и выяснится, что ты извлекла смутные уроки из того инцидента, из той страсти, с которой я о тебя терся, ты была далеко, но из того тусклого пространства, в котором находилась, ты слышала, как мой безумный от возбуждения голос сказал, что ты умерла, что я тебя вскрою, и ты упомянула об этом в песне с альбома Kurt12 с текстом, в котором ты сравнивала себя не с выдрой, но с лобстером, потому что ты где-то читала, что они убивают себя, если полить их алкоголем, и в тот день я обработал рану на твоем бедре йодом на спиртовой основе: *«If you spill alcohol on a lobster, he'll stab himself, you spilled and I stabbed myself, I was a lobster and dear God, what you spilled. Your fire was my doom, I was dead but too alive not to feel the pain. I was a lobster and dear God, what you spilled*[54]*»*. Я включал эту песню несколько раз, когда Камиллии не было дома, и тогда я чувствовал себя дураком из-за того, что снова хотел тебя, но я также чувствовал гнев, гнев, потому

---

[54] Примечания: 54

Если прольешь алкоголь на лобстера, он проткнет себя клешнями, ты пролил, а я зарезала себя, я была лобстером и боже мой, что ты пролил. Твой огонь был моей гибелью, я был мертва, но слишком жива, чтобы не чувствовать боли. Я была лобстером и боже мой, что ты пролил (*англ.*).

что ничего не подозревая попал в собственную ловушку, вокруг меня всегда как мотыльки роились какие-то дети, словно я был лампочкой, и они хотели поиграть со мной, и я никогда не пытался поймать в ладони никого из них, кроме тебя — как большинство мотыльков, ты спутала лампочку с луной, ты хотела играть в любовь, а я раскрыл ладони, и ты спокойно и бесстрашно устроилась в них; я бы держал тебя в них, зная, что твои крылья хрупки, одно повреждение могло привести к тому, что ты больше никогда не будешь порхать, но другая моя рука сжалась, я слышал, как хрустнуло твое тельце: всегда встает этот выбор, какое насекомое ты убьешь, а какое бережно выпустишь на улицу — никто не убьет стрекозу, а вот комара или мотылька прихлопнуть мы не против, и я раздавил тебя, потому что не мог удержать так, чтобы ты осталась невредимой; и еще я вспомнил, как на льняном поле ты стала Лягушонком и писала стоя, как ты тихо сказала, что я должен попросить у тебя разрешения посмотреть на твой маленький рог, и я попросил, и ты подняла ночную рубашку, а я сказал, что он красивый, самый красивый из тех, что я видел, и я спросил тебя, не хочешь ли ты сама потрогать свой маленький рог, и это сбило тебя с толку, ты

просто хотела писать стоя, как сильнейшие звери в царстве животных, чтобы продемонстрировать власть, тебе нужен был рог как у ангелочков, как у Клиффа, и ты сказала, что это музейный экспонат, что музейные экспонаты нельзя трогать руками, а я возразил, что помимо того, что я был пилотом и режиссером, я был еще и директором музея, и только я мог до него дотрагиваться, я должен был проверить его на предмет повреждений и ценности, и в те разы, когда моя рука проскальзывала в твои трусики, ты нетерпеливо спрашивала, можно ли теперь получить настоящий рог, а я отвечал, что у оленя уже появились наросты, что время рога приближается, но это станет возможно только в том случае, если у тебя внутри побывает большой рог; ах, я осквернил тебя полностью, и, прежде чем закусить губу, ты часто говорила, что сможешь писать дальше всех милых мальчиков, и я согласился, я сказал, что ты сможешь писать так далеко, что достанешь струей до Африки и искоренишь в ней засуху, и в этот момент ты стала хватать ртом воздух, на поверхность вышли и выдра, и Лягушонок, в этот короткий момент ты не была в изгнании, но потом снова упала и стыдливо натянула штанишки, чтобы снова стать птицей; и присяжные

спрашивали, ронял ли я когда-либо ценную вещь, и как я на это реагировал, и я вспомнил сервиз, пощечину, примирительные блины и то, что за ними последовало, а еще стеклянный шар со снегом, который подарил мне отец, когда покупал пару свиней за границей, я вспомнил, как был безутешен, когда уронил его и обнаружил, что снег был не настоящим снегом, а кусочками фарфора, и что позже в фильме 2002 года «Неверный» я увидел, как главный герой, которого играет Ричард Гир, до смерти забил стеклянным шаром любовника жены, которую играет Дайан Лейн, и потом в своих кошмарах я делал то же самое с матерью, и присяжные налетели на этот кошмар как стервятники, жадно записывая, что я мечтаю убить свою мать, и спросили, почему я скорбел по разбитому шару со снегом, но не проявлял раскаянья у других осколков, твоих осколков, и я сказал, что хотел исцелить тебя, что я любил тебя, а они презрительно фыркнули, да, они презрительно фыркнули и спросили, любил ли я ребенка раньше, и я кивнул, да, я желал нескольких детей, но никогда ничего себе не позволял, только с тобой, мой Путто; и они спросили, что я чувствовал, когда проводил инсеминацию крупного рогатого скота, что со мной

происходило, когда я засовывал руку во влагалище коровы, вот что они спросили, извращенцы, а я сказал, что мне было все равно, разве что зимой это было приятно, но только потому, что корова на мгновение согревала мои замерзшие руки, вот и все, и я знал, к чему они клонят, я знал, что они ведут к тому дню, к двадцать первому августа, последнему дню летних каникул, когда мой пот капал на твой голый живот, и матрас подпрыгивал от моих движений, когда плакат с Беатрикс отклеился и упал лицом вниз рядом с нами, как будто она отказалась быть свидетельницей этого ужаса, и я отвлек присяжных словами, что с тобой было что-то не так, что-то в корне не так, я рассказал им о твоих разговорах с Гитлером и Фрейдом, я рассказал им, как ты спрашивала в мессенджере, хочу ли я заняться *этим* с тобой, и магистраты подняли брови, они спросили, как я ответил на этот вопрос, и я сказал, что у меня чуткая душа, что мне нравится давать людям то, что они хотят; и они спросили, правда ли, что я обещал тебе член, поездку в Ставангер и Исландию, они взяли первую улику, высохшую косточку из пениса выдры, и я сказал, что ты была больна, что пространство у тебя под кроватью ломилось от собранных предметов, я не хотел так

о тебе говорить, любовь моя, но они принуждали меня к этому, я был бессилен! И я сказал, что ты жила в фантастическом мире, я был частью твоей воображаемой планеты, что ты придумала все, кроме разговоров в чате, я сказал, что не могу припомнить ничего сверх этого, нет, я ничего не могу вспомнить, и они собрались допросить моего старшего сына, Камиллию и твоего отца, но все это будет позже, тогда еще было лето и я не знал о присяжных и их удушающих вопросах, не знал, что одному нужно будет отходить в туалет после каждого кофе, что другой иногда стучал кулаком по столу и кричал, что я должен сказать правду, что это серьезное дело, что они слушали твой альбом, и с ним было что-то серьезно не в порядке, что они просмотрели твой дневник и спросили, что я испытываю к сливам, нравятся ли они мне, как я предпочитаю их есть; они доводили меня до грани, говорили моему старшему, что мне нравятся дети его возраста, они запугивали его страхом развода родителей, они будут обвинять Камиллию в том, что она не вмешалась, она воспользуется правом на самоотвод, они сделают из меня фарш, но в тот горячий сезон я все еще был с тобой, все было по-прежнему хорошо, и ни часа не проходило без того, чтобы

я не думал о тебе — заперев дверь кабинета, я закрывал глаза и тосковал по тебе, я начинал дрочить, я так ждал нашей встречи, я писал тебе сообщения про время рога, про то, что я больше не могу без тебя, я спрашивал, что на тебе под одеждой, писаешь ли ты стоя, а потом протирал себя дезинфицирующей салфеткой; и присяжные поставят еще знаки вопроса рядом с твоей одержимостью мальчишескими рогами, твой па однажды написал тебе длинное письмо о том, насколько греховно твое тело, что ты была более бережна со сладостями, чем с самой собой, что ты разрушила семью, что это было совершенно отвратительно, что ты сама это спровоцировала, и тебе больше не рады в церкви, и ты будешь беспомощно сидеть в стерильной белой комнате, женщина в униформе будет спрашивать, прикасалась ли ты когда-нибудь к себе и каково это было, нравилось ли тебе, когда тебя касался я, ты пожимала плечами, и они воспринимали это как «да», они слушали о твоих превращениях в животных, но это будет позже, пока все еще было лето, было лето, и мы были вместе, ты была моей картой, и я точно знал, куда хочу пойти.

34

И ты лежала там, мой легковесный товарищ, мой купидончик. После полудня я подобрал тебя у бассейна, мы поехали в лесную часть Тэйхенланда, где я припарковал фургон среди старых сосен, с края кузова мы наблюдали за пролетающим ястребом-перепелятником, за двумя маленькими ленточниками, за хохлатой синицей, я прижался носом к твоим хлорированным волосам и понюхал прекрасную пловчиху, которой ты мне запомнилась, я сказал, что пришло время для рога, моя дорогая питомица, да, пришло время для рога; я захлопнул за нами двери фургона, ты легла на совершенно белый матрас из пены с эффектом памяти и холодной пены, и ты ждала, пока свет в зрительном зале моей машины не потускнеет, пока не начнется фильм, и только потом я задумался, знаешь ли ты, что должно произойти, действительно ли ты понимаешь, что *это* вообще такое, потому что ты просто лежала и не делала никаких попыток снять одежду, пока я шептал тебе глупые цитаты из Беккета, потому что у меня кружилась голова из-за того, что сейчас произойдет, того, о чем я так лихорадочно

мечтал; я не рассказал тебе, что должно было случиться, я не подготовил тебя, я не дал тебе сценарий, я просто сказал, что у тебя маленький рог, прекрасный маленький рог, и я забыл, что ты не можешь понять, девушка ты или юноша, что этими словами я все еще больше порчу, ты провела языком по губам, и я попросил тебя сделать это снова, и ты это сделала, но теперь более театрально, как будто твои губы были покрыты сливовым соком, и в тот день было так жарко, что я взмок, даже прежде чем осознал, насколько мне жарко; я снял свою льняную рубашку, чтобы она не помялась, чтобы не пришлось отвечать перед Камиллией, я повесил ее на крючок в кузове рядом с плакатом «Нирваны», и ты смотрела на Кобейна, ты упомянула, что он вырос в Абердине, штат Вашингтон, что в средней школе он занялся сексом с девушкой, которая была не от мира сего, и все дразнили его и обзывали трахалем *дебилок*, и это было так невыносимо, что он лег на железнодорожные рельсы, но именно в тот день поезд поехал по другому пути, и это было хорошо, сказала ты, иначе никто никогда не узнал бы его, а ведь он этого хотел, он хотел, чтобы все его узнали, он хотел успеха так же, как и ты, и ты никогда не лежала на настоящих железнодорожных

путях, только на игрушечных, и ты позволила деревянному игрушечному поезду в себя врезаться, так что ты знала, что он чувствовал, что думал, лежа на рельсах, в любом случае, нужно и правда быть не от мира сего, чтобы оставаться лежать, пока рельсы и шпалы впиваются в позвоночник, и ты с закрытыми глазами повторяла кусочек из молитвы «Отче наш», потому что думала, что он очень красивый: *«Источник Бытия, которого я встречаю в том, что движет мной. Я даю тебе имя, чтобы дать тебе место в моей жизни. Вложи в меня свой свет, сделай его полезным*[55]». Тебе особенно нравилось первое предложение и *«сделай его полезным»*, и ты не надеялась, что тебя тоже назовут трахалем *дебилок*, потому что некоторые одноклассники думали, что ты сама не от мира сего, ты вела себя не так, как они; и я сказал тебе, что ты никогда не должна никому рассказывать о том, что должно случиться, что это сможет произойти только в том случае, если ты будешь держать это в секрете, что это лето должно остаться между нами, что ты должна говорить, что занималась этим в кустах или в раздевалке с кем-то из милых мальчиков из

[55] Примечания: 55

Цитируется вольный перевод молитвы «Отче наш» нидерландского философа Брама Мурланда.

бассейна, и ты кивнула, ты поняла, и ты сказала, что это должно произойти рано утром, что перед началом занятий ты взлетишь с силосной башни, и ты выглядела удивительно довольной, а я тогда не захотел понять, что означают эти слова, я слишком тебя хотел, чтобы тебя слушать, я был сломанным фланцем, из-за которого в конечном итоге поезд сошел с рельсов, пот стекал с моего лба и капал на матрас, я снял джинсы и аккуратно сложил их, снял липкие боксеры и показал тебе мой набухший рог-убийцу, я был оленем во время гона и мог думать только о том, как растворюсь у тебя внутри, и я велел тебе тоже раздеться, велел взглянуть на рог-убийцу: ты уже видела его фотографию в книжке матери Жюль, но этот был более впечатляющим, чем черно-белое фото, он был не таким, как в тот раз, когда ты управляла им, пока я мочился, и ты опустила глаза и заикаясь сказала, что тебе надо выйти по нужде, и я видел, что ты не всерьез, велел тебе не шутить, я сказал, что ты можешь стать Лягушонком, не писая, и ты ответила, что это все, о чем ты могла думать, хотя в последнее время это зашло дальше, теперь ты фантазировала, что ты Зак из телешоу «Спасенные звонком», сериала о группе друзей из школы Бэйсайд, которые попадали во

всевозможные приключения, или что ты была кем-то из милых мальчиков из твоего класса, и что учительницы, а также матери Жюль и Элии, помогали тебе писать, держали в руках твой ангельский мальчишеский рог и помогали прицеливаться; иногда ты терпела до тех пор, пока мочевой пузырь не становился настолько полным, что они спасали тебя в последнюю минуту, и это спасение было таким приятным, и ты сама не знала, что делаешь, но терлась о подушку или плюшевого мишку, когда думала об этом, а когда все заканчивалось, тебе и правда нужно было в туалет, и это был лучший поход в туалет за весь день, лепетала ты, и я запылал от этого признания, я целовал внутреннюю поверхность твоих ног и медленно скользил вверх, я шептал, что ты самый сладострастный Лягушонок из всех, кого я знал, самый красивый из милых мальчиков, я засунул в тебя язык и в этот момент потерял контроль, я потерял его, и ты пахла так сладко, ты так пахла собой, я резко поднялся вверх, поцеловал тебя и вонзился в тебя своим рогом-убийцей, я сказал, что нельзя стать ближе друг к другу, чем так, и ты запомнила, что это единственный способ стать к кому-то ближе, и я был оленем во время гона, который пронзил тебя, и я не помню,

как ты отреагировала, ты была моей добычей, и я играл с тобой, я впивался в тебя и не замечал, что ты все больше слабеешь, снова становишься такой же безвольной, как в тот раз на операционном столе, я просто знал, что мой пот капал тебе на шею, что у тебя на шее было жемчужное ожерелье из капель; через несколько минут я вытащил из тебя свой рог, и в этот момент плакат Беатрикс отклеился и спланировал рядом с нами, и я не хотел думать о королеве, не о ней, я сказал, что люблю тебя, а потом мои челюсти сжались, сперма брызнула тебе на живот, и ты посмотрела на нее сначала со страхом, а потом с удивлением, это подарило тебе новый восторг, помимо возможности писать стоя; я, тяжело дыша, упал рядом с тобой на матрас, а ты медленно возвращалась к жизни — я ждал, что ты заговоришь, но ты ничего не сказала, и мне показалось, что щеки у тебя мокрые от моего пота, мокрые от моей росы, но позже я усомнился в этом, я засомневался, не плачешь ли ты; и когда тишина слишком затянулась, я взял свой саквояж, достал салфетки для вымени и с любовью протер твой живот, затем схватил бутылку кока-колы, лежавшую среди ветеринарных перчаток, и пачку жевательной резинки со смурфами, жадно выпил газировку и

открыл пачку жевательной резинки, я показал тебе татуировку, которая в ней оказалась, и в твои грустные отсутствующие глаза вернулось немножко света, я крепко прижал татуировку к твоему плечу и лизал ее, пока она не стала достаточно влажной, чтобы удержаться на плече какое-то время, а затем отклеил бумагу, ты посмотрела на рисунок на коже и сказала, что это смурф Красавчик, самый тщеславный из всех смурфов, и добавила, что, как и он, ты часто смотрелась в зеркало, что иногда то, что ты видела, вызывало у тебя эйфорию, но чаще ты мрачнела; и ты яростно жевала синюю пастилку, а я столько всего хотел спросить о том, что только что случилось, но не осмеливался, поэтому я рассказал тебе историю о Леде и лебеде, о том, как Зевс безумно полюбил прекрасную Леду и захотел заняться с ней любовью, но она всегда отказывала ему, потому что была с царем Тиндареем, и Зевс не смог вынести ее отказа и превратился в лебедя, прекрасного лебедя, он сразил Леду своим видом, и под звездным небом она занялась с ним любовью, с превратившимся в лебедя Зевсом, и у них было двое детей, Поллукс и Елена, которые родились из яйца; ты затаив дыхание слушала мой рассказ и спросила, почему Леда захотела заняться сексом

с лебедем, а не с верховным богом, а я взял тебя за руку и поцеловал твои фаланги, я сказал, что у лебедей крепкий пенис, они одни из немногих птиц с пенисом, не таким большим, как у синего кита, но определенно на несколько сантиметров больше, чем у человека, и Леда не устояла перед ним, поэтому лебедь олицетворял соблазн, желание и вечную верность, и ты спросила, сколько времени займет твое настоящее превращение в выдру или Лягушонка, ты посмотрела вниз в надежде, что у тебя что-то вырастет прямо сейчас, а я сказал, что, как и у лебедя, он был спрятан внутри тебя и вылезал наружу, когда ты занималась любовью, и ты спросила, как именно это нужно делать, заниматься любовью, и я снова проник в тебя, на этот раз яростнее, голоднее, я больше не был Полым человеком Элиота, я был лебедем, я был оленем, и я заполнял тебя, я был в тебе, мой легковесный соратник, вместе мы были The Lonely Cigarettes, и я не помню, произнес ли я ту строчку из стихотворения Райнера Марии Рильке, которую нашел заранее, чтобы одурманить тебя еще больше, действительно ли я сказал тебе: «*И тут познал он легкость оперенья, впрямь*

превратившись в лебедя в тот миг[56]». И я видел, как ты немного приоткрыла рот, прижалась языком к губам, увидел голубую жвачку-смурфа у тебя в зубах, и я сотрясся от внутреннего грома, я затянул тебя в глубины своей извращенности и сказал, что именно так занимаются любовью, ах, мы занимались ей, и я не знал, что прогнал ее прочь, что я изгнал последние ее остатки из твоего тела, ах, я спугнул любовь.

[56] Примечания: 56
Пер. Дубина Е. В., Витковского Е. В.

35

Я пил сладкую воду, словно смутное утешение. Я жаждал ее и жадно пил после того, как вернулся в камеру пыток своих кошмаров и завалил свою мать снежным комом, я увидел, как она лежит под белыми хлопьями, под кусочками фарфора, и рукой ощутил дрожь рядом с собой, но кровать была холодной и пустой, после записи в дневнике и нашего поцелуя Камиллия все чаще спала на диване под тонким покрывалом, рядом с алтарем с фотографиями ее родителей, деревянным крестом и портретом Дианы, леди Ди; я никогда не понимал, почему у нас стоит фото принцессы Уэльской, но Камиллия, казалось, ее очень ценила, и я предложил перебраться на диван самому, но она не хотела лежать в постели, где мы когда-то любили друг друга, где мы когда-то зачали наших сыновей, и теперь я лежал здесь один в море постельного белья, пытаясь контролировать дыхание, пытаясь думать о вчерашнем дне, и я не знал, был ли я на грани ужаса или восторга, оттого что мы, моя небесная избранница, стали одним целым, но улыбка и восторг, которые это вызывало, были сведены на нет моей матерью,

я снова увидел, как она сидит на краю кровати в моей спальне, мне было четырнадцать, и она сказала, что знает, чем я занимаюсь: она видела фотографии Ким Карнс[57] у меня под матрасом, я был чрезмерно озабоченным подростком, и она залезла ко мне в кровать, я почувствовал запах блинов, который ее окружал, она потрогала мои боксеры или приказала мне потрогать себя, она велела мне думать только о ней, и я все реже и реже находил убежище у таких женщин, как Карнс, было безопасно думать только о девушках помоложе, о девушках, которые находились на границе между ребенком и женщиной, и я научился не фантазировать, что делаю что-то сам, но стал зрителем — как зритель я не мог быть грешным и грязным, в конце концов, я же ничего не делал, я просто смотрел и часто видел, как мои одноклассники флиртуют друг с другом; это приводило меня в восторг, но никогда не привлекало, поэтому мои первые попытки с девушками были печальны, я чувствовал возбуждение, но на этом всё, я вылетал из собственного тела, как только они до меня дотрагивались, я был циркачом с боязнью высоты, и мне все больше

[57] Примечания: 57
Американская кантри-рок-певица.

и больше хотелось детей, безрассудства их желаний, восхитительной застенчивости, робких прикосновений друг к другу без ожиданий немедленного продолжения: в своем сексуальном развитии, в физическом созревании я зашел не дальше их, но я мало-помалу взрослел, а девочки оставались юными, они навсегда оставались в возрасте между тринадцатью и шестнадцатью, и я собирал пластинки блондинки-певицы, бесконечно слушал The New Christy Minstrels, а затем ее первый альбом 1971 года, альбом Rest on Me, в надежде, что это сработает, что я вырасту иным, но когда моя мать забралась со мной в постель и сказала мне, какой я грешный и грязный, пока она щупала меня, я не смог не возненавидеть взрослость, не смог не стать снова зрителем, когда почувствовал, как ее холодное обручальное кольцо скользит по моему рогу; и однажды я выбросил фотографии Карнс в компостер к свиному дерьму и мандариновым коркам, и когда мне было около двадцати восьми, а моя нужда становилась все более и более отчаянной, я искал парки и пляжи и смотрел на юных девушек на заре половой зрелости, на заре той кипящей и бурной долины, в которой они познавали собственные тела, их движения колебались между движениями

изящных молодых женщин и игривых детей, я наблюдал за ними и затем разряжался дома, когда снова превращался в зрителя; и именно в то время, когда я не занимался ничем с женщиной в течение долгих лет, я сбежал из дома, от свиней, подальше от матери и ее блинов, от отчаяния и страха перед собственными вожделениями, я отправился на поиски кого-то своего возраста, на поиски исцеления, защиты, ширмы для своих истинных чувств, и именно тогда я нашел Камиллию, я встретил ее, когда пришел вести урок о жвачных животных в старшей школе, где она работала учительницей, и хотя у нее были другие отношения, это была любовь с первого взгляда, это было прямое попадание в том смысле, что я подумал, что смогу разделить с ней свою жизнь, а она сможет освободить меня от моих отвратительных вожделений к купидонам, она была моей Ким Карнс, и она бросила своего партнера, и у нас появилось двое милых детей, и было такое облегчение, что родилось два сына, но мои вожделения не исчезли, и в каждой компании, в которой я оказывался, были какие-то молодые нимфетки: они бегали за мной, хихикая или желая сесть мне на колени, а я изображал тирана, фантастического ветеринара, и за те годы,

что я следил за ними, я видел, как их интерес ослабевает и переключается на сверстников, а затем я с грустью отпускал их и снова чувствовал себя цирковым мальчиком, который из-за страха высоты не участвует в шоу; но с тобой все было по-другому, моя милая питомица, твой интерес не ослаб, а, наоборот, вырос, ты так отличалась от всех других девушек, которых я лелеял, ты была такой особенной и потерянной, и в то же время такой милой, что делало тебя неотразимой, ты не знала границ, но при этом была робкой, и, может быть, именно с тобой я впервые не чувствовал себя зрителем, я стал участником и подумал о тебе и обо мне, не глядя на нас со стороны, и вначале это меня смутило, я был встревожен, когда увидел, как ты резвишься на лугу среди коров, и захотел овладеть тобой в траве, когда пил кофе на крыльце, и вдруг ты, опираясь руками и ногами о дверной косяк, повисла в проеме и наблюдала за нами, как ворона с вишневого дерева, и я так сильно захотел, чтобы ты спустилась и заползла ко мне на колени, что мой кофе остыл; ты была дикаркой, и я бы приручил тебя, с тобой воскрес четырнадцатилетний мальчик, которым я был когда-то, он пробился сквозь мои кости и хотел, чтобы его увидели, мне казалось, что я

снова переживаю половое созревание, я хотел познать все это с тобой, я не хотел причинить тебе вреда, мой прекрасный Путто, я просто не мог больше контролировать свои желания, они слишком долго зрели во мне, и когда ты вошла в годы юности, и твои интересы не угасли, я стал обожать тебя еще больше; но в камере пыток моего кошмара прошлой ночью ты не появилась, я снова видел фермера, он болтался на веревке, а я стоял рядом с матерью, которая была покрыта снежинками, фермер хмыкнул и прошептал, что все его коровы умирают, так же, как он умер в тот день, когда разразилась эпидемия, и его стадо отправилось на убой, когда стрелки в сапогах и белых шапочках перебегали через двор, когда лакенфельдеры[58], один за другим проваливались между копытами, и я хотел сказать что-то, что прояснило бы воздух, который стал черным как смоль, который был полон ужаса, который я, должно быть, впустил в тот день в свои легкие, отчего фермер все время появлялся в моих снах, и я надеялся, что это сон, я надеялся, что он как отбойное течение в море — нужно позволить себя унести, чтобы выбраться, потому что чем больше

[58] Примечания: 58
Порода кур.

ты стараешься плыть против него, тем меньше шансов выплыть живым, поэтому я опустился на дно и увидел, как стою на дне со стеклянным шаром в руке, на нем была кровь, я прошептал, как шептал маленьким мальчиком, обращаясь с матери, — мне никогда не разрешалось называть ее «мать» или «мама», я называл ее «госпожа», и фермер сказал, что госпожа мертва, что я убил ее, а я покачал головой, покачал головой и сказал, что не мог этого сделать, что, несмотря на ее жестокость, я любил госпожу, но еще я видел, что снег стал красным, и фермер сказал, что если повторять одну и ту же фантазию слишком много раз, она может сбыться, а я повторял свою фантазию бесконечно и думал, каким же жалким маленьким мальчиком я был; мне иногда было приятно жалеть себя, делать из себя сироту, и теперь, когда госпожа мефрау мертва, я действительно стал сиротой, и в следующий момент в кошмаре я стоял где-то на лугу, край которого примыкал к Деревне, к полям и огородам, и я рыл лопатой яму, словно могильщик, я копал и копал, пока я не услышал голос, сказавший, что я могу остановиться, что яма достаточно глубокая, я вылез из нее, и мы с фермером положили туда мою мать, мы бросили землю на ее тело, я услышал,

как земля ударялась о черный костюм, а потом мы утрамбовали грунт, и фермер сказал, что у него есть кое-что для меня, сюрприз, он расстегнул синеватыми руками несколько пуговиц на своем комбинезоне и выудил из внутреннего кармана цыпленка — это был пасхальный цыпленок, без сомнений, он опять стал нормального размера, и фермер вручил мне пушистую птичку, сказав: «*Если сможешь превратить цыпленка в курицу, все будет хорошо*». И я взял птицу, еще теплую от внутреннего кармана фермера, и плотно прижал к себе, и увидел себя, лежащего в траве рядом с могилой с птенцом на груди, солнце светило мне на лицо, я улыбался, как не улыбался в течение долгого времени, и когда я проснулся, боль в моем теле уменьшилась, я больше не корчился под простынями в поту, хотя и хватал ртом воздух, хватал успокоение, потому что на меня обрушился образ стеклянного шара, и все же я хотел остаться лежать и обдумать то, что мне только что приснилось, обдумать слова фермера, но я знал, что ты ждешь, поэтому надел кроссовки, выскользнул из дома и побежал по безлюдным улицам, все еще ощущая на груди цыпленка; и я понятия не имел, что тебя не будет под виадуком, что я не найду тебя среди льна, я понятия не

имел, что ты поднялась на башню для силоса, что гайки и болты в твоих крыльях не в порядке, что ты обрушилась вниз и разбилась о землю.

36

Полчаса ты неподвижно пролежала на спине на холодных камнях двора. Твой папа найдет тебя и уронит вилы, поднимет тебя, как раненого теленка, и положит в прицеп для скота за старым красным трактором Massey Ferguson 250, и помчится в городскую больницу, нарушая все правила дорожного движения; он будет сидеть за рулем, в исступлении молясь Богу, а ты будешь лежать на соломе с широко раскрытыми глазами, из которых ушел весь их синий цвет, и не сможешь произнести ни одного глупого слова, тебя осмотрят и констатируют небольшой перелом основания черепа, сломанную ключицу и несколько ушибов ребер, и позже ты расскажешь в интервью, что это помогло тебе создать альбом Kurt12, точно так же, как Роальд Даль смог написать свои книги после авиакатастрофы, но сейчас ты лежала в руинах, лежала как выдра на операционном столе, и пройдет два дня, прежде чем ты снова сможешь заговорить, прежде чем снова сможешь произнести первое предложение, им будет: *«Тех, у кого есть крылья, нельзя приручить»*. Затем ты, конечно, попросишь свой

мобильник и пообещаешь отцу и брату, что никогда не сделаешь этого снова, это была разовая акция, как ты скажешь, разовая акция, как когда производитель снеков Smiths в 1995 году клал сотки в пакетики чипсов и сразу же перестал, когда какая-то бельгийка подавилась такой соткой; и ты сказала, что иногда необходимо несчастье, чтобы понять, что что-то может быть опасно, теперь ты поняла, что попытка взлететь была безумием, хотя я знал, что это будет не последняя попытка, но твои папа и брат были успокоены, они были счастливы уже оттого, что ты снова можешь говорить, хотя сами мало что тебе сказали, а ты бесконечно рассказывала им о том, что изобретатель соток, господин Зандфлит, был мультимиллионером, но растерял все свое богатство, потому что хотел делать стеклянные шарики с куколками внутри, но на производстве все пошло не так, да и, в любом случае, дети больше не интересовались стеклянными шариками, картами, сверхновыми звездами, тигровыми глазами, королевскими змеями, смерчами, каплями росы, ванильным пудингом с сиропом, шмелями и прочими вещами; и теперь господин Зандфлит получал еду на кухне для бедных, он все еще мечтал об идеальном стеклянном шарике, и тебе

казалось прекрасным, что после всех невзгод кто-то все еще мечтал об этом единственном успехе, и твой папа и брат кивали, а ты вспомнила, как в начальной школе в первый раз позвала милого мальчика пойти с тобой на свидание при помощи желтой записки, вырванной из блокнота «Страхование и недвижимость Костер», и над этим важным вопросом ты приклеила скотчем стопку соток, как будто могла подкупить его этим — именно так, думала ты, нужно вести себя с людьми: ты должна дать им что-то, прежде чем они смогут стать твоими друзьями или возлюбленными; через своего сына я узнал, что произошло тем утром, слух о твоем падении разнесся по Деревне как навозная вонь, но никто не знал, что это была попытка полета, они думали, что ты поднялась на цистерну ради вида, всем местным жителям нравился здешний вид, поэтому никто не был удивлен, хотя ходили слухи, что ты пыталась убить себя, что ты прыгнула, потому что хотела отправиться к потерянному, потому что смерть родственника всегда оставляет в человеке какой-то яд, и через три дня ты отправишь мне сообщение о том, что они вывели из строя самолет, птицу, что ей испортили мотор, что Нью-Йорк придется отложить, как и твои

попытки помириться с Камиллией; и я пришел навестить тебя, когда твои отец и брат отправились домой, чтобы принести тебе чистую одежду и подоить коров, и я увидел, как ты лежишь на белой больничной койке, словно разбитый ангелочек с рукой в гипсе, на котором Жюль и Элиа нарисовали сердечки и написали «ятл» и «нхрст», что на языке мессенджеров означало «я тебя люблю» и «не хочу расставаться с тобой», вы слали их друг другу просто так, не понимая, что означают эти слова; и у тебя была отдельная палата с телевизором и ванной, я вытащил из-за спины воздушный шарик с Багз Банни, который держал в руках, сердце с надписью «Поправляйся скорее», это будет один из синглов с твоего дебютного альбома, который рассказывает о полете с кормовой цистерны за коровником, но по большей части о моем визите в тот вечер, и в нем были строки, которые я потом часто буду обдумывать, к которым я всегда буду возвращаться и от которых буду чувствовать себя монстром, да, дорогие магистраты, я чувствовал себя монстром, когда слушал этот текст: *«I was brave enough to fly, but was reluctant to leave you. And Bugs Bunny said: get out of here as fast as you can, but my wings didn't work, they didn't work. I crashed, and if you crash, don't think*

that's the end, a crash is never the end, you only land with a smack when you no longer want to fly[59]». Я все слушал эти строки, но там, в больнице, ты светло улыбнулась мне, когда я привязал воздушный шарик к бортику кровати у стола с тарелкой протертой больничной еды, в которой я различил морковь и картофель, и к которой ты, судя по ее виду, ни разу не прикоснулась, и, не сказав ни слова, я сел на стул рядом с тобой, взял ложку, зачерпнул и стал двигать ее к тебе, как грузовое судно, ты посмотрела на еду с отвращением, но когда я поднес ее к твоим губам, ты открыла рот, и я поместил в тебя грузовое судно и повторял это до тех пор, пока тарелка не опустела, и я увидел, что тебе нравится, когда тебя кормят, как маленького ребенка, а мне нравилось, когда ты была уязвимой, точно так же, как в тот раз, когда у тебя была температура, а я читал тебе книгу Герарда Реве, и ты навалилась на меня, словно тряпичная кукла; я попросил тебя подвинуться после того, как задернул шторы вокруг кровати, залез к тебе и спросил, могут ли сестры зайти просто так, а

---

[59] Примечания: 59

Я была достаточно смела, чтобы взлететь, но не хотела оставлять тебя. И Багз Банни сказал: убирайся отсюда как можно быстрее, но мои крылья не летели, не летели. Я разбилась, и если ты разобьешься, не думай, что это конец, падение это не конец, ты приземлишься, только когда больше не захочешь летать.

ты сказала, что они не начнут второй обход до восьми часов, чтобы ты могла посмотреть повтор «Спасенных звонком», ты полностью погрузилась в этот мир и в основном была под впечатлением от пятнадцатилетнего Зака Морриса, которого играл Марк-Пол Госселаар, американо-нидерландский актер, и ты вздыхала, что он такой красивый, такой красивый, ты говорила, что Жюль и Элиа были под большим впечатлением от А. С. Слейтера, которого играл Марио Лопес, потому что они думали, что он намного круче, мускулистее и мужественнее, они считали, что Зак все еще мальчик, и поскольку им казалось, что все мальчики вашего возраста еще слишком маленькие, слишком дети, им нравился более зрелый мужчина, потому что они считали самих себя взрослыми и достаточно зрелыми; они победоносно двигались по школьному двору и по жизни, но ты влюбилась в Зака, ты думала, что он такой красивый, что хотела им стать, ты могла бы им стать, и ты сказала, что у него точно должен быть прекрасный маленький рог, и у меня создалось впечатление, что ты мечтала о нем, что ты предпочла бы быть с ним, и я не был уверен, что именно: ревность или страх, что твой интерес переключится с меня на милых

мальчиков твоего возраста — заставило меня положить руку тебе на живот; я почувствовал, как ты съеживаешься от боли из-за ушиба ребер, но проигнорировал эту реакцию и проскользнул под подол твоего больничного халата, подцепив большим пальцем край трусиков, чтобы немного стянуть их вниз и проникнуть в тебя пальцами, на которых осталось налипшее больничное пюре, и ты тихо пробормотала, что тебе нельзя, и ты попыталась сжать ноги вместе, но я не послушал и грубо раздвинул их, а ты была слишком хрупкой и тебе было слишком больно, чтобы сопротивляться, и я сказал, что Зак может быть красив, но он никогда не поймет тебя так, как понимал я, он никогда не полюбит тебя так сильно, как я; и только когда я почувствовал, как что-то теплое и липкое бежит по моей руке, я понял, что это, почему ты сжимала ноги, я поднял простыню и увидел, что ты вся в крови, что ты и правда сломана, и когда я посмотрел на тебя, ты спрятала лицо за здоровой рукой, твои плечи тряслись, слезы капали на гипс, и я впервые увидел, что тебе стыдно, что ты очень стыдишься себя, своего тела, нас, того, что мы делали, и только тогда я заметил гигиеническую прокладку у тебя в трусиках; Господи, да я понятия не имел, как ты

боролась с изменениями девичьего тела, что ты не понимала, почему течет кровь, и не у кого было спросить, что однажды в школе ты протекла, и те, кто над тобой издевался, спрашивали любого, кто хотел их слушать, не хотят ли они увидеть кровавую луну, а затем указывали на твою промежность; ты повязала вокруг талии пальто, а затем отпросилась по болезни у директрисы, дома ты выстирала джинсы, весело сказала отцу, что урок отменился, и ушла в свою комнату, где опустошенно легла на кровать, и каждый раз, когда ты закрывала глаза, ты видела перед собой кровавую луну, а я хотел сказать тебе, чтобы ты не стыдилась этого, что это всего лишь красная жидкость, хотя я не мог понять, что это была кровь позора, что для многих девушек это больше чем рана, это война, которую ты вела сама с собой, и тебя ранило каждый месяц; я не понимал тебя, я сказал, что Роальд Даль, вероятно, не плакал, когда разбился, ах, я был так груб, уважаемые магистраты, я был так резок, боясь, что потеряю тебя, что ты медленно выскользнешь из моих рук, я попытался задобрить тебя перспективой поездки в музей Фаллоса, словами, что у них там, наверное, был и пенис лебедя, но ты все плакала, и я так и не понял, что мной овладело: возможно,

я хотел стать твоей навязчивой идеей, хотя это было по-детски и наивно — я сказал, что покажу тебе, что еще можно делать рогом, кроме как писать стоя; ты все рыдала, когда я поставил колени по обе стороны от твоего маленького тела, не касаясь твоего живота, когда я расстегнул ширинку, достал рог-убийцу и словно ложку, словно грузовое судно, прижал его к твоим губам, пока тебе не пришлось открыть рот, я вытер слезы с твоих глаз и зашептал, что это то, чего ты хотела, я зашептал, что тебе нужно делать ртом, и увидел, что ты еще не читала об этом в журнале «Все хиты», хотя позже ты скажешь, что милый мальчик из шестого класса как-то рассказывал об этом шепотом, и все девочки закричали *«фу-у-у»* и *«гадость»*, и даже милые мальчики подумали, что это мерзкая идея; и я увидел твое замешательство, увидел, как из твоих глаз закапал океан, и чтобы тебя успокоить, я сказал, что у тебя хорошо получается, отлично получается, моя небесная избранница, я использовал вымышленные слова Роальда Даля, «люкс-флюкс» и «крутецки», я потушил огонь своих чресл и, наконец, покинул больницу как раз перед тем, как медсестры пришли к тебе мерить пульс и обнаружили лужи крови; и ты сказала, что плохо себя чувствуешь,

что тебя тошнит, и вся больничная еда вышла из тебя, ты выблевала из себя выдру и Лягушонка, а я ехал прочь в фургоне под песню Gypsy Fleetwood Mac, одной из твоих любимых групп, крепко вцепившись в руль, и все еще видел перед собой твое заплаканное личико, я с ума сходил от отчаяния, от мысли, что после такого потеряю тебя навсегда, поэтому где-то в одиннадцать я написал тебе, что нам нельзя это продолжать и мы должны распрощаться, и ах, я отлично знал, что делаю, потому что ты сразу же ответила, ты сказала, что сожалеешь о своем поступке, что не хочешь меня терять, и я знал, что использовал тоску по покинувшей, чтобы удержать тебя, но я не мог существовать без твоего прекрасного присутствия в моей жизни, ты была моим любимым теленком, и я написал, что люблю тебя, что я твой Курт, и перечитывал твой ответ снова и снова, я читал его и не переставал блаженно улыбаться, ты отправила строчку из песни Бонни Тайлер 1977 года It's a Heartache: *«Love him 'till your arms break*[60]». Хотя это блаженство продлилось недолго, потому что, когда я приехал домой и вошел в гостиную, дрожащая Камиллия сидела на красном диване,

[60] Примечания: 60
Люби его, пока не сломаешь руки (*англ.*).

я сразу понял, что что-то не так, казалось, даже мебель затаила дыхание — она сидела как паук в паутине, ожидающий, что я, ее добыча, влечу в липкие нити виселицы, в руке у нее была стопка бумаги, это оказалась наша переписка в мессенджере, с множеством смайлов, со всеми моими чудовищными вопросами и ответами, со всеми грустными попытками сделать тебя своей, я случайно оставил открытой почту, где хранил все связанное с тобой в папке «Моя дорогая питомица», и она открыла ее, она просмотрела каждое слово, она прочитала все, несколько раз ее чуть не стошнило, она смотрела прямо на меня, когда я вошел, следила убийственным взглядом, как я снял ветеринарный халат и повесил его на спинку стула, ее вывод был кратким, она не двигалась, когда произнесла эти слова, пугающе спокойно она сказала: *«Ты трахнул этого ребенка»*.

37

Уважаемые присяжные, я очень хорошо знал, что, если у коров нет течки или течка слишком сильная, необходимо принять во внимание питание, содержание, аномалии яичников и инфекционные заболевания. Содержание также является одним из основных условий для наблюдения течки — часто случается, что пол слишком скользкий, коровы не осмеливаются запрыгивать друг на друга, и сигналы течки не удается заметить, и, черт возьми, каким скользким был пол там, где ты находилась, моя маленькая добыча, я сделал тебе инъекцию в больнице, не обращая внимания на твои сигналы, не видя, что ты и правда хотела спрыгнуть, и не только из-за меня, у тебя дома тоже был неподходящий пол, там все было грехом, и никто не говорил с тобой о твоей тяге к прыжкам, которой ты обычно предавалась в своей комнате или на улице, и я не видел, что ты все еще была в стадии сухостоя — когда коровы уже немного трутся друг о друга, но ничего более, нет, я стимулировал твою течку, как делал это с коровами, делал то, что заставляло их овуляцию приходить раньше, чтобы они быстрее береме-

нели — я не хотел, чтобы ты забеременела, моя дорогая, но я перепутал твою наивную течку со зрелой сладострастностью в себе самом и игнорировал все знаки, чтобы проникнуть внутрь тебя, чтобы оплодотворить тебя своей любовью; и на самом деле, уважаемые присяжные, вы должны знать, что после того инцидента я пытался наладить свою жизнь: я удалил учетную запись в мессенджере и несколько дней не ходил под виадук, я проводил рядом с Камиллией столько времени, сколько было возможно, чтобы убедить ее дать мне еще один шанс, как бы противоречиво все ни было, я не хотел терять свою семью, свое спасение и свое прикрытие, и я знал, что Камиллия ни за что не захочет пережить развод, как ее родители, она не хотела, чтобы он задел наших сыновей, поэтому я показывал свою лучшую сторону, готовил ей овсянку с малиной на завтрак, я играл в идеального семьянина, я позволял ей вопить, когда она разъяренно спрашивала, как я мог так поступить, когда она называла меня педофилом или растлителем, насильником детей, да, она называла меня отвратительным насильником детей, и я чистил для нее десятки мандаринов, отвечая на вопросы, ответы на которые она на самом деле не хотела знать или не

могла вытерпеть: она спрашивала, как мы это делали, сколько времени это длилось, кончил ли я в тебя — и каждое подтверждение или объяснение, которое я давал, сопровождалось множеством насмешек и брызгами мандарина, что вырывались из ее рта; и я ничего не рассказал о матрасе в кузове фургона, я соврал, что это произошло на заднем сиденье, и Камиллия передала это моему старшему сыну, который к тому времени понял, что между нами что-то происходит, и он откажется снова садиться на заднее сиденье, он будет все больше и больше сердиться на меня теперь, когда он узнал, что произошло между мной и его первой подружкой, что его собственный отец занимался сексом с девушкой его возраста, а Камиллия хотела знать, в каком нижнем белье ты была, я ничего не рассказал ей о ее собственных трусиках, которые я тебе отдал, ничего не рассказал о девчачьих бантиках спереди, которые заставляли меня так чудесно дрожать, нет, я позволил ей плакать, я позволил ей сдаться только затем, чтобы через час она придумала другой план, чтобы вытащить нас из этого дерьма, я позволил ей изобретать обнадеживающие решения, я позволил ей бросить чайную кружку через комнату и убрал осколки, я приближался к

ней как к лошади, которая может лягнуть, пытался подойти к ней поближе, но каждая попытка кончалась ссорой, и она несколько раз спрашивала, не насильник ли я, и я лгал, что впервые полюбил ребенка, хотя в некотором смысле так оно и было, потому что то, что я чувствовал к тебе, мой милый Путто, я раньше не испытывал к детям; и я действительно думал, что между нами все кончено, я думал, что все кончено, что я смогу жить без тебя, я не хотел больше причинять тебе боль, я желал тебе стать красивой бабочкой-пяденицей и следил бы за этим процессом с должного расстояния, я больше не собирался тебя преследовать, когда ты ехала на велосипеде домой из бассейна по Киндербалладевех, я не собирался смотреть, как ты выступаешь с Hide Exception в пабе, и если бы я сталкивался с Жюль и Элией в пекарне в торговом центре, где каждую пятницу они покупали булочки с кремом, я не собирался лукаво выяснять, целовалась ли ты на выходных с каким-нибудь милым мальчиком; иногда я думал бы о тебе, лежа в постели или стоя в душе, снова ощущал бы твои губы на роге-убийце, и тоска по тебе иногда причиняла бы мне боль, и я бы причинял боль Камиллии, отворачиваясь от нее, храня молчание о том, о чем беспокоюсь или

чего хочу, не рассказывая ей о моем прошлом или о кошмарах. Я бы думал о тебе каждую песню, подчеркивая строчки у себя в голове, и на этом все, правда-правда, я считал, что все кончено, что я больше не наврежу тебе, но потом твой па внезапно на неделю уехал во французский город Шароле, чтобы купить мясных коров кремового цвета, потому что они ему нравились, и эти коровы давали самое вкусное мясо; он уехал на Toyota Avensis с прицепом для скота, а вы с братом остались дома, чтобы держать ферму в порядке, но она внезапно превратилась в полный бардак: порядок пошел насмарку, дом внезапно наводнили длинноволосые друзья твоего брата, было пьянство, наркотики и секс, а ты лежала в своем гнездышке детской страсти в страхе от всех фильмов ужасов, которые вы смотрели днем, пока тебе все еще приходилось оправляться от падения с башни для силоса, и ты не могла ходить в школу, ты слышала рев коров, которых слишком поздно доили и которые брели по пастбищу с тяжелым выменем, слышала, как твой брат каждую ночь прыгает на новой девушке, и пока он ужинал пиццей по-гавайски и сладостями, ты стала все меньше есть и все больше бегать; как только после дойки первые друзья с ящиками пива на-

чинали громко орать у двери, ты надевала обувь и бежала по польдеру, пока не приходилось останавливаться из-за боли в ушибленных ребрах и сломанной ключице, пока не темнело, и сцены ужасов из фильмов не заполоняли твою голову, и за каждым кустом тебе чудился Патрик Бейтман, которого играл Кристиан Бейл с бензопилой из фильма «Американский психопат», ты думала о пропавшей девушке с Бенэйденпейлстэйх, о борьбе, которая, должно быть, произошла на кухне той ночью в 1984 году, о брызгах крови на кокосовой циновке, о том, как преподобный Хорреман, сосед напротив из дома под номером четырнадцать и местный психотерапевт, который писал колонки и часто посвящал статьи этой девушке, похожей на молодую Сьюзи Кватро, утверждали, что преступник или преступники жили в Деревне, что они знали, где находится ключ от входной двери, и в ту ночь они одолели Сьюзи, и множество газет по всей стране начали писать о ее исчезновении, и тема поднималась снова и снова, газеты писали о закрытом сообществе, в котором никто не хотел говорить, об анкетах, которые раздавали несколько лет спустя, и даже половина из трех с половиной тысяч жителей Деревни не заполнила их — все всегда

подслушивали друг друга, но в ту ночь были глухи, некоторые стали запирать входные двери на засовы, опасаясь, что преступник ударит снова, а полиция в ходе расследования осторожно сообщила, что существует большая вероятность того, что преступник находится поблизости, так близко, что может легко украсть любого, а другие и не заметят; и в год твоего рождения врач, назначенный представителем людей, которые больше знали о том летнем дне, погибнет в горах, и его место займет преподобный Хорреман, с годами все больше пальцев будут указывать на психотерапевта, который вместе с соседом напротив создал рабочую группу, чтобы найти Сьюзи — они утверждали, что знают, кто преступник, и вскоре объявят об этом, они копали в Тэйхенланде, на полях и на свалках, в Деревню приезжало несколько экстрасенсов, жители больше не осмеливались выгуливать своих собак, а психотерапевт сказал, что преступник написал ему письмо с покаянием, со строчкой из шестого псалма: *«Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе мое, слезами моими постель мою орошать».* Психотерапевт обещал в своих статьях объявить имя или имена преступника или преступников как можно скорее, пока он сам не стал подозрева-

емым и не отказался от дела, и ты думала об этом, а еще об отце Сьюзи, который был уборщиком в начальной школе, где ты училась: каждую пятницу он разрешал тебе проверять вместе с ним показания счетчика, приносить кофе учителям и учительницам и чувствовать себя особенной — ты любила его, этого милого, хилого мужчину, который всегда с улыбкой подкладывал лишний кусочек сахара в кофе учителям и подмигивая говорил, что от этого они становились чуть менее строгими; и ты бежала по польдеру, прижав руку к ребрам, как будто за тобой гнался убийца, дома, дрожа от страха, вставала под душ и затем залезала глубоко под простыни, пока под тобой гудела музыка любимой группы твоего брата, Audio Adrenaline, христианской рок-группы из Соединенных Штатов с хорошим ритмом, хотя у тебя мелькала мысль, что этот тунц-тунц скорее напугает Бога, и ты чувствовала себя более одинокой, чем когда-либо, ты думала, что твой па никогда не вернется, что он собрал чемоданы, как покинувшая, и ты слушала, как внизу бьются предметы домашнего обихода, чувствовала запах травы и, чтобы успокоиться, терялась в своей любимой детской книге — «Сказки о злой ведьме» Ханны Краан, ты фантазировала, что находишься

в этой книжке, что живешь в лесу с зайцем, ежиком, черным дроздом и совой, ты читала истории снова и снова, и тебе никогда не становилось скучно; ты читала про себя, потом откладывала книгу, выключала ночник и терялась в разговорах с Фрейдом и Гитлером — стало еще хуже с тех пор, как твой па отправился во Францию, они как будто брали на себя роль родителей, и они сидели на краю письменного стола, разговаривали, проводили с тобой весь день, указывали на болевые точки, ты обсуждала с ними свое одиночество, свою страсть к рогам мальчиков, и в последнем случае Фрейд недоверчиво задумался, он рассказал тебе о европейском кроте, большой свинке и пятнистой гиене, у самок которых был псевдопенис — казалось, что снаружи у них маленький рог, но на самом деле внутри находились матка и яичники: они не могли никого оплодотворить, а за псевдопенисом у них пряталось отверстие для случки и рождения потомства, они могли им писать и спариваться, но Фрейд сказал, что рога самок гиен в основном служили для доминирования: чтобы первыми начинать есть, чтобы иметь лучшую пищу и кормить детенышей, это было нужно для их существования, иначе они бы скоро вымерли, и он сказал, что у тебя это может

работать похожим образом: ты так сильно хотела иметь собственный рог, чтобы чувствовать себя сильной, жесткой и мощной, чтобы не умереть, ты росла с отцом и братом и не хотела быть самой слабой среди них, потому что ты видела, что между ними установилась особая связь, тебя часто не допускали к разговору, потому что они обсуждали мужские дела, а с тех пор как у тебя начала течь кровь, твой па больше не играл с тобой, как будто ты могла в любой момент сломаться, и он больше не знал, как с тобой обращаться — рог давал чувство принадлежности, вселял идею, что ты сильная, и да, увлечение ими вышло из-под контроля, ты не могла больше думать ни о чем другом: когда ты видела на пастбище жеребца, то надеялась, что его член покажется из паха и ты сможешь без стыда его рассмотреть, ты так надеялась на это, и тебе все чаще и чаще снилось, что учительницы и мамы подружек помогают тебе писать стоя, и ты не хотела слышать мнение Фрейда об этом, ты должна была заполучить и ты получишь мальчишеский рог, даже если тебе придется его украсть или купить, разбив свою копилку, все равно; и ты рассердилась на Фрейда, ты кричала, что он должен отстать, свалить из дома, и ты все чаще впускала в свою голову

Гитлера, а не подруг, вы с ним обсуждали войну, которая бушевала у тебя внутри, ты спрашивала его, каково это — почти умереть, потому что где-то прочитала, что во время Первой мировой войны усы Гитлера, которые тогда были гуще и толще, почти стоили ему жизни: из-за них противогаз, который он носил, оказался не полностью герметичен, — и он отвечал, что ты и сама знаешь, каково это, он напомнил тебе, что ты ныряла под плот в бассейне, что ложилась в мешке посреди дороги, и ты медленно кивала — да, ты понимала каково это, на что это похоже, и ты спросила его, почему он любил животных, но ненавидел людей, почему он не ел мясо, скучает ли он по своей собаке Блонди, которой перед самоубийством дал капсулу с ядом, чтобы она не попала в руки русских солдат, и он ответил, что животные тебя не отвергнут, что овчарки остаются верными, что его так много раз отвергали в жизни, что однажды он не выдержал, что Блонди украла его сердце, в жизни у него было несколько овчарок, но ни одна из них не могла с ней сравниться, а ты сказала, что в человеке, который любит животных, должно быть что-то гуманное, и он погрустнел — человек, который полон ненависти, не хочет, чтобы ему напоми-

нали о человечности, это делает его уязвимым, а уязвимость хуже всех атомных бомб, она взрывается внутри, и, даже несмотря на то, что ты была юна, ты понимала, как это работает, и ты спорила с ним о своей жажде славы, рассказывала, что иногда в церкви идешь по проходу между скамейками и воображаешь, что все на тебя смотрят и восхищаются, что наемные работники с фермы сворачивают головы — в такие моменты ты чувствовала себя сильной и подпевала гимнам от всего сердца, фантазируя о том, как однажды станешь всемирно известным музыкантом, и тут Гитлер начинал клевать носом, он зевал и говорил, что уже поздно, и тебе нужно спать, и когда ты проснешься, то заглянешь в трусики, чтобы проверить, не вырос ли рог, а потом разочарованно посмотришь в потолок и обдумаешь, что ты сегодня *не* будешь есть, составишь список и включишь в него все любимое, но не полезное — тебя успокаивало, что хотя бы это ты могла решать сама, а позже напишешь мне, что хочешь поехать в Ставангер сию же минуту, и не могу ли я забрать тебя, и я дождался тебя под виадуком в своем фургоне и сказал, что этого не будет, что мы не поедем в Ставангер, и слезы навернулись на твои прекрасные сине-зеленые глаза, ты то-

ненько вскрикнула, я же обещал, что мы вместе поедем искать покинувшую, а потом отправимся в музей фаллоса в Исландии, ты обезумела от ярости, от всей печали, которая накопилась в твоем маленьком теле и сквозь трещины в костях сочилась наружу, и вся моя уверенность, что я смогу прожить без тебя, исчезла, она исчезла, дорогие присяжные, как я ни пытался противостоять своим желаниям; я распахнул дверь машины, обошел Fiat и потащил тебя на поле, с которого убрали лен, опустился на жнивье, посадил тебя на колени и сказал, что лен ни на что не годен, пока не вырастет примерно на сто двадцать сантиметров в высоту, что он не должен быть полеглым, не должен лежать на земле, что если я отвезу тебя в Ставангер сейчас, ты будешь как слишком рано убранный лен, ты должна сперва вырасти, и ты спросила, какого нужно стать роста, прежде чем мы уедем, и я искал ответ, который тебя бы удовлетворил, я сказал, что мы сможем уехать, когда ты станешь совершеннолетней, а ты разочарованно надула губы, потому что четыре года казались вечностью, а я прошептал, что очень хочу полежать с тобой, и повалил тебя спиной на жнивье, почувствовал запах травы в твоих волосах, и ты сказала, что прогнала Фрейда, этот

человек ошибался со всеми своими теориями, и я ответил, что думаю, что это хорошая идея, и я поцеловал тебя, и ты спросила, сколько калорий содержится в поцелуе, а я ответил, что поцелуи только тратят калории, и тогда ты просунула язычок мне в рот и немного застонала, когда я залез на тебя — ты слышала, что девушки в комнате твоего брата так делали, и подумала, что это часть процесса; опираясь на локти, я спросил, как дела на ферме, ты отвела глаза и сказала, что вы с братом здорово проводите время, ты не скучаешь по отцу и теперь можешь больше тренироваться летать, что у коров все хорошо, *да*, сказала ты, *у коров все хорошо*.

38

Твой брат больше не изображал мяуканье кота. Хотя ты бы предпочла мяуканье, из-за которого ты много раз замирала, включала настольную лампу и сердито свешивалась с края кровати, чтобы увидеть ухмыляющееся лицо брата, который затем с хохотом молотил по решетчатой раме кровати, ты бы предпочла, чтобы он пугал тебя этим мяуканьем, а не разговорами о Сьюзи, о том, что убийцей может оказаться кто угодно, даже дружелюбный мужчина по прозвищу Обувщик: он каждый месяц ездил по всей деревне, чтобы спросить, нет ли у кого обуви, которая нуждается в починке, а позже возвращал ее как новенькую, — да, даже Обувщик мог им оказаться, и твой брат лукаво говорил, что есть шанс, что однажды Сьюзи выкопают, как картошку, или она всплывет на поверхность, или, может быть, она где-то спрятана, как было с жертвами маньяка Дютру[61], и он знал, как тебя пугали эти истории, что ты больше не осмеливалась спуститься в подвал за банкой гороха, и ты решила никогда больше

---

[61] Примечания: 61
Марк Дютру, бельгийский серийный убийца и педофил.

ничего не красть, кто-то другой может в этом нуждаться, и хотя, конечно, сотки или книжка — это не то же самое, что ребенок, ты знала, что воры часто начинали с малого и хотели украсть все более ценные трофеи, а твой брат иногда в приступе ярости и дурмане от травы говорил, что убьет тебя, что заставит тебя окоченеть, а ты еще больше надеялась, что, как пятнистая гиена, отрастишь псевдопенис, чтобы почувствовать себя сильнее, чтобы ты не вымерла; и ты смотрела на булочку с корицей на тарелке, которую вытащила из морозильника, наблюдала за процессом оттаивания и раздумывала, стоит ли ее есть, ты обожала булочки с корицей и считала господина с рынка, который продавал их по четвергам на деревенской площади, очень славным — он всегда давал тебе гигантскую трубочку с дополнительной порцией крема, посыпанную стружкой из чуфы, но ты все чаще выбрасывала их из окна спальни в водосточный желоб — ты больше не могла их есть и не хотела, чтобы твой па это заметил, не хотела разочаровывать продавца словами, что о трубочках больше не может быть и речи, что ты чувствуешь, как эти пропитанные шоколадом куски теста шевелятся у тебя в животе, что ты лучше будешь есть пу-

стую баланду, пустую как луга летом, когда коров выпускают на них пастись, и желоб забился от трубочек с кремом, дождевая вода перестала стекать, и твой па однажды приставил к желобу лестницу, думая, что в нем полно листьев и семян клена, и нашел там целый ассортимент пекарни, он побросал ломкие и заплесневелые куски теста в ведро, а затем выкинул их в компостную кучу и с негодованием сказал тебе, что африканские дети твоего возраста умирали от голода, а ты просто выбросила еду на улицу; с этого момента он стал следить за тобой и во время полдника ждал, пока ты не доешь печенье с кремом, а ты сидела и давилась им со слезами на глазах, а затем надевала кроссовки и старалась не думать о маленьких африканских детях с опухшими животами, которые жадно смотрели на мух, вьющихся вокруг их лиц, которые убили бы за трубочки с кремом с рынка, но это случилось позже, в тот момент твой отец все еще был во Франции, и когда булочка с корицей разморозилась, ты решила положить ее обратно в морозилку к говядине, торту-мороженому Viennetta и булочкам с изюмом, ты все повторяла процесс замораживания и оттаивания, сомневаясь, есть или не есть, а твой брат стал непредсказуемым из-за наркотиков,

которые он принимал со своими друзьями: в одну минуту он был безумно счастлив и добродушен, в следующую — свиреп и непредсказуем; и в тот августовский день, пятый день без отца, о вас написали в газетах: твой брат и несколько его друзей в шутку скормили быку Хулигану, любимцу вашего отца, таблетку экстази, они засунули ее в булочку с мясом, и бык сошел с ума — начал безумно скакать, свирепо и быстро носился по коровнику с пеной на морде, а твой брат и его друзья смеялись, стояли и смотрели, пот после тренировки все еще блестел на их лбах, полотенца висели на шеях, и они понятия не имели, что в следующий момент бык развернется и с безумным взглядом бросится на них, что один из друзей, Йорис, который жил в нескольких домах от вас, отбежит слишком поздно, он будет насмерть раздавлен о стену коровника массивным телом быка, Хулиган рухнет рядом с безжизненным Йорисом, и коровник окутает мертвая тишина, почти такая же, как когда забивали скот во время эпидемии ящура, а ты будешь неподвижно стоять за забором и смотреть, как тишина медленно переходит в отчаяние, ты увидишь, как из сильных накачанных тел выходит весь воздух, увидишь кровь, струящуюся из Йо-

риса, и ты позвонишь мне и тихо скажешь, что вас снова посетила смерть, ты пробормотала, что Йорис сломан, сломан как птица из книжки «Лягушонка и птичка» Макса Велтхёйса, и я передал это Камиллии, которая оценила мою честность и не раздумывая вытащила из вазы с фруктами ключи от машины; мы вместе поехали на ферму после того, как я позвонил твоему отцу и сообщил ему ужасную новость, и он сказал сдавленным голосом, как будто его рот был полон трупных мух, что вернется домой как можно скорее, но это может занять несколько дней, и не могу ли я тем временем позаботиться о тебе и брате, и по дороге мы с Камиллией не обменялись ни словом о том, что ехали вместе к тому ребенку, который перевернул ее жизнь, из-за которого она почти не спала и вытерпела множество мигреней, мы приехали во двор и обнаружили ужасный погром, твой брат не сказал мне ни слова и обращался только к Камиллии, но он был рад, что мы приехали, что мы успокоили его друзей, вызвали полицию и пошли к родителям Йориса, что мы с парой соседей отнесли Хулигана к дороге, и что в начале вечера Камиллия привезла картошку фри из кафетерия, потому что нам все-таки нужно было поесть, и вместе с тобой она пошла

убираться на ферме, она почти не смотрела на тебя и отвечала, только если было необходимо, и после того, как полиция покинула ферму, мы молча ели картошку на лужайке, как в тот раз после аварии с потерянным, и я иногда пытался поймать твой взгляд, мой милый Путто, я хотел показать тебе, что я рядом, хотел проверить, все ли в порядке между нами, но ты равнодушно смотрела на жареные картофельные ломтики на своей тарелке, ты съела едва ли три штуки, а твой брат тем временем запихнул в себя две сосиски и лапшу, и я, наконец, заговорил и сказал, что это не ваша вина, что шутка с таблеткой экстази была безумной, очень безумной, но вы не могли знать, что все зайдет так далеко, что смерти Йориса и Хулигана не на вашей совести, и твой брат грубо отодвинул свой садовый стул и ушел к реке, где закурил сигарету и, возможно, заплакал; он больше никогда не устраивал вечеринок и не заходил в ту часть старого коровника, где уже много лет не стояли коровы и где красной краской для граффити он разрисовал место для качалки, где он и его друзья тренировались часами, он перестал приглашать девушек и полностью сосредоточился на ферме, мы с Камиллией следили за вами в течение следующих нескольких дней, пока не

вернулся ваш отец, и я должен признаться, что меня устраивала эта ситуация: я был с тобой, а Камиллия, казалось, ненадолго забыла про свой ужасный гнев, боль и бессилие и полностью сосредоточилась на сломанных птицах, хотя она никогда не позволяла нам оставаться наедине, и я действительно думал, что для вас это хорошо, что вам нужна поддержка, но я не замечал, что тебе становится хуже — иногда я видел, как ты мечешься по двору и вслух говоришь с чем-то или кем-то невидимым, а вечером, после того как мы принесли вам немного еды, вы стали смотреть самые ужасные фильмы, такие как «У холмов есть глаза. Часть вторая» 1984 года, в котором группа людей из США проезжает через пустыню Нью-Мексико, их автобус ломается, и по ночам их донимают жители соседней деревни, которые мутировали в результате ядерных испытаний, проведенных правительством США; и ты смотрела в телевизор сквозь щелки между пальцами и не осмеливалась пошевелиться, но как только ты отводила взгляд, ты видела пронзенного рогом Йориса, видела Хулигана, с которым всегда нежно разговаривал твой па, когда проходил мимо, он одобрительно хлопал быка по боку, когда тот запрыгивал на корову, ты видела это снова

и снова, поэтому продолжала смотреть фильм, смотреть на мутантов из пустыни, и ты все больше и больше пугалась, и на той неделе ты не появлялась под виадуком, ты сказала, что у тебя болят ноги, что у тебя мозоли размером с остров Пасхи, и я стал сварливым и подозрительным и написал, что это чушь собачья, да, *чушь собачья*, и поставил несколько восклицательных знаков *«!!!»* — ведь я знал, что ты не могла вынести, когда на тебя злятся, что из-за этого ты начинала думать о бессилии и гневе покинувшей, которая до сих пор была в Ставангере или в Бекслихите у Кейт Буш; когда она упала, в тебе тоже что-то рухнуло, когда у нее была рана, ты тоже чувствовала боль, тебе тогда было всего три года, но ты была уверена, что помнишь, что в тот день, когда она оставила вас, она была в платье, синем вечернем платье, она уехала утром и как будто забрала с собой вечер, который потом уже никогда не будет прежним — он стал темнее и плавно окутывал тебя, как костюм овцы в школьном мюзикле, когда у Марии оказалась аллергия на тебя — так ты чувствовала себя по вечерам, словно ты вызывала у всех аллергию и могла только наблюдать со стороны, как наступает темнота и падает завеса ночи, и ты боялась темноты, даже если

твой па оставлял включенную строительную лампу на заднем дворе, в ее свете ивы выглядели причудливо; и в следующем своем сообщении я написал, что мне очень жаль, что мы встретимся на похоронах Йориса, что я приготовлю для тебя сюрприз, что-то, что тебя порадует, а Камиллия каждый вечер готовила две дополнительные порции и иногда называла себя сумасшедшей из-за того, что кормила этого маленького монстра, она балансировала между заботой и гневом и, возможно, она думала, моя небесная избранница, что сможет изгнать нашу любовь готовкой, и мы каждый вечер ехали на ферму со сковородкой спагетти или миской лазаньи на заднем сиденье, и я помогал твоему брату с коровами, а Камиллия убирала вместе с тобой дом и спрашивала про домашнюю работу, проверяла твое эссе о Роальде Дале, тексты для школьной газеты, и порой она смотрела на тебя и представляла нас обнаженными на заднем сиденье, потом она злилась и обзывала тебя шлюхой, бедовой девицей, она разнесла твое эссе в пух и прах и сказала, что если бы Роальд Даль прочитал это, он бы перевернулся в своем гробу в Грейт-Миссендене, что он вообще-то не любил детей, можно просто вчитаться в «Ведьм», в «Огромного Крокодила» —

они ненавидели маленьких людей, особенно таких как ты, говорила она тебе, и она не давала тебе сиять, но сжигала тебя, как была сожжена сама, красной ручкой она писала эти слова не только на полях эссе, но и на полях твоей совести, а ты еще больше старалась все исправить, хотя даже не осознавала, что произошедшее окажется таким серьезным, потому что ты думала, что все в твоем классе уже занимались *этим*, и не знала, что некоторые вещи нормальны с одним человеком, а с другим — наказуемы и в конечном итоге разрушительны, что твое тело — не то, чем можно просто с кем-то поделиться, ты считала любовь гербарием, который нужно было собрать в первом классе и сделать как можно более полным: найти побольше растений и положить их сушиться под деревянный пресс, — ты была таким цветком, ты хотела быть увековеченной в чьих-то руках и была готова ради этого на все, а я потихоньку выдавливал из тебя всю влагу, всю твою влюбчивость, я затягивал гайки и забирал твою свободу; и в ту пятницу, за день до того, как твой па вернулся из Шароле, мы вчетвером отправились на похороны Йориса в реформатской церкви на дамбе, где преподобный Хорреман вел службу и рассказывал о трагическом несчастье, я

сидел рядом с тобой на скамье и чувствовал, как мое бедро обжигает твое, и твой опустошенный брат сидел рядом, а Камиллия положила руку ему на спину, и ты время от времени поглядывала на нее, почти завидуя, а потом мы пили кофе и ели сухой пирог в похоронном зале на кладбище, и я высмотрел тебя в толпе и последовал за тобой, поглядывая на Камиллию, которая стояла рядом с безутешными родителями Йориса и не обращала на меня внимания, я выскользнул на улицу и увидел, как ты стоишь у могилы потерянного, как ты вынимаешь из кармана пиджака кусок пирога, целиком суешь его в рот и стоишь, не пережевывая, с набитыми пирогом щеками: ты стояла там, моя дорогая питомица, пока могильщики не собрались запирать кладбище, пока они не уговорили тебя отправиться домой и не сказали, что ты можешь вернуться в другой раз, что мертвые никуда не денутся, и ты опорожнила щеки на хвою, ногой закидала гравием куски пирога, сказала брату, что смерть страдает от диабета и приливов, и вы последовали за похоронной процессией обратно на ферму Де Хюлст, к измученным жаждой телятам: их головы бились о ворота загонов, — я видел, как ты еще раз оглянулась, моя маленькая добыча, я ждал, пока вы

дойдете до Афондлаан, а Камиллия схватила меня за руку и потащила к своей машине, красному Renault Twingo, при виде которого годы спустя ты все равно содрогалась, как и от черных фургонов Fiat, и Камиллия сурово прошептала, что теперь все кончено навсегда, что мы должны убрать этого ребенка из нашей жизни, и я кивнул, кивнул, потому что знал, что это может стать красивым финалом, так часто заканчиваются книги или фильмы: финальная сцена на кладбище с пасмурной погодой и зонтиками — но было невозможно отпустить тебя так, оставить все как есть, мы ехали домой в трауре, я отскре-бал крошки пирога со своего черного лацкана и думал: мы едем не туда, развернись, пожалуйста, развернись!

39

Я мастерски разыгрывал спокойствие отчаяния, покой перед бурей безумия, я был приятным и доброжелательным ветеринаром, который сопровождал до могилы каждое животное в Деревне, я приходил с сумкой, полной пенициллина, антибиотиков, противовоспалительных, скребков для копыт, я всегда носил на шее стетоскоп, который любил прикладывать к твоей плоской груди, чтобы слышать, какое действие заставляет твое сердце подпрыгивать или биться чаще, и везде, куда бы я ни пошел, фермеры тепло меня приветствовали, конечно, не во время эпидемии ящура, но теперь она была далеко позади, хотя мы никогда не забудем ее, никогда не сотрем эти картины с сетчатки глаз и с военного мемориала в Парке Дикой Охоты, где плачущая женщина сидела на пьедестале, а другая женщина стояла, закрыв лицо руками, внизу были слова «Мы не забудем», и в прошлом мае ты записала там имена с ушных бирок забитых коров, рядом с выгравированным на камне списком с именами жителей Деревни, павших во время Второй мировой войны, самому младшему из которых

было девять лет; и в День памяти, когда весь муниципалитет собирался в Парке Дикой Охоты, чтобы почтить не только жертв войны, но также и домашний скот, ты хотела возложить венок и в его честь, но твой па решил, что это будет уже слишком, ты подпевала гимну, который сопровождался фанфарами, и затаив дыхание слушала какого-то члена городского совета, который читал стихотворение Ремко Камперта «Сопротивление» — ты тогда не знала господина Камперта, но подумала, что стихотворение замечательное, а после этого прочла все, что он написал, — и в течение двух минут молчания ты боялась, что горло защекочет кашель, ты была напряжена, ожидая звука трубы, войну ты могла представить слабо, но одновременно могла представить всё — твое воображение было настолько богатым, что ты могла оказаться в окопах в любой момент, ты множество раз смотрела «Список Шиндлера», «Бункер» и «Жизнь прекрасна», и могла имитировать их страх, глубоко раствориться в нем, настолько глубоко, что в течение этих двух минут молчания тебе казалось, что ты видишь немцев и союзников за городскими кварталами; кто-то однажды сотрет список мертвых коров, потому что их страдания нельзя сравнивать со страда-

ниями жертв войны, и да, фермеры, к которым я приходил, снова медленно расцветали и радовались моему приезду, их жены приносили мне кофе или пиво, а затем я осматривал животных, я знал, о чем говорю, когда видел бредущую по лугу овцу с пролапсом — тогда я знал, как действовать, но с пролапсом, который был мне дороже всего, я совершенно не справился, я не справился с тобой, моя небесная избранница, все другие видели, что тебе нехорошо, видели, как ты бегаешь по полдерам в ночной рубашке и худеешь все больше и больше, некоторые говорили, что слышали, как гремят кости при твоем приближении, как будто трясут лопату, наполненную булыжниками, говорили другие, они прикладывали руки козырьком ко лбу и смотрели вдаль, где ты порхала среди соцветий гипсофилы и амми, и они иногда качали головами и говорили, что бегать по пустынному полю в сумерках — это полное безумие, что так тебя скоро похитят, и я не мог им сказать, что тебя никогда не похитят, потому что я уже владею тобой, потому что я никогда не упущу тебя из виду, и я знал, что мне не удалось усмирить свою безумную любовь и голод по тебе, разделить чудовищное и отеческое у себя внутри, признать райское и адское в мотивах моих дей-

ствий, и когда я лежал в постели, то смотрел на твой телефонный номер на экране, на котором было написано: *«птица»*. Иногда я позволял себе его набрать, чтобы услышать твой автоответчик, твой голос, а затем вешал трубку и рылся в наших сообщениях в поисках чего-то, за что можно было бы держаться, признака того, что ты испытываешь ко мне то же самое, хотя знал, что любовь для тебя как сладости — ты их жаждала, но забывала про них, как только желудок наполнялся, как только тебя начинало подташнивать; я не понимал, что тебя и от меня тошнит, что ты больше не думаешь о сладостях, что ты редко заходишь в магазин на Синдереллалаан, чтобы наполнить бумажный рожок карамельками, ведьминской лакрицей, розовыми карамельными шариками и фруктовыми сердечками, что ты стала настолько худой, что тебя больше нельзя было обнять, в моих объятиях оставалось слишком много места, и позже, намного позже, когда я буду вспоминать этот горячий сезон и мои ядовитые уловки, а суд присяжных посадит меня в тюрьму, и мое дело появится во всех газетах и будет идти желтым телетекстом в новостях, тогда я буду слушать

песню Sweet Bully[62] с твоей пластинки Kurt12 о смерти Йориса и похоронах, о Хулигане, который пролежал на дороге два дня, прежде чем прибыла труповозка, и разложился от жары, а твой отец с момента возвращения из Франции не сказал вам ни слова сверх необходимого, вроде передачи масленки и яблочного соуса; он иногда смотрел на тебя, когда ты клала морковь на весы на столешнице и сгрызала по килограмму в день, он видел, как твоя кожа и белки медленно становятся оранжевыми, иногда он хватал тебя за запястье и измерял его пальцами, качал головой и исчезал в коровнике, садился на стул в сарае для инструментов и склонял голову, как в тот раз, когда ты сказала, что уедешь из Деревни, что собираешься улететь, и среди шурупов и болтов он сердито искал то, что укрепило бы тебя, а я слушал Sweet Bully, грустные ноты синтезатора, строки: «*Bully and the boy were dead and all I could think was: don't eat the cake, don't eat the cake, because fear would rather live in a big house than in a cave*[63]».

---

[62] Примечания: 62

Милый Хулиган (*англ.*).

[63] Примечания: 63

Хулиган и мальчик мертвы, а все, о чем я могла думать: не ешь торт, не ешь торт, потому что страх скорее поселится в большом доме, а не в пещере.

Ты была моей пушинкой, моим товарищем, и когда я включал Sweet Bully, из глаз капали слезы не только из-за тебя или смерти Хулигана и Йориса, но и из-за фермера, который свисал на веревке с балюстрады и которому я не смог помочь, он внезапно оказался в постели со мной вчера вечером на месте Камиллии: сложив руки на груди, он лежал там и говорил, что у нас прекрасный матрас, хорошие пружины, мягкая подушка, но не слишком мягкая, да, прекрасная кровать, и он посмотрел на меня налитыми кровью глазами, повернулся на бок и сказал, что я не виноват в аварии на Ватердрахерсвех, что потерянный внезапно выскочил наперерез, чтобы догнать друга, и не посмотрел в обе стороны, и удар был настолько сильным, что он умер до того, как ударился о землю, что мне не стоило ехать дальше, это был рефлекторный страх, не более того, это была опасная дорога, всем известно, что хотя обочины были выложены бетонными плитами, польдерные психи продолжали носиться по этой дороге как дураки, а потерянный и его друзья были неосторожны; и я лежал и плакал, я плакал и говорил, что, может быть, поэтому я так сильно тебя любил, потому что ты стала дефективной по моей вине, что это из-за меня покинувшая уехала

в Ставангер, а фермер протянул синюю руку и вытер слезы с моей щеки, и я извинился перед ним, извинился, что в тот день не смог его спасти, хотя и слышал от коллег, что несколько фермеров уже лишили себя жизни из-за эпидемии ящура, что я отвернулся, что я был слишком занят своими бутербродами с арахисовым маслом, что я слишком часто отходил, чтобы усыпить какое-нибудь животное, что я никогда не знал, как уберечь кого-то от смерти; да, я мог помочь почувствовать себя немного лучше, я понимал, что им было нужно, но с фермером — нет, я понятия не имел, что с ним делать, и когда я слушал Sweet Bully, я понял, что снова жалею Йориса и Хулигана, в то время как на самом деле я должен был жалеть тебя и твоего брата, все происходило точно так же, как было с потерянным: мертвые заняли сцену, получали бесконечные аплодисменты, да, ублюдки, а мы хлопали в ладоши.

40

После еженедельного катехизиса дома у преподобного Хорремана в четверг вечером ты взяла угрожающий чемоданчик и впервые покинула ферму Де Хюлст. Вы с Жюль и Лягушонком попали под сильный дождь на пути к домику пастора рядом с реформатской церковью, и жена Хорремана настояла на том, чтобы вы переоделись в ее одежду, чтобы ваши мокрые брюки высохли: вы в слишком широких штанах, а Жюль в слишком просторной юбке сидели на скамейке и не могли перестать смеяться над тем, как нелепо вы выглядели, над словом «истина» в строке из Притч, которую тебе нужно было прочесть: *«Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — истина»*. По твоим щекам потекли слезы, и преподобный Хорреман попросил тебя перечитать предложение еще раз, столько раз, пока ты не перестала фыркать от смеха, он объяснил, что «истина» означает справедливость и правду, и что теперь ты запачкала это слово, и только на четвертый раз тебе удалось прочесть его серьезным голосом, и после мороженого от мороженщика, который припарковал свой фур-

гон у церкви, ты поехала на велосипеде домой, где твой па впервые с возвращения из Шароле вновь заговорил с тобой: он выскочил из своих домашних тапок и пошел искать тебя, часами стоял у дамбы в темноте, выискивая тебя, он делал так примерно до часу ночи, не мог заснуть и ворочался в тревоге, он сказал, что это твоя вина, что и твой брат почти ничего не ест, что он глотает только ломтики огурца с приправой Knorr и шатается, словно швабра, по двору в джинсах, свисающих с задницы, он научился этому фокусу у тебя, все это из-за тебя, потому что ты первая начала; твой папа был занят твоими костями и не видел, что вы так оплакивали Йориса, Хулигана, потерянного и покинувшую, не видел, что тебе приходилось все больше и больше сопротивляться из-за происходящего между нами, что я проник в твой организм, как печеночная двуустка, он не знал, что это по-прежнему происходит, и не осмеливался спросить, что именно вообще произошло, он был в шоке, когда во время лотереи «Охота на миллион», когда открывали портфель номер двадцать[64], ты случайно обмолвилась, что занималась *этим*, он-сам-знает-чем, со мной,

[64] Примечания: 64

Во время одного из раундов выбывающий игрок имеет право открыть чемодан и забрать с собой сумму, которая в нем окажется.

по-настоящему, эти слова стоили один цент из чемодана, и ведущая Линда де Мол была вне себя от радости, а твой па одним глотком опрокинул в себя можжевеловый джин, вытащил из коридора пыльный гвоздодер, спрятанный за ботинками, который служил для отпугивания браконьеров, воров, Свидетелей Иеговы или тех, кто похищает девушек, но ты остановила его, ты усмирила его ярость цвета джина, вы вместе досмотрели «Охоту на миллион», твой па слегка вяло опускал руку в миску с орешками — он жевал их, не ощущая вкуса; но когда чемодан был открыт, одновременно с этим открылся и люк в твоей голове, ты вспомнила реакцию матери Жюль, отца и брата, Камиллии — все были в шоке от нас с тобой, и постепенно ты осознала, что, может быть, наши отношения не так уж и нормальны, как ты думала, что ты позволила одноклассникам тебя подначить, что я медленно подводил тебя к этому, что, возможно, все песни о любви были не о нас, а о ком-то другом, и тем вечером на ферме, еще до объявления о начале «Охоты на миллион», отец обвинял тебя в истощении твоего брата, он не знал, что Гитлер все больше и больше берет контроль над твоей головой, что он все еще находился в некотором равновесии с Фрейдом,

но в тебе бушует битва, и твой побег в Нью-Йорк становился все ближе, твой отец сказал, что твое тело создал Бог, что это храм Святого Духа, и что в сто тридцать девятом Псалме сказано: *«Я прославлю Тебя, ибо страшен и удивителен Ты, чудны дела Твои, и душа моя хорошо это знает. Не сокрылись кости мои от Тебя, которые сотворил Ты втайне, и существо мое — в глубинах земли»*. Он сказал, что ты, как дитя-иждивенец, можешь приходить к Нему каждый день, но ты все больше отдалялась, и он открыл желтую банку «Ароматной приправы Knorr» и заставил твоего брата есть, иначе ему было запрещено прикасаться к коровам и помогать на ферме, и тогда отчаяние заполняло его впалые щеки, и твой па тыкал в тебя указательным пальцем и говорил, что это ты привела в ваш дом истощение, словно бродячую кошку, полную блох, и ты бросилась наверх, схватила свой угрожающий чемодан, захлопнула за собой входную дверь и так и не узнала, что твой па часами стоял на берегу, обезумев от беспокойства, оставлял гореть лампочку в коридоре на случай, если ты вернешься домой, потому что знал, что ты бы испугалась, если бы ферма застегнула свое ночное одеяние до подбородка, он несколько раз вставал с постели и прикладывал

ухо к двери твоей комнаты, чтобы услышать, не вернулась ли ты, а ты, ты шла по Фонделингвех в сторону Тестаментстраат до Звеммерскаде, и ты хотела, чтобы жизнь была похожа на экзамен по дорожному движению в начальной школе, где на каждом перекрестке и углу на рыбацком стуле сидела чья-то мама и улыбалась тебе, когда ты вежливо протягивала руку и освобождалась от всех своих нервов и страхов, потому что все было хорошо, какой бы поворот ты ни выбрала, они сидели в шляпах с широкими полями и с книгами на коленях, они продолжали сидеть, они поднимали глаза, когда ты проезжала мимо, иногда кричали что-то о том, что тебе хорошо удался поворот, да, красивый поворот, или что-то про сильный ветер, который всегда дул тебе навстречу, но бóльшую часть времени они молчали и просто улыбались, и тогда ты знала, что у тебя хорошие шансы на успех; но сейчас ты шла одна в кромешной тьме, и скоро тебя догонит мальчик на мопеде, ты назовешь его Крыса, потому что передние зубы у него были большие и со щелью, отличная Крыса: ты запрыгнешь ему за спину и проведешь с ним ночь, ты заснешь в чужих объятиях, а после завтрака Крыса отвезет тебя домой, где ты съешь целый пакет булочек с изюмом под

пронизывающим взглядом отца — он не стал вмешиваться, когда увидел, как ты засовываешь их в себя, как ты словно одержимая разрываешь зубами тесто, и только когда слезы размером со смородину закапали из твоих глаз и ты заплакала, что хочешь умереть, что полный желудок — это худшее из того, что можно почувствовать, он обнял тебя и прижал к своему грязному комбинезону; он держал тебя так крепко, что ты подумала, что он переломает тебе все кости, но тебе было все равно, что они сломаются, и он пробормотал, что тебе нельзя умирать, *«не смей умирать»*, ему хотелось зажать твою шею клипсой для хлебного пакета, чтобы никакие бактерии не могли до тебя добраться, больше никакого фальшивого воздуха, при воспоминании об этом становилось понятно, что это была генеральная репетиция 11 сентября 2005 года. Ты провела ночь вне дома, и теперь ты знала, что можешь улететь отсюда навсегда, ты снова поставила свой угрожающий чемодан у двери и пошла в комнату своего брата, сказала ему, что он ужасно худой, девочкам не нравятся тощие мальчики, и он пожал плечами и пустым взглядом уставился в экран с игрой, и в том, что он стал худее тебя, ты увидела соревнование, тебе захотелось причинить ему боль,

никому не позволено тебя побеждать, даже в голодовке, и вы сидели над своими тарелками, как хищные птицы, и следили за тем, что другой ел или не ел; ты быстрее обычного бегала по польдерам и по виадуку, где в порыве страсти я написал белой краской для граффити, которую украл у моего старшего, «i love you» с кляксами, надпись пробудет там в течение нескольких недель, прежде чем дождь ее смоет: ты видела ее каждый раз, когда ехала на велосипеде в город с Жюль и Элией, чтобы потратить свои карманные деньги на одежду и «Все хиты 32», ты проезжалась колесами по этим словам и смотрела прямо перед собой, ты постоянно говорила о Крысе и романтизировала все связанное с ним, ты сказала им, что это Крыса написал «i love you» на тротуаре, и они вздыхали, что это и в самом деле романтично, и на следующий день после того, как ты его встретила, ты предложила Крысе с его блестящими, лакированно-черными волосами встречаться, это произошло в лодке, которая лежала в Маалстроуме и из которой тебе сначала пришлось вычерпать всю воду ведром, прежде чем получилось на ней грести, вы выплыли на середину Маалстроума и оказались среди водяных лилий недалеко от Коунинг-янсзанд, и там

ты предложила ему встречаться, и он сказал «да», и в душе ты возликовала, как если бы обнаружила самый редкий экземпляр из музея фаллоса; ты надеялась, что это удовлетворит твою тягу к рогам, но еще больше ты надеялась, что это отгонит лебедя, что я оставлю тебя в покое, ах, моя небесная избранница, разве ты не понимала, что мы принадлежим друг другу, что он просто случайный прохожий, с помощью которого ты пыталась меня прогнать? Тебе нравилось, что Крыса брал тебя за руку, когда работники с фермы заходили во двор, тебе было приятно лежать с ним на пастбище и думать, что твое тело было плугом, что ты была плугом, и ты вспахивала Крысу, и он наполнял тебя вечностью, ты сообщишь мне, что кое с кем встречаешься, что это серьезно и что ты больше не можешь со мной видеться, и я почувствовал за этими словами бездну отчаяния, я мог позволить тебе упасть в нее или удержать тебя, поэтому я сказал, что хочу встретиться в последний раз, правда-правда, в последний раз; ты колебалась, а я упорствовал, я говорил тебе, что иногда лебеди умирают, когда их партнер внезапно исчезает из поля зрения, что ты не можешь оставить меня вот так, и ты согласилась, конечно, ты согласилась, и ты прислала

цитату из Стивена Кинга: *«Может быть, в конце концов голос, который рассказывает истории, оказывается важнее самих историй».*

41

Стоя под виадуком, ты была похожа на обезьянку саймири. Милое, мягкое животное, череп которого можно разглядеть под тонким мехом, твоя ночная рубашка бесформенно болталась вокруг тела, но ты все равно была потрясающе красива, мой дорогой Путто, да, ты была прекрасна, и я спросил, понравилось ли тебе вернуться в школу, как поживает твоя ключица, почему ты мечтала о худобе, при этом желая, чтобы тебя ясно видели, желая славы, и я пересказал тебе историю из Книги Бытия о семи тучных коровах и семи тощих коровах: люди в Деревне все еще использовали эту метафору и с радостью и облегчением смотрели друг на друга, когда говорили, что тучные годы уже наступили, что никто не сравнивал тощих коров ни с чем хорошим, они хотели забыть о них как можно скорее, а в Книге Бытия также говорилось, что тощие коровы ели тучных, да, они ели их вместе со шкурой и шерстью, не проявляя никаких угрызений совести, но оставались тощими и уродливыми; я спросил тебя, хочешь ли ты стать таким чудовищем, и ты пожала плечами, немного вяло похлопала кры-

льями и рассказала, что каждое лето, когда вы бывали в Зеландии, вы с отцом и братом ездили обедать в ресторан в деревне Хрейпскерке, и ты не ела весь день, чтобы проголодаться к вечеру, и вот теперь ты тоже берегла аппетит на подходящий момент, даже хотя этим летом вы не ездили в Зеландию и не ходили ужинать в ресторан, ты берегла его, как Элиа в начальной школе берегла свои конфеты и хранила их в коробочке, а затем в какой-нибудь туманный вечер, который порой случается в начальной школе, где все ваши заботы все еще заметны, словно папилломы на коже, в то время как в старшей школе они уже прячутся под кожей, в один из таких туманных вечеров Элиа съедала все свои сладости за один присест, ей первой из вас троих пришла мысль, что можно захотеть умереть, а ты тогда подумала, что это абсурдная идея: как можно желать наихудшего из всего плохого — тогда ты думала, что она этого хотела, потому что не понимала, что это, а еще она мечтала о Ферби, такой милой пушистой сове, которая умела говорить, только потому, что у нее никогда не было этой игрушки; и я снова спросил тебя, почему ты голодаешь, и ты этого не знала, а я не замечал, что ты исследовала себя и обнаружила у себя талант, талант контролиро-

вать то, что будет попадать в твое тело, а что нет, я также не замечал, что это было связано с моим приходом в больницу, когда я оставил в тебе свое семя, и тебе было некуда деться, я знал от Камиллии, что ты все чаще не делала домашнее задание, хотя в остальном всегда была усердна, одну неделю ты хотела стать ветеринаром, затем археологом или, скорее, палеонтологом, кем-то, кто раскапывает окаменелости, в том числе динозавров, потому что ты любила выкапывать вещи, ты много копалась в своей маленькой головке и вытаскивала прекрасные, а иногда и грустные, сокровища, там многое было скрыто, и Камиллия подумала, что ты перестала делать домашнее задание в надежде, что она станет твоим репетитором, что между вами все наладится, но она отказалась и сказала мне, что ты написала для школьной газеты странную историю про вскрытие выдры, что она отклонила ее и посоветовала тебе написать что-нибудь еще, что-нибудь повеселее, а ты ответила, что это веселая история, а она возразила, что не хочет размещать ее, потому что она слишком кровавая, поэтому ты бросилась прочь из класса в сторону столовой, где вы с подружкой на перемене жарили крокеты и в конце недели получали за это пять евро и бесплатный

сэндвич с крокетом; Камиллия боялась, что ты раструбишь о том, что между нами произошло, что вместе с пакетиком горчицы ты вскроешь наш секрет, но я знал, что ты будешь молчать, я знал, что это гноится у тебя внутри, гноится, и ты будешь молчать, Камиллия снова сказала, что с тобой что-то не так, что-то в корне не так, и я облегчил груз ее сомнений и сказал, что у тебя просто трудный возраст, что четырнадцатилетние девушки вечно болтаются между берегом и кораблем, а под виадуком ты сказала, что с твоими крыльями все в порядке, они сильнее, чем когда-либо, и скоро ты полетишь в Нью-Йорк, у тебя все готово для этого, и я притянул тебя к груди, прижал к набухшему рогу-убийце, который давил на спортивные шорты, и ты сказала: *«Курт, иногда я не знаю, жива ли я до сих пор. Может, я умерла, взлетев с силосной башни, и теперь я в раю»*. И ты сказала, что в больнице два этажа, один для тех, кто еще жив, и один для тех, кто отправляется на небеса, им не разрешалось встречаться ни при каких обстоятельствах, иначе те, кто остается на земле, будут в шоке, и ты никого не встречала в коридоре; когда тебе было скучно, ты бродила повсюду и увидела тележку с конфетами для больных раком детей, ты поколе-

балась, не украсть ли что-нибудь — черничный маффин, «твикс», пастилу или зефир в шоколаде, но ты не могла так расстроить детей-змеек — ты их так называла, потому что у них из носа часто торчали пластиковые трубки, — что все сладости, которых они ждали целый день, исчезнут, так что ты брела дальше и говорила себе, что никогда не встретишь человека, который останется на земле, а коридор к игровой комнате, где был компьютер и где можно было играть в The Sims, должен был представлять врата рая, там были кресла-мешки, в которых можно полностью раствориться, и массажное кресло, которое начинало вибрировать и гудеть, когда ты в него садилась, еще у них были игры, такие как «Морской бой», и ты взорвала немало кораблей детей-змеек, нет, ты была уверена, что попала в рай, но затем тебе пришлось вернуться на землю призраком, потому что нужно было исправить некоторые проступки, и ты упомянула, что где-то читала, что когда в Пиренеях умирал пчеловод, было в порядке вещей, что кто-нибудь мазал всех его пчел черными чернилами, каждую пчелу отлавливали и помечали, и тебе казалось, что это ужасно красиво, ты тоже хотела, чтобы тебя помазали черной краской, хотела, чтобы люди видели, что ты оплакиваешь

не только Йориса и Хулигана, но и потерянного с покинувшей, а иногда и себя, потому что ты постоянно сбрасывала свою кожу, и каждый день был иной версией в ином мире; и я сказал, что хочу помазать тебя краской, моя дорогая, что ты не на небесах, что у тебя был перелом основания черепа и поэтому теперь ты иногда путаешься, и ты покачала головой, ты сказала, что людям с земли нелегко узнать небесных людей, что они ходят в штатском, пока не осознают свои грехи, пока не искупят вину и не заплатят долги, что Бог, как жена Пьера Боннара, страдал от страха инфекций, и что человек мог войти в Его царство только чистым и исцеленным изнутри, и каждую ночь ты натирала свое тело зеленым мылом, но продолжала чувствовать себя грязной, потому что остатки теракта 11 сентября и печали Камиллии цеплялись за тебя, ты была стрелком, и порох все еще остался на ладонях, и ты надеялась, что если освободишься от греха, Бог будет так добр, что одарит тебя маленьким рогом, это будет единственное, что ты у Него попросишь — рог, и еще это улучшит его настроение, потому что детей с рогами с меньшей вероятностью похищают — правда, они чаще становятся жертвами дорожных аварий из-за своего безрассудства,

но ты знала об опасностях на дороге, ты была выдрой в неволе, и тебя, небесного человека, все-таки могла сбить машина, но потом ты бы снова поднялась, потому что Бог отключил функцию «Конец Игры», Он делал так со всеми, кто приходил к Нему, у тебя было бесчисленное количество жизней, и если ты помиришься с теми, кому задолжала, ты встретишь потерянного: он бы ждал тебя в магазине игрушек на Звеммерскаде, и вместе вы бы пошли в пекарню-кондитерскую, где над дверью висит табличка, гласящая: «*Силой Божией и человеческим усердием превращено зерно в хлеб*». Там вы бы купили два яичных печенья, посыпанных сахарной пудрой, и съели бы их, и ты бы радовалась, что потерянный по-прежнему выглядит точно так же, как на фотографии из гостиной на ферме — это приятная особенность небесных жителей, они всегда оставались узнаваемыми и не взрослели; ты бы иногда вдыхала сахарную пудру и принималась кашлять, и вы оба над этим бы смеялись, во время прогулки по улицам Деревни ты бы рассказала ему все, что произошло за это время, иногда вы бы останавливались кое-где, потому что к вам приходило воспоминание: например, у единственного в Деревне небольшого многоквартирного дома,

известного среди молодежи как «секс-квартира», — ты не знала, почему его так называли, но думала, что то, что дом трехэтажный и спальни находятся друг над другом, имело какое-то отношение к этому прозвищу, и ты думала, что, может быть, все жители ложились друг на друга одновременно, как цыплята каждый раз в одно и то же время шли спать на жердочку, и получается, друг на друга ложилось шесть пар умножить на четыре, и поэтому этот дом называли секс-квартирой, и в одном из его палисадников вы с Жюль однажды нашли коробочку лакричных конфет, она была полна до краев, вы отнесли ее домой и с гордостью показали отцу Жюль, как если бы обнаружили сокровище, но отец Жюль отнес ее в свой офис и сказал, что, возможно, в лакрице что-то есть, какой-нибудь наркотик, и ты была уверена, что в итоге он съел всю лакрицу сам; а гораздо позже «секс-квартира» превратится в приют для умственно отсталых, которых ты звала кротиками, потому что многие из них плохо видели, кротики по воскресеньям сидели в церкви, пускали слюни и возились, ты их боялась и поэтому привлекала — так кошки часто заползают на колени к тому, кто их не любит, так что однажды один кротик подполз к тебе и

обнял, и ты слышала, как люди на скамейках спереди и сзади смеются, а ты сидела, словно окаменевшая, хотя потом стала их меньше бояться, кротики были прекрасными людьми; и ты бы прошла вместе с потерянным мимо начальной школы, где ты провела лучшее время в своей жизни, по которому ты часто ностальгировала и тосковала: по облицованным коричневой плиткой школьным коридорам, пахнущим пастой Cif, по учительнице из третьей группы, которая мастерски рассказывала истории о Гномике-Сойке и которые ты не могла украсть, потому что эти истории были у нее в голове, а ты не могла утащить учительницу в кармане пальто, ты бы рассказала потерянному все свои приключения, все секреты о милых мальчиках, которых ты любила и собирала, как если бы они были редкими карточками с покемонами, вы бы лежали на теннисном столе и смотрели в небо, и ты бы спросила его, что заставило его пересечь тот опасный перекресток, а он бы спросил, как его велосипед, и ты бы ответила, что он выглядел совершенно неповрежденным, но ваш па в итоге отдал его кому-то из Деревни, что он посеребрил детские ботиночки потерянного, и теперь они стояли на каминной полке, и ты бы сказала, что

в церкви есть три вида колоколов, в которые нужно звонить, когда кто-то умирает: колокол для мужчин, колокол для женщин и колокол для детей, и его было легко узнать по высокому звуку, и во время похоронной процессии по потерянному маленький смертный колокол постоянно звонил, и в течение многих лет в твоей голове иногда слышался этот детский колокол; и вы бы лежали, пока не прозвенел бы школьный звонок, и вы бы договорились встречаться чаще, да, вам действительно надо встречаться почаще, и ты бы обняла его и обнаружила, что он даже не пахнет плесенью, нет, от него пахло дезодорантом Ахе и немного — пузырчатой пленкой, что дало тебе понять, что Бог не допустит, чтобы с ним что-то опять случилось. Я стоял под виадуком и слушал твою историю, и я снова сказал, что ты не с небес, но казалось, ты не хотела меня слышать или действительно предпочла бы умереть, поэтому я взял тебя за руку и повел к забору у виадука, за которым начиналось льняное поле, и приказал тебе лечь на камни, я сдернул твои трусики до лодыжек, и ты пробормотала, что теперь ты с Крысой, а я сказал, что Крыса не любит тебя, как я; я раздвинул твои ноги и вошел в тебя, и пока я тушил огонь своих чресл, я говорил, каково это

— быть по-настоящему живым, было так темно, что я не мог видеть твое лицо, не мог видеть, что оно было искажено болью, что ты терлась спиной о камни, что я содрал с тебя кожу, я без предупреждения вытащил новую версию тебя наружу, и позже той ночью ты будешь в зеркале изучать ссадины на спине, ты бросишь ночную рубашку в компостную кучу, ты напишешь мне на следующий день без смайликов, что дальше это продолжаться не будет, что ты коричная булочка без корицы, что ты влюблена в Крысу, хотя бабочки, эти чешуекрылые, тихо лежали у тебя в груди, у тебя было срочное задание и ты не могла отвлекаться, ты напишешь, что птица больше не хочет никому причинять вред, поскольку в истории о Леде и лебеде ты отлично знала, что это я — настоящая птица, и надеялась, что я пойму, целую и прощаюсь, твоя милая питомица.

42

У меня не было времени мрачно раздумывать над твоим сообщением. Не было времени в ярости звонить тебе и говорить, что ты написала полную хрень, заставить тебя думать, что ты не сможешь жить без меня, что ты как теленок с ретракцией сухожилий, который едва может встать на передние ноги, — у меня не было времени, потому что в то утро 11 сентября, которое сначала, казалось, шло гладко — мой младший учил меня танцевальным движениям из популярного трека DJ Norman vs Darkraver, — настроение сменилось с веселого на мрачное, потому что Камиллия в хорошем настроении, отмыв свою машину, вознамерилась пропылесосить мой Fiat и начала с кузова: она сделает там ужасное открытие, увидит двойной матрас, подушки с утиным пухом, ухватится за дверь и недоверчиво уставится на дворец любви три на три метра, на плакаты Беатрикс и Курта Кобейна на стене, на чайные свечки вокруг матраса и ее расстегнутый спальный мешок сверху, она застынет со шлангом пылесоса в руке и будет рассматривать кузов, стоя рядом с ревущим чудовищем, вбирать

в себя каждую смертоносную деталь, пока в ней не проснется разъяренный дракон и она пнет и выключит сосущего зверя; а я сидел в кабинете, наблюдая за странными прыжками младшего и прислушиваясь к шагам на лестнице, которые говорили, что что-то идет не так, я лихорадочно соображал, не видел ли нас кто на виадуке несколько дней назад и не связалась ли ты снова с Камиллией, чтобы все ей рассказать, потому что твое тело слишком исхудало, чтобы хранить такие большие секреты, и менее чем через полчаса я уже ехал на свалку рядом с огнедышащей Камиллией, она хотела своими глазами увидеть, как я выбрасываю матрас, а еще она опять называла меня грязным насильником, растлителем малолетних, а я сказал, что люблю тебя, но все кончено, что я хотел раньше избавиться от матраса, и она спросила, сколько раз мы делали это на нем, и знаю ли я, какое будет наказание, если выяснится, что тебе четырнадцать лет, о Боже, четырнадцать лет! Она яростно била по приборной панели и кричала, что презирает меня, и когда мы были почти на свалке, мне вспомнилась атака на Башни-близнецы, которая произошла ровно четыре года назад в этот день, а еще в этот день в 1946 году началась операция «Черный тюль-

пан», когда все немцы, живущие в Нидерландах, были изгнаны из страны, а ты лежала в траве и бормотала извинения Соединенным Штатам и выкинула Гитлера из головы, ты изгнала его за границу, потому что он сейчас не был тебе нужен, и позже в песне The Fall and The Black Tulip с твоей пластинки Kurt12 ты спела: *«I'm sorry, I'm sorry, the buildings, the planes, the people, even if everything was easy to fix, nothing would stop the evil, and now that you're out of my mind, I promise to get better in everything I do, I'm sorry, I'm sorry, the buildings, the planes, the people*[65]*».* И я фантазировал, как ты лежишь там, пока над деревней звучала Spirit In The Sky 1969 года, песня американского певца Нормана Гринбаума, которая уже много лет находилась в Топ-2000, и я знал, что опасность миновала, но не для нас с Камиллией, я видел меч, который висел над нашими головами, я поволок матрас, на котором я тебя сломал, на котором грубо проткнул, из кузова на свалку, Камиллия, всхлипывая, смотрела из машины, как один из работников свалки попробовал, сухой ли он, что-

[65] Примечания: 65

Простите, простите, здания, самолеты, люди, даже если бы все было легко исправить, ничто не остановит зло, и теперь, когда ты ушел из моей головы, я обещаю стать лучше во всем, что делаю, простите, простите, здания, самолеты, люди (*англ.*).

бы можно было отправить его на переработку, и когда он кивнул, его подняли краном, как скот, как кремовую шаролезскую корову твоего отца, и бросили на другие матрасы, которые грустно лежали в куче: некоторые изогнулись, словно унылый рот, среди них были старые коричневые, оранжевые с прострочкой, матрасы с большими пятнами неизвестно от чего; я старался не думать об эпидемии ящура и размышлял о том, что на этих матрасах умирали люди, кто-то плакал всю ночь, пары занимались на них любовью, приятно общались, мечтали, некоторые просыпались от страха, некоторые молились, на них создавалось будущее или просто строились какие-то смутные дикие планы, и теперь они лежали здесь, ожидая переработки, и меня огорчало, что я выкидываю то последнее, что нас соединяло, что мне приходится вот так его оставить, моя маленькая добыча; Камиллия хотела избавиться и от спального мешка, она не хотела ничего того, на, под или в чем ты лежала голой, и я сел в Fiat и посмотрел в окно на все матрасы и мой среди них, выложенные в одну прямую линию, точно такую же, в которую был сложен рот Камиллы, и не знал, что сказать, между ней и мной никогда не было такой тишины: так тихо, что было

слышно, как вращается вокруг своей оси куколка на зеркале заднего вида, как будто не зная, к кому из нас повернуться; и тут я начал бессвязно рассказывать о своей матери, о кошмарах, о фермере, свисающем на веревке с балюстрады, из-за которого я больше не любил арахисовое масло, я говорил и выплескивал всё, я задыхался, но не останавливался, я плакал и сказал, что не хочу терять ее, что я люблю этого ребенка, да, я влюблен в тебя, да, но теперь я понял, что это невозможно, я по-настоящему это понял, и я потянулся к ее колену, но она отодвинула его, и моя рука опустилась на рычаг переключения передач, она приземлилась, как толстая синяя мясная муха, которой нигде не рады, — но она позволяла мне говорить, она позволяла мне плакать, и когда я закончил, я увидел, насколько она постарела за последние несколько недель, какими грустными были ее глаза, вокруг них собрались морщинки, которых я до сих пор не замечал, как будто кто-то их выгравировал за это время, мне внезапно вспомнился текст из Исайи, который я прочитал ей в день нашей свадьбы: *«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас»*. А я обращался с ней как с матрасом, я хотел

отдать ее в переработку и обменять на тебя, но не понимал, что никогда не смогу лежать на тебе так же комфортно, на нашем матрасе образовалось слишком много бугров, за нами по пятам всегда будут идти люди, которые не могли понять нашу любовь: рассерженные присяжные, твои отец и брат, они считали, что я использовал твою невинность и наивность, чтобы почувствовать себя любимым, а я считал нашу связь связью равных и не мог поверить, что я только и делал, что причинял тебе боль, что я злоупотреблял своим авторитетом, своим знанием мира, ложной безопасностью, своими руками, которые слишком крепко тебя обвивали, я видел в тебе покорное животное, теленка, которого я мог чему-то научить и которого я мог усовершенствовать, и все это время я думал, что мне не нужно ни от чего отказываться, что мне нечего терять, но потеря сидела рядом со мной, потеря все еще храпела на верхнем ярусе кровати, потеря скакала в танце в моем кабинете, а я не понимал, что они значат для меня, я видел только тебя, мой прекрасный Путто; и хотя я обещал Камиллии, что изменюсь, что это никогда не повторится, что я любил ее, а то, что я чувствовал к тебе, было безрассудством, что я был рад, что матрас будет переработан,

но моя плоть оставалась слабой, и я не мог не перезвонить тебе позже и не оставить в твоей голосовой почте слезливое сообщение, что я хочу в последний раз попрощаться, в последний раз, правда, мы можем пописать вместе, потому что тебе это нравилось, ничего более, мы бы попи-сали и попрощались друг с другом, вот и всё, и когда немного позже раздался звонок от птицы, я ничего не заподозрил, но это звонил твой отец, и с этого момента все развивалось очень быстро, потому что после его звонка на пороге оказалась полиция и стала расспрашивать меня о том, что произошло между нами, я изобразил спокой-ствие, показал свои переживания о тебе, я сказал, что ты уже давно плохо себя чувствовала, что мы с Камиллией заботились о тебе, а твой па слиш-ком мало уделял тебе внимания — все кончилось предупреждением, потому что ты не захотела вы-двигать обвинения, и только позже на дверном коврике появится письмо из магистрата с повест-кой в суд, это будет через год после выхода Kurt12, мне предъявят твой альбом и дневник в качестве основных улик, а я скажу, что не могу ничего припомнить, что, конечно же, будет неправдой, любовь моя, но я не мог не защищать себя и свою семью, я потеряю работу, я сяду на минимальные

два года в тюрьму, откуда все это сейчас и пишу — я не хотел этого, но пришлось: для себя, для Камиллии, для присяжных, и, может быть, для тебя, чтобы ты прочитала, что я действительно любил тебя, что мои чувства к тебе не были похожи на летнюю песенку, которая ненадолго взлетает в чартах, а затем забывается, нет, она была реальной и истинной, и газеты были полны домыслов про нас, заголовки были неприятными, в основном обо мне, ветеринаре, который завел роман с четырнадцатилетней девочкой-подростком, о том, как ты в своем дневнике обращалась ко мне «господин Курт» и на «вы», о посещениях кинотеатра, о фильме «Оно» по Стивену Кингу, которым я якобы воздействовал на твой детский мозг, о первом поцелуе на пикнике и о том, как я попробовал тебя под взбитыми сливками, тебя, тебя, тебя; все все это пройдет, и я продолжал повторять, что ничего не могу вспомнить, мой адвокат оспаривал дневник и говорил, что это не более чем страстные истории влюбленного подростка, и присяжные ходили в магазин постельных принадлежностей и проверяли, когда именно я купил матрас, о котором ты писала, что он мягкий и как тебе жалко, что подушки набиты утиным пухом, ты не присутствовала на суде,

потому что больше не жила в Деревне, а повестку отправили не в то общежитие в городе, и никто, кроме присяжных, не защищал тебя, расходились самые дикие истории о выдре и сморщенной косточке пениса, о сливовой косточке, в тюрьме я иногда слышал песни с твоей пластинки по радио и улыбался им, даже когда сидел в четырех стенах, и, может быть, я чувствовал некое облегчение оттого, что заперт здесь, потому что это был единственный способ освободиться от тебя, дать тебе взлететь, и это была адская задача — перелистать все, что происходило в тот горячий сезон, дорогие магистраты, настолько адская, что она временами сводила меня с ума, я почти не ел и не спал, и врач в тюрьме прописал мне немалую дозу арипипразола, потому что я, кажется, целыми днями кричал: *«где моя любимая?»*, — и иногда я думал, что убил тебя, правда, я так думал, потом я видел себя могильщиком, и рыл яму в рыхлой земле Тэйхенланда, и положил тебя в нее, а доктор посоветовал мне не сгребать в кучу все воспоминания про нас, но я упорно продолжал, и теперь вы получили то, что хотели, дорогие присяжные: доказательства. Доказательство моей слабости, моих жадных когтей, вцепившихся, чтобы удержать тебя, прекрасная

девочка, доказательство моей немощи, но я бы не стал ничего переделывать, ничего убирать, я должен был написать именно это, историю ветеринара и его небесной избранницы, это все для тебя, на случай, если ты посмотришь назад и задашься вопросом, любил ли я тебя, потому что я любил тебя невыразимо, я не хотел тебя ломать, я просто хотел удержать тебя, а не разбивать, как мамин сервиз, но я был таким неуклюжим, таким безрассудным! Я не хочу просить прощения, я никогда этого не делал, нет, я хочу показать тебе, что кто-то действительно может тебя полюбить, хотя моя любовь была как картофелеуборочный комбайн, когда ты только-только вступила в период цветения, я должен был видеть, что она слишком велика для твоего маленького тела, что я мог помочь тебе летать, лишь подбадривая и не касаясь тебя, как нельзя дотрагиваться до бабочек, потому что прикосновения им вредят, и я вредил тебе все больше и больше, произошло то, чего ты боялась все эти годы: точно так же, как Сьюзи, тебя похитили, только ты этого не осознавала, ты все это время не понимала, что тебя украли, я считал тебя своей собственностью — конечно, это было ничто по сравнению с исчезновением Сьюзи, но порой ты так боялась, что какую-то

из твоих вещей украдут, что не защищала саму себя; и все жители деревни смотрели друг на друга с подозрением, с тех пор как преподобный Хорреман призвал преступника назвать себя, он сказал, что всякий, кто знал больше и не говорил, играл со спасением своей души, что на последнем суде все будут призваны к ответу перед Богом, и от Него помилования не будет, но сквозь все эти подозрительно сощуренные глаза они не смогли увидеть, кого еще похитили, и хотя ты знала о воровстве все, ты не поняла, что кто-то украл тебя саму, тем летом тебя украл я, ах, мне так жаль, что мои намерения было так трудно объяснить, что они вызвали у других людей такое отвращение, но это отвращение было оправданным: нельзя срывать урожай до положенного времени, а я это сделал, я вырвал урожай из земли вместе с корнем, я вонзил зубы в незрелую мякоть, я с самого начала видел, как ты мечешься на границе между ребенком и женщиной, между девушкой и милым мальчиком, я навеки осквернил твою детскую любовь к рогам: я просто хотел дать тебе увидеть то, что я уже знал, и не понимал, что ты должна открыть это сама, я был настолько ослеплен твоей красотой, ангелом в тебе, что я упустил тот факт, что ты подросток, что ты на два года

младше моего старшего сына и что я уже не тот мальчик не старше четырнадцати лет, который тосковал по пылающей юношеской любви, никогда на него не снисходившей, который в этом возрасте каждый вечер со страхом шел в кровать, потому что никогда не знал, куда на этот раз залезет рука матери; в тебе я видел выздоровление, исцеление, я хотел восполнить все, что упустил тогда — я не мог полюбить женщин, потому что так и не стал мужчиной, я все еще чувствовал себя ребенком, и с тобой я им был, благодаря тебе я мог считать, что все возможно, что я могу обновиться, что обновление клеток каждые семь лет случится и со мной, я буду возрожден благодаря тебе, моя небесная избранница, и я не видел, что уничтожаю тебя, или не хотел этого видеть, я был как жеребец на лугу в шорах, которые ограждали меня не от дорожного движения или мух, а от истины; и я писал тебе это, пока моя мать в своем черном траурном костюме сидела на моей шконке, она села на край, и вместо того чтобы втянуться в ее безумие, я громко закричал: *«Вон, пошла прочь отсюда!»* С тех пор ее не было, хотя, вероятно, помогло то, что тюрьма тщательно охраняется, но все-таки она ушла, и я почувствовал себя исцеленным после всех этих

лет, цыпленок и фермер тоже исчезли, они все еще были где-то в моей голове среди нервных волокон, но призраки больше не появлялись, и присяжные скажут, что это путь к росту, к совершенствованию, что мне не нужно изгонять из себя мальчика, мне просто нужно понять его, просто понять, мой прекрасный Путто! И поэтому я хочу, чтобы ты меня поняла, чтобы потом ты смогла понять себя, чтобы ты никогда не винила себя, никогда, никогда, у тебя была респираторно-синцитиальная инфекция, а я ее просмотрел, и да, в конце этой строки был холод, холод до дрожи, но это единственный Конец, который может у нас быть, моя дорогая питомица, потому что тощая корова съела тучную корову, и так должно было случиться, но это все произойдет позже; сперва мы пошли на свалку, оставили там матрас, рай нашей любви, словно старый мусор, и вернулись домой смертельно уставшими, Камиллия легла на диван после того, как дала мне стихотворение «Песенка» Джудит Герцберг, и я быстро прочитал его, потому что чем медленнее читаешь, тем разрушительнее слова, она легла на диван, накрыв лицо кухонным полотенцем, чтобы смягчить приближающийся приступ мигрени, я видел, как любители смерти издалека наблюдают за нами,

и я пошел в свой кабинет, позвонил тебе, я еще не знал, кто мне перезвонит, надел наушники и включил песню Romeo and Juliet из альбома 1980 года Making Movies британской рок-группы Dire Straits, я снова и снова переслушивал слова из восьмого куплета: *«And all I do is miss you and the way we used to be, all I do is keep the beat and bad company, all I do is kiss you through the bars of a rhyme, Juliet, I'd do the stars with you any time*[66]». Потом я послушал твою новую любимую песню, Talk to Me[67] Стиви Никс, солистки Fleetwood Mac, и когда я дослушал последнее предложение, то увидел, что экран моего мобильного телефона загорелся одним словом, *Птица*, и я не понял, что это не ты, а твой папа, и через два часа раздался звонок в дверь, я услышал внизу низкие мужские голоса, услышал, как они вытирают ноги о коврик, и снова надел наушники и зажмурил глаза, да, я крепко зажмурился, и все стало черным, как будто я оказался лицом к лицу с серостью вечера, с новорожденным теленком, все кончи-

[66] Примечания: 66

И все, что я делаю, это скучаю по тебе и какими мы были раньше, все, что я делаю, это сохраняю бит и держусь плохой компании, все, что я делаю, это целую тебя сквозь решетки рифм, Джульетта, я бы добрался с тобой до звезд когда угодно (*англ.*).

[67] Примечания: 67

Поговори со мной (*англ.*).

лось, могильщики благоговейно отнесли лето к дыре в земле, и Стиви Никс пела все тише и тише, Talk to Me, но, пожалуйста, не говори слишком много, и в тот строптивый горячий сезон после звонка и визита полиции я увижусь с тобой еще дважды, прежде чем меня доставят в суд, один раз в магазине C1000 среди полок с кукурузными хлопьями и банками вяленых помидоров, затем на ежегодном конкурсе мелких домашних животных в спортзале рядом с начальной школой, где ты, Крыса и твой отец прогуливались по рядам загонов, мимо холеных уток-мандаринок, лесных голубей, морских свинок, черных казарок и всех остальных, и мое сердце снова остановилось, я почуял тебя среди запахов магнезии, дерьма и мыла, да, я почуял твою сладость, моя небесная избранница, спрятался среди посетителей и смотрел, как ты участвуешь в послеполуденной викторине — вопрос заключался в том, из какой части Библии было взято предложение, что *«нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы»*, и я услышал твой высокий дрожащий голос поверх клекота желто-белых хохлатых куриц, одна из которых принадлежала твоему брату — это был его любимец Петушок, который стал чемпионом в тот день и получил

много похвал за свое красивое оперение, крепкие ноги и хохолок, который стоял торчком, а позже на той неделе Петушок упадет с забора и будет раздавлен, — и ты назвала номер, номер нашего дела, номер нашего лета, ты назвала номер со своего альбома, моя пламенная беглянка, моя добыча, ты ответила на вопрос: *«Двенадцать, от Луки, двенадцатая глава, стихи с первого по третий»*. И ты подошла к сцене, которую сделали из пивных ящиков и нескольких поддонов, ты запрыгнула на нее и вместо того, чтобы взять приз, ты легла на спину, как пернатая в рассказе «Лягушонок и птичка», и ты была прекрасна и мертва, да, ты была сражена наповал.